

НИЖНИЙ  
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 1 ( 3 6 ) / 2 0 2 1



ПАВЕЛ  
КРУСАНОВ  
С.-ПЕТЕРБУРГ

4



ОЛЕГ  
РЯБОВ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

19



РОМАН  
СЕНЧИН  
ЕКАТЕРИНБУРГ

29



ТАТЬЯНА  
ЧУРУС  
МОСКВА

33



ЮРИЙ  
НЕМЦОВ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

53



ВИКТОР  
КОВРИЖНЫХ  
С. СТАРОБАЧАТЫ  
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.

63



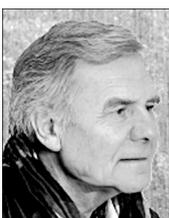
МАРГАРИТА  
ШУВАЛОВА  
Кстово  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

68



ДЕНИС  
ЛИПАТОВ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

98



АЛЕКСАНДР  
БОБРОВ  
МОСКВА

125



НАТАЛЬЯ  
СТРУЧКОВА  
Кстово  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

136



ВИКТОР  
БЕРДИНСКИХ  
КИРОВ

139



НАТАЛЬЯ  
МАЗУР  
Дзержинск

158



ВЛАДИМИР  
ЯГЛИЧИЧ  
КРАГУЕВАЦ, СЕРБИЯ

160



ВЛАДИМИР  
КУТЫРЕВ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

165



ЕЛЕНА  
КРЮКОВА  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

229

16+

## В НОМЕРЕ

### *Проза*

<b>Павел КРУСАНОВ</b>	
ТРИДЕСЯТОЕ ЦАРСТВО . . . . .	4
<b>Олег РЯБОВ</b>	
«СПИДОЛА» . . . . .	19
МОЙ ДРУГ – АЛИК КОЛЬЧУГИН . . . . .	24
<b>Роман СЕНЧИН</b>	
БЕЗ ИМЕНИ . . . . .	29
<b>Татьяна ЧУРУС</b>	
ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ . . . . .	33
МАТУШКИНО СЧАСТЬЕ . . . . .	40
ЗА ДВЕРЬЮ . . . . .	43
<b>Павел СУШКОВ</b>	
КАК НЕ НАДО МОЛИТЬСЯ. . . . .	46
ЧУДОТВОРЕЦ . . . . .	48
ДОБРОЕ ДЕЛО . . . . .	51

### *Поэзия*

<b>Юрий НЕМЦОВ</b>	
В ЗАТВОРЕ . . . . .	53
<b>Ольга ПОЛЯНИНА</b>	
ПТИЦЫ ВЕРНУТСЯ, КОГДА МЫ УЙДЕМ... . . . .	60
<b>Виктор КОВРИЖНЫХ</b>	
ТАМ, В НАРОДНОЙ ГЛУШИ... . . . .	63
<b>Маргарита ШУВАЛОВА</b>	
ВЫСОКАЯ ЛЮБОВЬ ОБЛЕЧЕНА В ТЕРПЕНЬЕ . . . . .	68
<b>Ольга ЯЦУНОВА</b>	
ОДНУ ЛИШЬ ПЕСНЮ ВМЕСТЕ СПЕТЬ... . . . .	72

### *Проза*

<b>Антонина ТКАЧЕВА</b>	
ЧИСТЫЙ ЯД . . . . .	76
<b>Валерия ТРОФИМОВА-РИХТЕР</b>	
ЧЕРНАЯ ЛАСТОЧКА . . . . .	85
<b>Наталья КРАВЦОВА</b>	
ГРЕХ . . . . .	95
<b>Денис ЛИПАТОВ</b>	
ОБМАНЫ ЗРЕНИЯ . . . . .	98
<b>Сергей КРИВОРОТОВ</b>	
ДОЖДЬ В ГОРОДЕ . . . . .	106
ЛИЦО В ТОЛПЕ . . . . .	109
<b>Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ</b>	
ТОРТ . . . . .	111
ВЗГЛЯД . . . . .	113
ДОРОГА . . . . .	114
ЗЕФИР . . . . .	116
<b>Владимир АНИН</b>	
ПАПА . . . . .	118
<b>Георгий ПАНКРАТОВ</b>	
РАДОСТЬ . . . . .	122

### *Поэзия*

<b>Александр БОБРОВ</b>	
ДОРОГА ДО НЕБА ВИДНА . . . . .	125

<b>Софья ГРЕХОВА</b> СЛОВО «ЛЮБОВЬ» РАСТЕРЯЛО ЧАСТЬ БУКВ...	.129
<b>Евгений МАТВЕЕВ</b> У МЕНЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СЛОВО...	.132
<b>Наталья СТРУЧКОВА</b> А МЫ КАК СНЕГ, ИДУЩИЙ НАУГАД...	.136

*Из будущих книг*

<b>Виктор БЕРДИНСКИХ</b> РАССКАЗЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ.	.139
--	------

*Стихи по кругу*

<b>Владимир КОРНИЛОВ</b>	.153
<b>Пётр РОДИН</b>	.155
<b>Никита ВЕЛЬТИЩЕВ</b>	.155
<b>Евгения ОРЕХОВА</b>	.157
<b>Лариса МАЗУР</b>	.158
<b>Рустам МАВЛИХАНОВ</b>	.158
<b>Александр ОРЛОВ</b>	.159
<b>Людмила ПАЛЕГЕШКО</b>	.159

*Переводы*

<b>Владимир ЯГЛИЧИЧ</b> СКИТАНЬЯ СЛАГАЮТСЯ В СТРОКИ...	.160
---	------

*Публицистика*

<b>Владимир КУТЫРЕВ</b> ПРО(СТИ)ЩАЙ, ЧЕЛОВЕК!	.165
--	------

*К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты*

<b>Александр ЦИРУЛЬНИКОВ</b> ПЕРВОПРОХОДЦЫ БАЙКОНУРА	.185
<b>Николай БЕНЕДИКТОВ</b> УХОД ОТ ГЛАВНОГО В ХРИСТИАНСТВЕ... Патриарх Сергей о католицизме и протестантстве.	.196
<b>Протоиерей Владимир ГОФМАН</b> КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО (продолжение).	.199

*Вехи памяти*

<b>Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА</b> «МИР, ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ...» К 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова. Очерк творчества	.203
<b>Валерий РУМЯНЦЕВ</b> «Я САМ ПОЙДУ ПО ТОНЕНЬКОМУ ЛЬДУ...» По страницам поэзии Михаила Анищенко	.220

*Литпроцесс*

<b>Елена КРЮКОВА</b> НЕ УМРИ	.229
<b>Иван РОДИОНОВ</b> КОЧЕВНИКИ СВИДРИГАЙЛОВА	.236
<b>Сергей ЗЕНКЕВИЧ</b> ПУТЬ ВНЕ ПУТИ.	.238

## Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор «Лимбус Пресс».

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010), лауреат Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2020).

Живет в Санкт-Петербурге.

## ТРИДЕСЯТОЕ ЦАРСТВО

По натуре Пал Палыч был стихийным софистом, про таких говорят: «самоклад». Пока Пётр Алексеевич ехал с ним от Новоржева до кукурузных полей под Ашевом, а это километров сорок пять, Пал Палыч рассуждал о слабости и силе. Разумеется, в первую очередь о той, что сидит внутри, о силе духа. Мол, зачастую эту силу предьявляет слабейший, кому некуда деваться, кто на краю – ступи шаг назад, и тогда окончательная, бесповоротная погибель. Такой будет стоять на своём до последнего, упрямо, как капризное дитя, и в итоге вынудит более сильного уступить – пусть, дескать, в этот раз будет по-твоему. И вообще, все споры силы идут большей частью по каким-то пустячным вопросам, а действительно важных разногласий, где уступить никак нельзя, довольно мало и они редки. Возможно, для сильнейшего таких тяжб не существует вовсе. Пётр Алексеевич возражал спокойно, без задора: по-вашему выходит, будто слабый сильнее сильного, будто слабость – надёжна, в отличие от силы, которая рано или поздно проиграет. Да, кивал Пал Палыч, слабый мошенничает и плутует, чтобы выиграть, а сильный – не умеет, и в том его изъян. Жить и постоянно думать, как бы сплутовать, не соглашался Пётр Алексеевич, лакейский жребий, жалкий и бесчестный. Пал Палыч кипятился: жулит тот, кто хочет победить, кто хочет обхитрить судьбу, кто стремится получить от жизни больше, но не может добиться этого иначе. Нет, непреклонно перечил Пётр Алексеевич, сильный не должен без конца уступать слабому – этому маленькому человечку (двойное ума-

ление) Гоголя и Чехова, – потому что тогда из маленького человечка вырастет маленькая гадина. А все беды мира происходят именно от них, от маленьких гадин. За исключением тех, которые подкладывают гадины большие.

Дорога была непривычно пуста. За спором не заметили, как доехали.

Небо изливало бледную бирюзу; деревья, чётко прорисованные, будто процарапанные на стекле воздуха и зачернённые эмалью, стояли голыми; земля, что обнажённая в полях, что усыпанная хвоей и палым листом в лесу, что укрытая прошлогодними травами на лугах, была суха и не томила сырым дыханием пробуждающейся жизни. Не то чтобы продолжался сон – пахло так, словно бы жизнь тут и не замирала. Ничего удивительного – зимы в этом году, считай, не было. Попрыскали дожди, потянуло чуть сквозным холодком, а крепкого снега не выпало вовсе, и рек с озёрами не тронул лёд – с декабря по март пару раз всего и подморозило. Бывали в здешних краях и прежде тёплые зимы, но такой тут раньше не видали.

Пал Палыч готов был продолжать дискуссию, однако Пётр Алексеевич всем видом выражал безучастие. Прежде, в юности, пока не устоялся, он азартно спорил по каждому поводу, казавшемуся ему важным (таким мнился именно что каждый), но результаты прений неизменно его огорчали. Не только потому, что он, по меткому слову, был крепок задним умом и самые блистательные доводы находил тогда, когда спор был уже безнадежно закончен, а потому, что трудно и нелепо искать аргументы в пользу того, что самому тебе и так ясно как божий день. И Пётр Алексеевич спорить перестал. Либо диспутировал с лентой, только чтобы раззадорить собеседника и поддержать разговор. Он не чувствовал ровным счётом никакой необходимости кого-то в чём-то переубеждать, так как не имел нужды в посторонней поддержке своих соображений – они и без того были прочны естественной прочностью, и никому на свете не по силам было их поколебать. Такое свойство сознания называют «цельным мировоззрением», и Пётр Алексеевич, как ему представлялось, определённо им обладал. Окружение, живущее переменчивым *мнением*, чтобы не напороться на неуступчивые шипы, окутывает подобных людей ватой понимающей снисходительности, поэтому в ближнем кругу одни называли природное свойство Петра Алексеевича трудным характером, а другие – занимательным упрямством.

На въезде в село по обе стороны дороги располагался небольшой зверинец: желтоглазая волчица в клетке с собачьей будкой, два медведя – матёрый и подросток, – заключённые в отдельные камеры за сварными решётками, осёл и три вечно линяющих верблюда в просторном загоне. Прежде были ещё павлины и целый табун африканских страусов, но года два назад пернатые перевелись. О судьбе их Пётр Алексеевич не спрашивался. Должно быть – птичий грипп. Зоосад и придорожное кафе при нём содержал работающий чеченец Рамзан, в просторечии Рома, приехавший сюда на заработки из Урус-Мартана ещё в конце восьмидесятых – шабашил на строительстве коровников и птичников, – да тут и прижившийся, чему немало поспособствовала начавшаяся кавказская бойня: возвращаться, собственно, оказалось некуда. Какой прок ему был в зверье – загадка, так как смотреть на Роминых питомцев всем дозволялось бесплатно. Наверное, такая песня души. Поговаривали, будто Рома случает свою волчицу с лайкой, а щенков отдаёт знакомым охотникам – из тех мёшанцев вырастают псы, не знающие страха.

Пока ехали по Ашеву, Пал Палыч то и дело вертел головой и внимательно вглядывался в редких прохожих, по большей части женщин, словно выискивал кого-то, кто был ему позарез нужен, – в пронизанном чудом мире, населённом видимым и невидимым, он был дома, но при этом всегда оставался начеку.

– Тут свертайте, – показал Пал Палыч на грунтовку, уводящую из села налево. Его псковский говорок был рассыпчат и звонок. – Надое-ло, поди, вам со мной всё на Сялецкое да на Михалкинское... Каждый год одно – озёра да мочила. А в полях-то гуся мы с вам ещё ня стреляли.

Что правда, то правда – Пётр Алексеевич уже года четыре как обсу-ждал с Пал Палычем охоту на гуся в полях, о которой знал лишь пона-слышке – из рассказов знакомых зверобоев – и по спортивно-промысло-вой литературе: накрытая камуфляжной сеткой яма-скрадок на местах кормёжки гусей или на пути их пролёта с воды на поле, маскировочный костюм «леший», превращающий охотника в неброскую швабру, гуси-ные профили для приманки идущей на жировку стаи... «А где профи-ли взять?» – поинтересовался однажды при «гусином» разговоре Пётр Алексеевич. «В городе живё – не могё достать?» – последовал ответ. Вопрос, разумеется, был праздный. Профили Пётр Алексеевич вскоре заказал по интернету – пластиковые, прекрасно раскрашенные. С тех пор они валялись в сарае у Пал Палыча без дела – до охоты на полях всё никак не доходило.

Неподалёку от Ашева размещалось животноводческое хозяйство – коровы по голландской технологии круглый год стояли на ферме без выгула и давали по сорок литров молока в сутки. Скотине на таком содержании для полного вымени нужен питательный корм, поэтому близлежащие пашни от реки Ашевки до Уды были сплошь засеяны кукурузой. Кукуруза, конечно, до литой спелости вызревала не вся-кий год, да этого и не ждали – царица полей всей своей зелёной мас-сой шла на силос. А раз так, то при уборке за початками не следили, и за комбайном их порядком оставалось лежать на жнивье. Раньше гуси по весне кормились в окрестностях всходами озимых зерновых, но теперь озимые не возделывали, и пролётные стаи на рассвете и по вечерам оципывали оставшиеся на полях с осени початки, а от-пиваться на ночь и дневать отправлялись на разлившуюся Сороть. Впрочем, в этом году из-за бесснежной зимы нормального половодья не случилось – так, чуть вспухла река и слегка накатила на заливные луга.

Теперь, в два часа пополудни, гуси были на воде – самое время раз-ведать местность. Проехали к Палкино и, оставив машину на краю поля, прогулялись с полкилометра вдоль дренажной канавы, заросшей по краям лозой, осиной и ольхой и тянущейся до самой Ашевки, кото-рую здешние жители считали подлинным истоком Сороти. Примерно тут, по мнению Пал Палыча, проходил путь гусиного перелёта – с воды на жировку и обратно, – если так, то лучше места не придумать: в ку-стах у канавы было легко схорониться.

– Когда стая летит, издали слышно – по шуму пера. Идут низко, аж воздух гудит. Голос ня дают, на кормёжку летят без гогота, – де-лился ловчим знанием Пал Палыч. – Услышите, сидите тихо, ня во-рошитесь – если себя раскроете, отвернут. А как на вас выйдут, бейте первого, который вядёт. Тогда у них пяреполох начнётся, и гуси ва-лом вверх пойдут. Тут из второго ствола бейте – можно ещё одного

снять. – Пал Палыч задумался, не забыл ли чего. – Будете подранков достреливать, из кустов ня показывайтесь. Потом собярёте, когда весь гусь прокатит. А то другие стада, какие следом идут, вас увидят и облетят.

Приметив подходящие заросли для засады, вернулись к машине и проехали, внимательно осматривая округу, вдоль серых, ещё не перепаханных полей, разделённых узкими лесополосами. Здесь, расставив для приманки раскрашенные профили, гусей можно было бить на земле, когда те садились на кормёжку. Вблизи, правда, предупредил Пал Палыч, гуси подлог разглядят и могут растревожиться – тут и надо стрелять. Первые улетят, и ладно – за ними другой табун подтянется.

– На профили лучше утром приманивать, при первом пролёте, когда ещё ня рассвело, – сказал Пал Палыч. – Днём-то им обман заметнее. – После чего добавил: – У нас ямы под скрадок ня роют. Мы в полосах стоим, под деревьям. Полей много, главное – угадать, где гусь сядет. А тут уже в удаче дело. Ня раз придётся место менять...

Собственно, времени на обследование здешних угодий оставалось в обрез: сегодня второе апреля, охота открывалась четвёртого, в субботу. Значит, завтра, с вечера пятницы, нужно быть на месте.

Подъехав по просёлку к очередному полю, остановились, вышли из машины и прошлись в сторону лесополосы. Кукурузная стерня шуршала и потрескивала под ногами, тут и там валялись на земле спелёнутые пожухлыми листьями грязно-серые початки.

– Сидел гусь, – вытянул Пал Палыч руку вправо и, повернув, пошёл к указанному месту.

Пётр Алексеевич направился следом и увидел на земле помёт и перья – птица на полях была, сомнений не осталось.

Часа два ходили по округе, высматривая участки, где больше всего наследили гуси – там, стало быть, они охотней садились на кормёжку. Нашли несколько удобных укрытий в лесополосе, хотя под голыми деревьями спрятаться было не просто, с выходами сразу на обе стороны – на два поля. И тут как на заказ в высоком сияющем небе пошли описывать круги гусиные стада – не перелётные клинья, а вылетевшие на жировку стаи. Большие птицы кружили, высматривая, куда сесть, недовольные и напуганные видом людей на расстеленной внизу скатерти-самобранке. Их были сотни, сотни, сотни – красота! Пётр Алексеевич, запорокинув голову, смотрел на небо, пока не заслезилась глаза.

Обратно ехали по такой же пустой дороге, как и туда – люди сидели по домам, не столько опасаясь выставленных патрулей, сколько оцепенев в тревожном предчувствии чего-то небывалого и зловещего. Эта непривычная пустыньность пространства поразила Петра Алексеевича ещё два дня назад, когда он выезжал из СПб. Объявленный накануне режим самоизоляции, напугав одних и став предметом отважных шуток для других, в нём самом словно бы отпустил сжатую оплёткой будней пружину. Одно к одному – типография остановила работу, сотрудники распущены по домам, а долгожданная весенняя охота, уже отменённая решением местных властей в Ленинградской, Московской, Ярославской, Тверской и других соседних областях, в Псковской по-прежнему оставалась в законе. Разве возможно усидеть в городе, какая бы чума болотная ни цеплялась за рукава?

Когда Пётр Алексеевич покидал Петербург, подспудно всё же опасаясь, доберётся ли до места. Но чёрт в лице мобильных полицейских групп, стоявших на дороге, оказался не так страшен и суров, как представлялся в коллективном бессознательном. У Петра Алексеевича с собой была бумага (тесть ещё в позапрошлом году отписал дом с участком Полине), свидетельствующая о наличии собственности в Псковской области, а стало быть, и права там находиться. Никаких справок о служебной необходимости поездки он не заготовил, но и того, что было, оказалось довольно – остановили на трёх постах офицеры в медицинских масках, посмотрели документы, отдали честь и пожелали счастливого пути.

Такой пустой трассы, как тридцать первого марта, Пётр Алексеевич не видел никогда. До Луги ещё иной раз встречались машины, но после в его полосе – никого до самого горизонта, лишь редкие встречные фуры из Белоруссии и Литвы. Вид этого огромного, безлюдного, по-весеннему прозрачного пространства вызывал в нём вовсе не беспокойство, напротив – какое-то одухотворяющее, торжественное, глубокое и гулкое возбуждение, будто перед ним, отпущенным суетой, открывался Бог, ставший разом и далью, и лесом, и облаком, в котором лишь изрядный идиот увидит только рыбу или барана. Пётр Алексеевич прислушивался к этому чувству и понимал, что оно приподнимает и словно бы окрыляет его, что оно ему соприродно и созвучно – будто в груди его надувается шар, надувается чем-то, что легче воздуха, каким-то возвышающим ликованием, и он, Пётр Алексеевич, отрывается от земли, как подхваченный ветром паучок на паутинке. Хотелось лететь, вольно гулять по свету, следуя за собственной тенью, и лишь в безлунную ночь или в ненастную погоду делать привал, чтобы ненароком не сбиться с пути...

Собственно, на трассе на него вообще никто не обращал внимания, хотя полицейские машины стояли и на границе областей перед Заплюсьем, и в Феофиловой Пустыни – у поворота на Шимск. Только после Лудоней, где, свернув на Порхов, Пётр Алексеевич сошёл с федеральной дороги, начались строгости. На перекрёстках ключевых путей, соединяющих районы Псковщины (Порховский и Дедовичский, Дедовичский и Бежаницкий, Бежаницкий и Новоржевский) патрули останавливали всех подряд и выясняли обстоятельства – провинция обнаруживала отменную бдительность, не в пример расслабленным столицам. Там Пётр Алексеевич трижды и предъявил документы офицерам, лица которых прикрывала нежно-голубоватая марля, и был милостиво пропущен, но в отношении местных выходило строже – несколько машин с псковскими номерами скопилось на обочине возле каждого передвижного поста. Оказалось, что Псков, как и его отдельные районы, закрыт для посещения – разрешён только сквозной проезд, – и теперь без каких-то специальных справок здешним жителям в соседний посёлок или город было не попасть ни по делам, ни к родне. Вроде и не карантин, а вроде и он – египетская сила.

Дело шло к вечеру, в приоткрытое окно водительской двери задувал прохладный ветерок, но небо по-прежнему хрустально светилось, хотя уже и не с такой убедительной силой, как несколько часов назад.

На перекрёстке, у поворота к Новоржеву, стоял бежаницкий патруль – машина Петра Алексеевича с петербургскими номерами, как транзитная, ни утром, ни теперь его внимание не привлекла. А может, постовые запомнили, что уже останавливали её два дня назад, и больше не стремились проявлять избыток рвения.

Вид полицейских пробудил в Пал Палыче воспоминания:

– Рассказывал или нет, как цаплялся ко мне офицер – зам по кадрам?

– Это когда вы в милиции служили? – Миновав пост, Пётр Алексеевич прибавил газу.

– Когда в милиции. Завёлся прямо: «Ну, бязграмотный человек! Другого такого в отделе нет бязграмотного! Написал рапорт: за ночь ня прошла ни одна машина!» На собрании это. Там коллектив – тридцать человек. Выхожу, молчу – ни слова ня говорю. Мне это ня обидно, а даже немного в радость. Ты хочешь сказать, что я двоечник? Так ня надо говорить – я и так знаю. Вышел напарник мой: «Палыч, что будем делать?» А я говорю: «Ня переживай, со следующей смены машины по городу будут ходить как часы». Пошёл к Пикулину, знакомому ещё по заводу «Объектив»: «Коля, я буду твою машину писать – с двух часов ночи до пяти утра – каждую смену. Если офицеры придут и спросят тебя, ты скажи, мол, по сёстры ездил».

– По сёстрам – это значит к родне? – уточнил Пётр Алексеевич.

– По сёстры – это к любовнице, – рассмеялся Пал Палыч. – Говорю Пикулину: «Скажи, по сёстры ездил. Тябе бояться нечего, ты с жаной каждую ночь дома, ты ж ня гулящий мужик». – «А, Паш, пиши что хошь!» – «Главное, имей в виду, что тебя спросят». – «Пиши, Паш». Всё. Стёпа ещё такой, хороший знакомый – к нему тоже: «Стёпа, – говорю, – я твою машину буду писать каждую смену с двух до пяти». – «А, Паш, пиши!» – «Но если, – говорю, – спросят, скажи, что по сёстры был». – «Паш, я что хошь скажу. Пиши, если тябе надо». Я говорю: «Мне машины ваши надо».

Пал Палыч возбуждённо поёрзал на сиденье, сдвинул на лоб выцветшую оливковую конфедератку и почесал затылок, после чего вернул её на место.

– В общем – всё, договорился. Я ж так живу: делай добро, если хочешь, чтоб тебя ня сдали. Таким друзьям всегда помогу, что бы они ня натворили... Пишу рапорт утром после смены: проходил автомобиль, госномер такой-то, в три часа ночи. А другой раз: в пять ночи, в два ночи – часы разные пишу. Специально, чтобы показать, что я с двух до пяти ня сплю, я работаю, понимаете? Проходит месяц-два. Опять собрание, и начальник милиции говорит: «Я прошу уголовному розыску разобраться, почему одни и те же машины ездят ночью, но нарушений никаких ня выявлено». Понимаете? Я в рапорте пишу: остановил машину госномер такой-то, а нарушений ня выявлено, нет нарушений. А тут: разобраться! Ну вот, думаю, ребятки, я вас и проверю, какие вы мои друзья – гожие или ня гожие. Ня гожие – сдадите, гожие – ня сдадите. – Пал Палыч потёр руки, радуясь своей давней уловке. – Так ня сдал ни один! И перястали говорить, что бязграмотный. Машины ходят? Ходят. Всё в порядке, раз вам надо, чтоб машины ночью ходили по Новоржеву.

– А что, обычно машин ночью нет в городе? – поинтересовался Пётр Алексеевич.

– Почему? Какие-то ходят. Но я в это время сплю.

После короткого приступа смеха договорились, что Пал Палыч, раз-нообразия ради, приедет вечером на лёгкий походный ужин к Петру Алексеевичу, остановившемуся на этот раз в пустом доме в Прусах. Хоромы Пал Палыча, как сказочный теремок, были полны – пересидеть вал объявленной пандемии не в огромном городе, где рыскал наряженный пугалом вирус, а под родительским кровом, решили и сын Пал

Палыча, и дочь с двумя внуками. Петру Алексеевичу, без сомнения, тоже нашёлся бы в тереме уголок, однако он, несмотря на протесты гостеприимного хозяина, посчитал неудобным стеснять собравшееся вместе семейство.

Забросив Пал Палыча в Новоржев, таврэнный классиком как самый никудышный городишко, Пётр Алексеевич проехался по лавкам. Жизнь в городе как будто замерла: открыты только продуктовые, прочие заведения – на замке, прохожих – перечесть по головам. На дверях магазинов объявления: просьба надевать маски и перчатки. И действительно, на улицах и в «Магните» почти все в масках – здесь люди напуганы, кажется, сильнее, чем в СПб. В Новоржеве уже два случая госпитализации с подозрением на коронавирус, но оба инфицированных не местные, а приезжие из Опочки.

Пётр Алексеевич обследовал в «Магните» полки. Как водится, первой жертвой эпидемии пала гречка.

– Иной раз смотрю на себя, – Пётр Алексеевич учтиво придвинул к Пал Палычу на скорую руку нарезанный салат из помидоров с луком, – перебираю жизнь, словно бобы лущу, и с горьким презрением вижу, что часто совершал поступки и говорил слова не по велению совести и чести, а просто красуюсь перед людьми. Иногда и перед воображаемыми... Представляете – перед воображаемыми! – Пётр Алексеевич наполнил рюмки. – И ладно, пусть себе – красуюсь, но делал бы и говорил своё! А то ведь всё-всё, все труды и речи – всё взято со стороны, сдёрнуто по крохам у других, будь то живые люди или книги. А где же я? Где настоящий я? Ау! Ужасно сознавать, что никакого настоящего тебя и нет, ужасно...

– Да таких, как вы, Пётр Ляксеич, – насадил Пал Палыч на вилку кружок колбасы, – нравственных и честных, у нас днём с огнём ня сыскать.

– Тавтология, – машинально отметил Пётр Алексеевич и поднял рюмку. – От простодушия вроде бы исповедуюсь, а внутри прислушиваюсь: не красуюсь ли снова? Честностью, как вы сказали, не красуюсь ли, этим вот самым стриптизом сердца. – Пётр Алексеевич внимательно посмотрел на собеседника и вышел на высокий стиль: – Понимаю: вы не мой духовник, но я что-то не могу заткнуться и избавить вас от потока этих нелепых откровений. Простите дурака.

– Что за тавтология? – пропустив галантности Петра Алексеевича мимо ушей, переспросил Пал Палыч. – С чем едят? Про что это?

– Про то, что нравственный и честный – вроде как одно и то же.

Пал Палыч на миг задумался.

– Это вы, Пётр Ляксеич, зря. Бывает и ня так. Тамару помните? Которая на заправке? С рыжим волосом?

– Ну.

– Так она – гадючка первостатейная. – Пал Палыч вслед за Петром Алексеевичем осушил рюмку. – Ня какая-то шлюшка вавилонская, хотя ня без того, а берите выше – лярва. Нравственности никакой. Но лярва честная, у ней на лбу прямо написано: сгублю.

Пётр Алексеевич припомнил подтянутую, крашенную в медный цвет, остроносоую, с припухлыми губами женщину за стойкой АЗС и осознал, что не настолько ещё вжился в здешний мир, чтобы читать письма на лбах. Он видел в Тамаре просто подувядшую уездную красотку с потухшим, но прежде определённо озорным взглядом. «Хрен

что поймёшь в человеке, – подумал Пётр Алексеевич, – пока не определишь его главенствующие побуждения».

– Что касается пристрастий, – ухватился он за мелькнувшую мысль, – то меня всякий раз удивляла внутренняя неготовность... Нет: внутренняя невозможность выстроить свои собственные увлечения по ранжиру. В постороннем человеке, человеке-соседе, разбираться проще – ну, вот как вы в Тамаре. Там, если главное разглядел, всё остальное можно разложить по отделениям – тут гвозди, тут саморезы, а тут биты для шуруповёрта. Сила привязанностей и побудительных мотивов в постороннем при определённом навыке легко поддаётся измерению – его, умеючи, можно расслоить, как луковицу. Так нам во всяком случае кажется. – Пётр Алексеевич положил на хлеб ломтик селёдки. – Другое дело – повернуть взгляд внутрь себя... Да, вполне возможно разобраться и в себе: это вот – столбовая стезя, а это – тропинка для одиноких грёз и мечтаний. Однако тот циркуль, что позволяет исчислять соседа, при взгляде внутрь перестаёт работать: тут словно бы находит слепота, и крепость привязанности становится неизъяснимой – всё дорого, всё важно. – Пётр Алексеевич увенчал тартинку колечком лука и отправил в рот. – Поначалу мне казалось, что причина в малодушии – в неготовности сделать решительный выбор. Но потом сообразил: вот, скажем, у меня две руки... Нет, не так. Вот у меня рука и на ней пять пальцев... Наверное, не только у меня. Какие-то из них более пригодны для повседневных дел, какие-то менее. Большой, указательный и средний, – Пётр Алексеевич поочерёдно предъявил их Пал Палычу, – определённо, важнее для любого рукоделия, нежели безымянный и мизинец. – Предъявил и эти. – Но вот доходит дело до членовредительства – палец или жизнь! Ведь может быть на свете ситуация, когда придётся выбирать... И тут, если попробовать оттяпать самому себе любой из них, из пальцев этих, то боль окажется неотличимой, что в случае указательного, что мизинца. Боли всё равно, смогу я легко обойтись без того или другого пальца, или это будет затруднительно. То же и с пристрастиями внутри нас, включая и влюблённости, – всё ценно, всё важно...

Почему Пётр Алексеевич упомянул влюблённости, он и сам не знал, однако Пал Палыч, казалось, только это и расслышал, тут же воодушевившись и расправив плечи.

– А вот послушайте-ка, что я вам скажу. – Пал Палыч подался над столом вперёд, подчёркивая порывом сокровенность и искренность грядущей речи – он придвинулся так близко, что Пётр Алексеевич почувствовал, как взгляд Пал Палыча коснулся его лица. – Когда я в техникуме, в Себяже, учился – после второго курса, перед третьим – нас, как в ту пору заведёно было, отправили в колхоз – «на картошку». Хотя мы ня картошку, мы турнепс с гряд собирали... Ня только нас послали – там ещё были из областного института студенты, из педагогического. То есть студентки больше всё, конечно... А Нина ня поехала – болела, что ли, уже ня помню. У меня памяти – никакой. Так с детства самого. Потому и учился плохо. Иные в шестьдесят лет только забывать одно-другое начинают, а у меня с рождения всё из головы вылетало, как с решета. – Рассказать о себе и своей многосложной жизни, слегка привирая и юродствуя, Пал Палыч был большой любитель. – И честно скажу, приглянулась мне там одна – из педагогических. А у нас на то время с Ниной всё было сговорено – мы с ней уже друг дружке открылись, ну, про любовь-то, и дружили. Ня так, как нынешние, а честно – до свадьбы и ня думали, чтобы там постель какая или что...

«Разница между нами – пять лет», – подумал Пётр Алексеевич и невольно прикинул, сколько кошек в студенчестве царапало ему спину. Однако Пал Палыч продолжил рассказ и сбил его со счёта.

– Словом, приглянуться приглянулась, но дальше взглядов ня пошло. Ня то чтоб я был робкий, а только ня хотел. То есть хотел, что вратъ-то, но в голове позванивало так: динь-динь – ня надо. Вот как измена, что ли, это мне казалось, как предательство. А потом настал последний день – наавтра уезжать. Вечер уже, сижу на панцирной кровати – нас, всех парней, в школе поселили, мы в спортивном зале спали – и тут Мишка Кудрявцев, друг мой, с ребятами вбегает. Вбегает и говорит, мол, пойдём, Паш, с тобой деваха одна познакомиться хочет, с подружками нас у речки ждёт – мы идём с ими гулять, так от них условие: тебя привести. А я ня в настроении. «Ня пойду, – говорю. – Ня надо мне это». А ребята ни в какую – ня отступаются. Видно, пообещали, что приведут, чуть ня за руки меня тащат – или в забаву им, или боятся, что, если без меня придут, отказ им будет. Понимаете? Ломали-ломали – уломали. Подходим к речке, а там с подружками – она, педагогическая! Верой зовут. Красивая – волосы распущены, в платье, руки голые... Ня знаю, кому как, а мне – в самую душу. Оказывается, она тоже со своей стороны меня заметила. Ждала всё, когда я к ней подойду, – ня дождалась. Вот и придумала, чтобы через ребят меня позвать. У ней, поди, гордость девичья, а она переборола – понимать надо.

Пётр Алексеевич слушал, не перебивая. Пал Палыч был ему интересен какой-то простой на вид и вместе с тем неразрешимой загадочностью: всякий раз, знакомясь с очередной его историей, Петру Алексеевичу казалось, что тайна Пал Палыча вот-вот ему откроется – печати спадают, дверка распахнётся и впустит его в хранилище души, – но в итоге секрет из раза в раз оставался неразгаданным.

– Сначала вместе, одной компанией шли, а после уже вдвоём гуляли. Вечер, тьмнеет, а мы ходим и говорим всё. О чём – тьперь и ня припомним. Что-то она про жизнь свою рассказывала. Хорошо говорила, грамотно – образованная, у меня так нипочём ня вышло бы. Студентка... русский и литература – другой полёт. Стихи наизусть знает. А потом обняла меня и давай целовать! «Как увидела тебя, – говорит, – так и поняла – мой!» Ну, и заплакала... Слёзы у ней тёплые, а у меня голова кругом. Она плачет, а меня так прошибло, будто пальцы в розетку сунул – сердце замерло и щемит. «От счастья, – говорит, – плачу, родной мой. От чего ещё?» Потом снова поплачет и говорит: «Эх дроля-дролечка, зачем же ты ня подходил ко мне? Столько дней упустили – это же наше время, твоё да моё, для нас небесной силой было отведено...» Я голову-то ей глажу, утешаю, да куда там... Так полночи на груди моей и проплакала – рубашка мокрая, хоть отжимай. А утром мне уезжать в Себяж на учёбу. И уехал. Но адресами обменялись.

Пал Палыч одним глотком допил квас из стакана и наполнил его заново. Едва ли не в каждом его жесте чувствовалась уверенность человека, ломающего жизнь, как соты, и поедающего добытый мёд из пригоршни, вместе с мягким воском, что совершенно не сочеталось с его заниженной самооценкой, которую Пал Палыч всякий раз лукаво предьявлял собеседнику. Впрочем, Пётр Алексеевич уже привык к этому химерическому совмещению.

– Она в Пскове жила, в общажитии. Я – в Себяж, она – в Псков. Разъехались. Нядели ня прошло, приходит от ней письмо. Так складно написано, слова такие – до самой пячёнки достают. А я-то парень ня

учёный, дерявенщина, мне так ня написать. Понял, что ня ровня ей... – Пал Палыч вздохнул, но тут же снова оживился строгой, невесёлой живостью. – А Мишка Кудрявцев, с которым мы вместе у брата жили – он, брат мой, когда тут учился, снимал, и меня туда пустил снимать, а сам уже в колхозе работал, в Островском районе – Мишка Кудрявцев, значит, и говорит: «А что ж ты ответ ня пишешь?» Мы с им друзья был – секретов друг от дружки нет. Ну, я и говорю, что ня буду отвечать, ня та у меня образованность. Ня мастер, чтобы хорошо так, как у ней, слова сложить. Понимаете? А потом...

Из дальнейшего – немного путаного – рассказа Пётр Алексеевич уяснил, что после разговора с Мишкой завязалась довольно мутная история, нечто под Ростана: бойкий приятель Пал Палыча взялся от его имени вести с Верой переписку. Эпистолярный роман затянулся на полгода, пока однажды Пал Палыч, внутренне распадавшийся надвое между Ниной и на мгновение мелькнувшей в его жизни Верой, с пронзительной ясностью не понял всю двусмысленность этого положения, не устыдился покаянным стыдом и не запретил Мишке Кудрявцеву писать за него в Псков. Вера прислала ещё несколько писем, оставшихся без ответа, а затем – армия, танковые войска, другая вселенная.

– Вроде и ня случилось ничего, – подвёл черту Пал Палыч, – а только забыть ня могу, как она у меня на груди проплакала полночи от счастья. Жизнь целая прошла, а из головы ня выходит.

Пётр Алексеевич не столько осознал, сколько почувствовал, что крепкая природная натура Пал Палыча имеет брешь – подумать только: испугаться, спасовать перед судьбой из-за того, что обуяли сомнения в безупречности подвластного тебе порядка слов! Так храброму портняжке платяная моль способна внушить едва ли не священный ужас.

– Что верно, то верно – жизнь прожита, – согласился Пётр Алексеевич. – Недавно заметил, что стал чаще чистить зубы – не из приверженности гигиене, а просто резко сократилась дистанция от утра к вечеру.

– Вот зубы потеряете, – поднял рюмку Пал Палыч, – всё и наладится. Чокнулись и выпили.

– Не только в зубах дело. – Пётр Алексеевич хлебнул кваса. – Возраст опознаётся по восторгу безвозвратной гибели, который то и дело ощущаешь. Жизнь и память человеческая уходят, как вода в песок – ничего не остаётся даже после лучших. Почти ничего. Стало быть, нам с водой в песок по пути. И это странным образом воодушевляет.

– Я к чему говорю? – вернулся к своей истории Пал Палыч. – Всё правильно вы сказали: вот Нина у меня есть... Я что её – ня люблю? Люблю. Пусть она и нервная. Она – как палец указательный. А есть и Вера... Её и мизинцем-то ня назовёшь, так скоро всё мелькнуло – эпизод. Только поди ж ты – письма от ней до сих пор храню, ня могу ни сжечь, ни выбросить. Любовь – такая закорюка, которой мы ня разогнём. А с годами и вовсе попутается... Знаете, Пётр Ляксеич, откуда она, Вера, родом?

Пётр Алексеевич не знал.

– Из Ашева. – Пал Палыч крутанул с усмешкой головой. – Прошлым годом как толкнуло что – ня утерпел, съездил туда узнать, что да как. Тяперь она директор школы. Так я подходил к школе-то, тайком смотрел – душа замирала, робел, как малец, как шпингалет какой...

– Жизнь назад отмотать захотели? – Пётр Алексеевич откинулся на спинку стула.

Пал Палыч тоже отстранился от стола и закинул лицо к потолку.

– Назад ничего ня вернёшь – беса лысого. А иной раз хочется. Я ж пярэд ней виноват и знаю это. Оттого и свербит в пячёнках-то – хочется сызнава переиграть, чтоб стыд ня томил. Иной раз прямо мочи нет. Так, Пётр Ляксеич, под водой бывает, когда нырнул, чтобы блясну с коряги отцапнуть... А она ня отцапляется. Воздух кончается, зявки на лоб лезут, нявмоготу уже, и подпирает, чтоб вдохнуть – тут прямо, под водой. Организм требует – ня хватает дыхания, и нет ему, организму, никакого дела, что ты ня рыба, что без жабр...

За окном в позднем весеннем сумраке сверкнули автомобильные фары. Дочь приехала забрать отца домой – после трёх рюмок, а сегодня вышло даже больше, Пал Палыч за руль не сядил.

Ночью Пётр Алексеевич спал беспокойно. Он словно бы оказался на знаменитом пиру у трагика Агафона – вокруг звучали речи, превозносящие и занимательно трактующие Эрота, которые то порхали клочками и урывками, то струились развёрнутыми стройными потоками. Подпадая под обаяние этих бряцающих в его спящем разуме речей, Пётр Алексеевич восторгался картиной наконец-то воссоединившихся навеки двух половин рассечённого Аристофанова андрогина и поражался циничной справедливости Бодлера, тоже каким-то образом здесь очутившегося и утверждавшего, что женщиной, которую любят, не наслаждаются – её обожают, а разврат с другими женщинами делает возлюбленную только дороже. «Теряя в чувственных наслаждениях, – вещал садовник, пестующий цветы зла, – она выигрывает в обожании. Кроме того, если мужчина сознаёт, что нуждается в прощении, он становится ещё услужливее и покорнее». А какой-то аскетичного вида мыслитель с очень знакомым (во сне) голосом заявлял, что никогда не предполагал о наличии столь изощрённой греховности в любовных ласках порядочных девиц, которые увлечены философией. И вообще, любовь естественным образом кровожадна, поэтому всё, в чём нет ни малейшего изъяна, выглядит бесчувственным. Так что неправильность – неожиданное, чудное, необычное – желанна нам и лишь усиливает, а не губит красоту. Пётр Алексеевич внимал. Выходило едва ли не так, что даже у откровенной дряни в дальнем родстве непременно отыщется зёрнышко возвышенного и божественного. «Одна женщина, – сообщал некто с одутловатым лицом и усами щёткой, – решила оставить мужа, узнав, что последние годы, дабы вызвать у неё жалость, он притворялся глухим». – «И что?» – поинтересовался Пётр Алексеевич. «Как только она подала на развод, муж стал стремительно терять зрение». Один за другим персонажи его сна с огоньком *гна-ли гусей*. О эти вдохновенные враки и свирепые шутки, эта насмешливая бесцеремонность и потешность парадоксальных суждений – весь этот художественный свист, которым упивались времена его юности!

Проснулся Пётр Алексеевич до рассвета, всё ещё захваченный страстной полемикой, переполнявшей его гремящий сон. А что если человек ошибся и принял за безусловно дополняющую его половину, воссоединение с которой обещает гармонию, покой и счастье, вовсе не ту или не того? Тогда выходит, что вся его последующая жизнь – сплошь фальшь, скрежет, маета и ложь. Нет, с ним и с Полиной, пусть она тоже немного нервная, определённо всё в порядке. У неё короткое дыхание – на продолжительный скандал Полины просто не хватает. Хороший скандал требует серьёзных эмоциональных вложений, а та-

ких в её дорожном багаже, как правило, нет под рукой. Словом, тут порядок. Уж он-то способен отличить сияние от морока... Пётр Алексеевич в недолгом колебании задумался: да, способен, нет сомнений, и даже без очков. А что Пал Палыч? Не злая ли тоска, навеянная подозрением, что сделал неверный выбор, что совершил ошибку, погнала его в Ашево и заставила тайком, как робкого мальчонку, стоять у школы? А между тем Пал Палычу, хоть он по-прежнему смотрит на жизнь с аппетитом, уже все шестьдесят, у него жена, дети, внуки... И если подозрение возникло, как разобраться, где была истина, а где соблазн и ложь, если былого уже не перерешить и не переиграть войну? Ну пусть не ложь, пусть заблуждение... Да, первая неправда приходит в мир от нежелания обидеть другого. Но дальше что? Дети Пал Палыча – ложь? Внуки – ложь? Дудки! Кто скажет так, пусть тот подавится счастьем своим...

Почувствовав, что воспалённая мысль упёрлась в стену, Пётр Алексеевич прильнул к поверхности, толкнулся – нет, стена стояла крепко. Не то, не так... Разве мог Пал Палыч, сроднившийся с самим ядром природы и запросто читающий по лицам чужие умысел и нрав, ошибиться? Разве мог?

Пётр Алексеевич лежал на спине и смотрел в потолок, ещё не выбеленный бледным небесным отсветом. Там, на тёмном, как вода во облацех воздушных, потолке, ответа не было. И быть, конечно, не могло.

Уже давно рассвело. Пётр Алексеевич успел привести себя в порядок, сварить кофе, позавтракать, обойти хозяйство, полюбоваться расцветшей вербой, молодыми берёзками с розоватыми на утреннем солнце кронами на том берегу реки и белой цаплей, гуляющей по отмели (вода почти не поднялась), когда часов в одиннадцать позвонил Пал Палыч. Оказалось, жизнь посрамила их планы. Вчера, пока они гуляли по кукурузным полям, проводя полезную для дела рекогносцировку, вышел приказ псковского губернатора об ужесточении мер самоизоляции и строгом запрете на бесконтрольное перемещение людей из волости в волость. Сегодня утром Пал Палыч поехал смотреть сетки, поставленные им накануне на Селецком озере, так его развернули на дороге полицейские – никакие уговоры и увёртки, на которые горазд был Пал Палыч, не помогли, приказ. Сети не проверить и не снять – теперь рыба в них задохнётся и сгниёт. Одно утешение – на обратном пути Пал Палыч в ручье увидел чирков, остановился, расчехлил ружьё и взял с подхода двух. Короче, на гуся им сегодня вечером не ехать – Ашево не то что другая волость, другой район, Петра Алексеевича с пропиской в СПб пропустят, как возвращающегося по месту жительства, а Пал Палыча непременно завернут. А он с вечера уже и профили сложил в мешок... Хорошо, они вчера в ашевском охотхозяйстве не стали брать путёвки, решили, что возьмут сегодня, а то пустили бы на ветер деньги.

Недолго посоветовав на обстоятельства, сговорились вечером отправиться на вальдшнепа (пара браконьерских выстрелов, заверил Пал Палыч, – ничтожное возмещение за рухнувшие планы) – окрестные поля за три десятка бесхозных лет заросли, и теперь на опушках образовавшихся перелесков вальдшнеп тянул едва ли не повсеместно.

День простоял ясный и на полозьях мелких дел проскользнул незаметно – топилась печь, сметалась с дорожки у крыльца прошлогодняя

листва, обнаруженный возле бани полуразложившийся труп лисы, за-  
травленной, должно быть, ещё зимой приبلудными собаками, отпра-  
вился на лопате с прочим мусором в кострище, где предан был огню.  
Потом Пётр Алексеевич съездил в Новоржев и в домике-завалухе  
местного охотхозяйства взял на завтра путёвку на водоплавающую  
дичь и боровую, а вернувшись, отправился осматривать соседние озер-  
ки – круглое и лесное, – на одном спугнул стайку нарядных кряковых  
селезней, на другом – чирков и чернеть.

Когда он приехал вечером в Новоржев за Пал Палычем, тот первым  
делом сообщил:

– По телевизору пугают: сидите дома, на улице люди... Смешно. Как  
страх какой-то друг пярэд дружкой нам внушают, будто пярэд волкам.  
А сами поют хором, что, как мор закончится, иначе заживём: тяперь  
мир изменится и никогда ня станет прежним... Все страны, все прави-  
тельства поймут: есть всемирная зараза, есть опасность, общая на всех.  
Поймут и перястанут одни другим свинью подкладывать. Вы как об  
этом, Пётр Ляксеич, думаете?

– А так и думаю, – ответил без заминки Пётр Алексеевич, – что ни-  
чего не переменится, какая дрянь ни накати – хоть эта свистопляска,  
хоть другая. Чего только на свете не случалось, а мир всё тот же. Кору-  
столюбцы по-прежнему пекутся о мошне, лицемеры врастают в свои  
маски, а праведники, никого не зажигая собственным примером, по-  
тихому спасают мироздание.

Пал Палыч удовлетворённо крякнул:

– Молодец, люблю! Вот люблю, когда дело говорят!

Поехали к Телякову – там, прямо у дороги, на подъезде, в былые  
годы вальдшнеп водился в большом количестве. Небо между тем за-  
тянула мгlistая пелена и, качая голые ветки деревьев, набежал ветер.

– И что, Пал Палыч, – дал выход Пётр Алексеевич терзавшему его  
со вчерашнего дня любопытству, – как шпингалет у школы постояли в  
Ашеве – а дальше? Видели её? Ту Веру, что теперь директор.

– А видел. – Пал Палыч будто ждал вопроса. – Стоял, робел, но сов-  
лада и сам пошёл – прямо к ней в кабинет. Уж больно захотелось по-  
смотреть – как, прямо, за поводок тянули... Пятый час был, уроков нет,  
но она – на месте. Ня молодая уже, чистенькая, опрятная... Сперва как  
будто ня узнала. «Вы, – говорит, – по какому вопросу?» А я ей, мол,  
Паша я, студентами в колхозе были на турнепсе – помнишь? Она тут  
как вздрогнула. Насупилась, – Пал Палыч свёл брови, сжал губы и опу-  
стил голову, – и над столом с бумагами склонилась. Я говорю, мол, так  
и так – проезжал мимо, узнал, что она тяперь в школе директор, и дай,  
думаю, взгляну. Храбрюсь, а самого то в жар бросит, то озноб тряхнёт,  
и колени дрожат, как у цуцика. Дурак дураком – сорок с лишним лет  
прошло, а я такую дурость молочу... А она лицо подняла и говорит:  
«Ты почему на письма перястал отвечать?» Вы поняли? Всё помнит...  
«Так получилось», – говорю. А что тут скажешь? Ня будешь объяснять,  
что и отвечал другой, ня я. Хотя я каждое письмо, что Мишка сочинял,  
читал пярэд отправкой, чтоб без глупостей... «Иди, – говорит, – сейчас  
комиссия в школе районная, ня могу я...» А сама вся вспыхнула – ня  
то от растерянности, потому как ня ждала, ня то ещё от чего. А я и сам  
ня в своей тарелке – от того и храбрюсь напоказ, что ня знаю, как себя  
вести. Озлилась она на меня. Как сорок лет назад озлилась, так и ня  
простила, так и злится. «Вот, – говорит, – возьми». Карточку со своим  
телефоном дала, и я ушёл.

– Визитку? – уточнил Пётр Алексеевич. – Звонили?

– Нет, ня звонил. Зачем? Увидеть – увидел. А чего ещё? – Пал Палыч впал в задумчивость. – Поздно уже прощения просить.

Какое-то время он тягостно молчал, ворочая в голове, точно корабельный канат, длинную и неподатливую мысль, которую не решался предъявить. Наконец признался:

– У ней будто сломалось что – как тень той, прежней, стала. Тут ня в возрасте дело. Огонька, живости – никаких.

– Чего ж вы хотите? – Пётр Алексеевич неопределённо качнул головой. – Столько лет прошло.

– Говорю же, ня в этом дело.

– А в чём?

– Как сказать... – Пал Палыч снова пошарил в запасниках, нащупывая подходящие слова. – Я долго думал – полгода, считай, или больше – пока ня сообразил...

– Ну? – подбодрил Пётр Алексеевич.

– Я так понимаю, что по дурости сжёт её лягушачью кожу.

Пётр Алексеевич недоумённо вскинул брови.

– Как в сказке – помните? Долго думал, и вот – дошло. Такая, получается, моя вина...

– Что за кожа?

– Это я образно, – пояснил Пал Палыч, – для понятия. Я её кожу лягушачью сжёт, а она ня отправилась в тридесятое царство, а тут осталась. Только погасла, обыкновенной сделалась, как все. Осталась здесь, а от тридесятого своего отказалась...

– Да что вы там сожгли-то? – торопил с пояснениями Пётр Алексеевич.

– Вот это самое и сжёт... В три приёма. Сначала сам писать заробел. Потом Мишке позволил. А потом и эту нитку оборвал. А она в том мире-то, который в памяти и в письмах, уже жила, дышала... Словно в двух царствах была сразу – в том, что вокруг, и в этом вот, тридесятом.

Пётр Алексеевич ощутил, что в речи Пал Палыча определённо брезжит какая-то не до конца оформленная мысль, упрямо испуская из-под спуда слов неясный, но уже заметный блеск.

– И что? Что именно с ней стало?

– Как что? – Пал Палыч, кажется, был удивлён непонятливости Петра Алексеевича. – Она лишилась этого... Как без дома сделалась, без потаённого угла, который был ей по сердцу и в душу. Понимаете? Обыкновенной перекинулась, как все другие – больше ня царевна... Без света, без тайны, без чудинки... Без царства целого. Без закута, куда, если что, могла сбежать, и там никто её достать уже ня смог бы. А это нам дороже дорогого – жить сразу на два царства. От этого в нас сила, и огонь, и тайна... Она, тайна эта, когда в другом её увидел, и манит. А тут ей – раз! – и дверку в тридесятое закрыли. Она вот и погасла. Как остальные стала. Как велено по жизни. Как положено.

– Откуда вы это знаете?

– А догадался. – Пал Палыч бросил быстрый взгляд на сидящего за рулём Петра Алексеевича и для весомости добавил: – Всегда как будто знал. Я сам такой. – И ещё добавил: – Этой виной себя виню: сжёт у ней лягушачью кожу.

– Вы тоже, что ли, на два царства живёте?

– А как же! На меня только собак спусти, или ещё как защеми, а я уже в своём тридесятом! Поди-ка ковырни меня оттуда.

– И где же дверка в это ваше царство?

– Сказать? – как будто у кого-то третьего, незримо присутствующего в машине, поинтересовался Пал Палыч. Спросил и, видно, получил ответ. – Ружейный ящик в комнате моей видали? Вот тут и есть.

«След путает», – сообразил Пётр Алексеевич. Действительно, с какой стати Пал Палычу открываться? Чтобы потом кто-то сжёг его собственную лягушечью кожу, как однажды невзначай он сделал это с Вериней? А ведь его и вправду не нагнать... Пётр Алексеевич впал в безысходную задумчивость.

Молча доехали до перелеска перед Теляковым, откуда уже были видны пустые в эту пору (одни заброшены, другие ждали лета и дачников) окраинные деревенские дворы. Только вышли из машины, как по кустам хлестнул холодный ветер, и из набежавшей тучи ударил снежный заряд, обжигающий и злой, какими небесная пушка за всю зиму не палила.

– Ёпс, – подбил итог Пал Палыч.

Вальдшнеп по такой погоде, разумеется, не тянул.

## Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

## «СПИДОЛА»

Конечно, классический рассказ надо начинать с экспозиции. Это такой быстрый взгляд автора, который сразу позволяет, как кажется ему, какой-то деталью коротко, но чётко охарактеризовать или главного героя, или описываемое событие. Ну, например – Ивану Ивановичу было сорок лет, он был женат, и у него под носом росла большая коричневая родинка.

И вроде бы сразу читателю становится всё понятно.

Так вот у меня рассказ очень короткий: практически – два абзаца. А экспозиция моя, то есть моё положение в пространстве, а главное, в эпохе по отношению к основному событию имеет очень существенное значение и потому занимает в тексте значительное место, то есть более значительное, чем положено для экспозиции.

Я помню, как Борис Березовский приехал в наш город за Борисом Немцовым, чтобы забрать его в Москву и использовать непонятно в качестве кого в правительстве. Он шел по коридору «Нижегородской ярмарки» с Татьяной Дьяченко, аккуратно придерживая её под ручку, после переговоров, изумленно вполголоса проговаривая:

– У них тут, по-моему, все позаканчивали радиофак!

Наш, закрытый в советские времена, полуторамиллионник почти весь работал на космос и оборонку, и даже радиофаков у нас в городе было два: в университете и в политехе. И в том, что руководством города в начале шестидесятых было принято решение под патронажем радиофака университета создать специализированную физико-математическую школу для одаренных в этом плане ребятшек, ничего удивительного не было. В Москве и Ленинграде такие школы уже были.

Предложение заняться созданием подобного образовательного учреждения было сделано обычному школьному учителю математики, но при том бывшему комсомольскому работнику (и это сыграло немаловажную роль!), Вениамину Яковлевичу Векслеру, и он не отказался, а напротив – с энтузиазмом взялся. Он с фантазией отнесся к заданию, которое не ограничивало, а даже развязывало ему руки: получил согласие на сотрудничество от самых сильных педагогов из разных школ города и даже от профессоров университета. Получил под школу отдельное, пусть и плохонькое, с печным отоплением, здание бывшего трамвайно-троллейбусного управления, стоящее прямо на высоком берегу Оки. Продумал он и систему факультативных занятий, и ввёл преподавание предметов парами, как в вузах, а главное, в школе учились только старшеклассники – с девятого по одиннадцатый класс: они в большинстве уже определились в своих интересах на будущее. Да, много ещё чего! И все его предложения и требования были одобрены.

Под такие авансы ему удалось собрать хороших педагогов и действительно талантливых ребят со всего города с уже проявившимся повышенным интересом к физико-математическим наукам. Но и просто настоящие лидеры в любых отраслях будущей своей общечеловеческой деятельности оказались в числе учащихся школы номер сорок: и спортсмены, и хулиганы, и комсомольские активисты – они тоже поняли, что тут готовится что-то интересное.

Я не помню среди моих одноклассников гениев и вундеркиндов, каких показывают довольно часто в цирке или по телевидению, но общий средний интеллектуальный уровень у нас был такой высокий, что учителя не обращали внимания на прогулы, лишь бы знания были на высоте, и не возражали против чтения книг на уроках, хотя в карты играть не разрешали. В окна можно было наблюдать, как в течение первой пары ребята не торопясь шли в школу, а во время второй и третьей пар – из школы. Курили мы на школьном дворе – учителя не ругались.

Первый набор состоял из ста восьмидесяти человек – это полноценных пять классов. В «А» класс попадали отличники, в «Б» класс те отличники, которые не попали в «А», а в «В» записывали тех, за кого попросили и кто пришёл по блату. В остальные три или четыре класса – все остальные, но после соответствующего собеседования.

Я пришел в сороковую школу в девятый класс в третий набор, когда школа была уже битком забита, учащихся было с полтысячи человек, аудиторий не хватало и часть занятий проводилась в университете. Попал я в «В» класс, по-видимому, по блату: директор Векслер жил на нашей улице, в доме напротив, и мы с детства дружили с его сыном, моим ровесником Мариком. Зачем я в эту математическую школу пошел – не знаю до сих пор: интересы мои были где-то немножко в стороне от точных наук: история, география.

Правда, в седьмом классе я стал победителем какой-то городской математической олимпиады, и то по недоразумению. Поехал я на другой конец города в какую-то незнакомую школу за компанию с моими друзьями-одноклассниками, на которых была сделана заявка и возложена ответственность, а там, на месте, мне, как и всем, выдали чистую бумагу и задание, которое я как-то по-своему быстренько сделал. Надо было видеть неподдельное изумление нашей математички, а по совместительству и нашей классной руководительницы, когда она мне вруча-

ла грамоту победителя городской математической олимпиады; виделся ей в этой непонятной истории какой-то подвох.

Переходил я в новую для меня школу не один: со мной шел и мой лучший школьный товарищ Вовка. Жили мы в соседних домах рядом с Оперным театром, школа бывшая наша, восемнадцатая, была тоже рядом, а теперь – каждый день надо было тащиться пешком на Гребешок. Считаю, полчаса хорошего хода: через Кулибинский садик, по переулку Грибоедова, по Звездинке, потом по Воробьевке. Но зимой в хорошем темпе мы доходили за двадцать минут. К тому же поспорили мы с Вовкой в тот год, что я смогу без шапки и в болоньевом плаще в школу всю зиму проходить. Как сейчас помню: на первой паре уши оттаивали и безумно болели, на второй паре – они опускались вниз, как у гончей собаки, а на третьей паре я уже мог с них отколупывать чешуйками от мороженную кожу. Вот не поверите – уши у меня в тот год к марту стали размером с ладонь. Я посмотрел сейчас на свою ладонь – и не поверил! Вовка предлагал мне их купировать, чтобы были, как у дога, остренькие, но я отказался.

В классе, а точнее даже в школе, мы все быстро передружились – коммуникабельность в коллективе была фантастическая, все старшеклассники, все одного возраста, все с высочайшим самомнением и апломбом.

Конечно, каждый из нас приносил в школу и что-то своё, что не всегда приживалось, а иногда отвергалось новым коллективом, но иногда творчески преобразовывалось. Вот у нас в восемнадцатой школе все конфликты мужские выяснялись или в туалете, или в школьном дворе. Фраза «Пойдем, выйдем!» была классической для моей родной школы, и было в ней что-то мушкетёрское. Она звучала практически каждую перемену в коридорах. А вот в сороковой – не прижилось! Хотя, когда я предложил однажды Алику Когану пойти выйти во двор, он не отказался, и мы минут десять размахивали там кулаками, пока рядом с нами не встал наш новый одноклассник Алик Кольчугин. Он понаблюдал за нами минут с пять, после чего авторитетно заявил:

– Хватит махать! Я замерз! Пойдемте, я вас в сортире немножко помою.

Мы с Коганом даже обрадовались такому исходу нашего недоразумения. А покровительство Алика Кольчугина дорогого стоило: Алик был авторитетом стадиона «Динамо», а следовательно, и вся Свердловка его знала и уважала. Он играл в футбол, в хоккей, а впоследствии стал капитаном нашей хоккейной команды «Динамо». Аркадий Иванович Чернышев его вместе с Валеркой Васильевым (будущим капитаном сборной СССР) забирал на пробы в Москву, только Алику там не понравилось.

Это случилось ближе к Новому году. Помню, снега навалило тогда – не просто через меру, а выше всякой меры. Снег-то ведь в те годы на машинах из города не вывозили, и копился он сугробами между тротуарами и проезжей частью. Только и проезжей частью дороги называть нельзя было – дороги никто не чистил, и свои машины частники зимой, как правило, держали в гаражах со снятыми аккумуляторами.

Так вот как-то раз, ближе к Новому году, в класс очень загадочно зашел Генка Елисеев, длинный, как всегда в тёмных очках и в шапке с опущенными ушами. Он заговорщически, присев рядом со мной и Вовкой за парту, шепотом спросил:

- «Спидолу» хочешь купить? По дешевке!
- Что значит по дешевке? – спросил у него я.
- Двадцать пять рублей.
- Действительно – дешево!

И то, что это могло быть правдой, я не засомневался, потому что буквально с неделю назад краем уха услышал я, что была обнесена база Роскультторга, что на улице Яблоневой. А там, на базе, могли быть и «Спидолы».

Про «Спидолу» надо отдельно. Вот если бы спросили у меня в тот год, а что тебе, Олежек, больше всего хочется занять: коньки Бобби Халла (на которых однажды я всё же покатался спустя несколько лет), акустическую гитару какого-нибудь одного из «жуков-ударников», как тогда на Би-Би-Си только-только начали называть группу «Битлз», или «Спидолу» – я бы без раздумий выбрал «Спидолу». Если бы я тогда уже писал стихи, я бы написал оду «Спидоле». Это была моя мечта, как и мечта многих пацанов, моих ровесников. Двадцатипятиметровый диапазон – вам что-нибудь это говорит? А мы без труда могли переделать его и на девятнадцать метров.

Родители бы мне денег на «Спидолу» не дали: они мне только что летом купили велосипед спортивный, а своих у меня было только рублей пятнадцать. Ну, и главное – я помнил про то, что случилось недавно с базой Роскультторга. А вот Вовка загорелся. И ещё три человека из класса принесли и отдали Генке деньги. По Генкиной легенде, «Спидолы» те надо было выкупить на базе леспромхоза в Уренском районе и туда надо было ехать.

Ни к Новому году, ни после Нового года «Спидолы» у моих одноклассников не образовались. Генка, невозмутимо и не сомневаясь, всех пацанов успокаивал:

– Всё будет!

В начале февраля мой друг Вовка, скрипнув зубами, со мной поделился:

- Сегодня набью рожу Генке.
- И чего ты добьёшься? – спросил я.
- Ничего, – ответил Вовка, – просто полегче станет.

Вовка был крепким пацаном: он занимался бальными танцами и греко-римской борьбой. Вовка мог набить рожу Генке, и очень даже запросто.

- А ты посоветуйся с остальными пацанами, – сказал я.
- А чего мне с ними советоваться? Как ему морду набить?
- Да нет. Ну, всё же.

И вот уже на следующей перемене все четверо потерпевших подошли к нам с Аликсом Кольчугиным и изложили свою просьбу в очень трогательном виде: просили они нас поговорить с Генкой Елисеевым по-человечески.

Алик сказал:

– Я один поговорю.

Вечером, хотя зимой вечер наступает в четыре часа, а значит, поздним вечером, мы троим – Генка, Алик и я – пошли к Генкиному знакомому, который должен был вернуть деньги, переданные ему за мифические «Спидолы». Жил он где-то в районе Третьей Ямской или улицы Дальней в частном секторе, и, когда мы подошли к нужному дому, оказалось, что надо перелезть через поваленный, занесенный снегом забор, а потом ещё по пояс корячиться через сугробы, завалившие густой

малинник. И вдруг, застыв, как от испуга, и даже присев в сугроб, Генка с удивлением произнёс:

– Эх ты – свет горит. Димка-то дома! Пошли тогда лучше к Лёшке, он тут рядом.

Меня эта фраза, сказанная с выражением удивления, восхищает до сих пор. Ради этой фразы и весь мой рассказ.

То, что деньги вернули, – это не интересно. И кто и как деньги возвращал – тоже неинтересно. Хотя в виде постскриптума есть небольшое продолжение.

Генка женился на нашей однокласснице, в которую была влюблена вся школа, отсидел в тюрьме за какую-то драку. Я его увидел спустя несколько лет. Был просто звонок в дверь, я пошел открывать и увидел на пороге Генку Елисеева. Он был без тёмных очков, но в шляпе. В глазах у него стояли слёзы.

– Старик, Лексеич, помоги! Папа умер, надо похоронить. Надо пятьдесят рублей, отдам быстро.

Я дал Генке пятьдесят рублей, всю свою заначку.

Через две недели – снова звонок в дверь, открываю, там стоит Генкин отец. Я его знал – мы же все в школе дружили когда-то и мотались друг к другу в гости.

– Здравствуй, Олег. Генка сколько у тебя денег брал на мои похороны?

– Пятьдесят рублей.

– Вот, забери. Надо же, стыдно-то как! – он отдал мне Генкин долг.

А теперь я думаю: это что – я умнее в девятом классе был, что не дал Генке денег на «Спидолу», или Генка ловчее стал, что теперь он меня всё же накрыл?

## МОЙ ДРУГ – АЛИК КОЛЬЧУГИН

Как-то так получилось, что, в конце концов, перебрались мы с супругой в новую квартиру. Все наши друзья квартир этих по несколько штук за свою жизнь понастроили да поменяли, а мы как жили в родительской, так бы, наверное, в ней и конец свой встретили. Товарищ мой хороший, директор научно-исследовательского института, уважаемый в городе человек, ещё давно как-то раз при встрече запросто так сказал, что мне и по статусу уже неприлично жить в этой старой сталинке, до войны ещё построенной. А что у меня за статус – так и не сказал он.

Но как-то вот тут всё сложилось: и дети выросли, и деньги откуда-то образовались, и настроение вызрело – переехали мы в новую квартиру. Теперь у меня отдельный кабинет с выходом на небольшой балкончик, а у супруги есть большущая лоджия, которую она основательно утеплила, и обустроила под зимний сад, и всяческие диковинные растения у неё в этой оранжерее живут. У неё там такие направленные кондиционеры с вентиляторами и увлажнители, что ещё чуть-чуть, и у нас в квартире пальмы будут цвести и попугаи летать.

В общем – обживаемся.

Квартира наша новая в центре города; всё здесь вокруг для нас родное и знакомое: и магазины, и друзья, и улочки, и переулочки, и Откос рядом, чтобы погулять, – всё греет.

Дом пусть и не с подземной парковкой, но со своей, охраняемой. Охранник в подъезде сидит – просто так никто мимо не проскочит. Садик свой небольшой, чистенький, со скамеечками и с кустиками, и дворник свой есть. Вот про дворника-то я и хотел поговорить.

Зима в тот год выдалась не то чтобы лютая, но уж очень снежная: всё завалила сугробами непомерными. Во дворике нашем собственном у нас всё аккуратненько прибрано и расчищено, а по улицам городским – не пройти: тропинки протоптаны, и, чтобы встречного пропустить, в снег по колено отступать приходится. В общем, власти городские о народе своем не очень-то заботятся: не думают или средств не хватает. В этом плане, кажется, даже при советской власти лучше было. А тротуары уличные дворник наш домашний чистить не собирался – мол, это зона ответственности городских властей, так и отрезал мне по-умному. Как-то мимоходом я заметил охраннику нашему, что я бы сам заплатил из кармана дворнику какому-нибудь, чтобы тот почистил тротуары уличные перед домами нашими. Охранник с пониманием кивнул мне – мол, я найду.

На следующий день я заметил, что тротуар на половине улицы: от угла и до нашего дома – аккуратно расчищен, смотреть приятно, не го-

вора уже о том, что и ходить стало легче, а сугроб между тротуаром и проезжей частью встал высотой чуть ли не в мой рост. Вечером супруга, стоя у окна, говорит мне:

– Какой дворник интересный тут на улице: лопатой машет без перекуров и ломом лёд покалывает играючи – посмотреть любо-дорого.

Я подошел к окну, посмотрел – что-то знакомое мелькнуло в фигуре вечерней, освещенной фонарём. Мужчина работал обстоятельно, не торопясь, и в то же время было что-то, что настораживало – настораживала мощь, скрытая во всех движениях его, и что-то ещё знакомое.

– Это ведь я надоумил нашего охранника пригласить дворника со стороны, чтоб он почистил тротуары. Надо мне выйти да расплатиться – я обещал.

Оделся я, сунул бумажник в карман куртки и вышел на улицу. Дворника звали Алик, Алик Кольчугин – мы не виделись двадцать лет, а может, и больше. Это был мой старый близкий друг Алексей, друг в моей прекрасной и бесшабашной молодости, хотя все его в те времена звали Аликком.

Когда-то мы вместе учились в одной школе год или два. Потом я поступил в институт, а он стал капитаном нашей городской хоккейной команды «Динамо», но дружить мы продолжали ещё несколько лет, а потом дороги как-то незаметно разошлись.

– Привет, – сказал я и улыбнулся.

– Привет, – ответил он без улыбки, – вот, поддерживаю физическую форму.

В этом не было ни капли иронии. Попробую объяснить. Вы когда-нибудь общались со спортсменами экстракласса в момент их работы, то есть во время соревнований? Это надо ощутить на себе. Физическая сила, мощь их натренированных организмов, уже настроенных на победу, поражает неподготовленного обывателя исходящей от спортсмена энергетикой. Однажды мимо меня по коридору прошла на выход в зал, для встречи в финале, женская сборная команда по волейболу, и меня припечатала не фигурально, а натурально к стенке волна животной целеустремленности, производимая этими женщинами. Там не было ничего женского, там была только воля к победе, и она сметала всё. Глядя на семяющую по корту, опускающую взор долу Марию Шарарову или на наивно улыбающуюся беззаботную Алину Кабаеву надо представлять, что у них и качающие кровь сердца, и лёгкие, и диаметры всех сосудов организма намного серьёзнее и эффективнее, чем у нас с вами, простых обывателей. А их способности и возможности в физическом плане тоже в разы выше.

Это – по-другому организованные особи (хотел сказать – люди!). Можно привести десятки примеров, чтобы проиллюстрировать или понять, как отличается физически и технически профессиональный спортсмен от любителя, и это сделаю.

Однажды в нашем городе проводился выставочный турнир по теннису, и в качестве почетного гостя был приглашен старый мастер, давно уже выпавший из обоймы, но блиставший в советские времена, а теперь уже и вовсе забытый, Чесноков. Сетка была подгадана так, что в финале встретились наша молодая городская «звездочка», которому наши местные спонсоры покровительствовали и прочили хорошее будущее на международной арене, и приглашенный мастер. В самом начале трёхсетового матча Чесноков неудачно, но картинно упал и якобы повредил себе руку; первый сет он проиграл 0:6. В перерыве ему руку

перевязали, и он играл второй сет левой рукой, выиграв его при том 6:0. Третий сет Чесноков тоже выиграл на тай-брейке, получил заветный приз, автомобиль «Волга», который попросил выдать деньгами. Это я просто к слову.

Говорить нам с Аликом было не о чем – о чём могут говорить люди, не встречавшиеся двадцать лет? Вспоминать прошлое? Так ведь это надо ещё знать – а приятны ли такие воспоминания о прошлом твоему собеседнику?

– Ты в хорошей форме. Сколько я тебе должен за работу? – спросил я Алика.

– Пять тысяч за месяц. И в течение месяца твоя улица около твоего дома будет всегда чисто прибрана.

– Отлично, – сказал я и отдал ему деньги, – Ну а поболтаем как-нибудь в другой раз.

– Хорошо, поболтаем, – ответил Алик.

Помнится, много лет назад наше городское милицейское руководство решило сформировать приличную местную хоккейную команду «Динамо». База была, стадион свой был, воля была, и механизм формирования команды был кем-то тоже подсказан: талантливых в хоккейном плане парней брать служить не в армию, а в милицию. Нашли тренера дельного, навесили ему майорские погоны, капитаном команды сделали Алика Кольчугина. В общем, поначалу всё получилось: и ребят способных нашли, и общежитие вместо казармы, и питание в столовой Дома офицеров.

Да только через два года всё рассыпалось: Валерия Васильева в московское «Динамо» забрали, потом он капитаном сборной страны стал, Мишку Денисова – в Ригу, Алика Кольчугина сделали капитаном команды «Полёт». Зато эти два года я провёл рядом с Аликом Кольчугиным – как собачонка за ним бегал.

Раз в неделю – танцы в клубе УООП, который сейчас «Домом чекиста» называют, а в нашей молодости вечера танцев без драк не обходились – команда «Динамо» в полном составе всегда наготове была. В общежитии, что рядом со стадионом, девчонки верные уберутся и полы помойут, а были и болельщики услужливые, которые без трёхлитровой банки портвейна не приходили: «Билэ мицне» тогда в магазинах банками трёхлитровыми продавали.

А девчонки...

У Алика этих подружек... По всему городу. На шею вешались! На Краснофлотской – Ася, на Студеной – Мила, на Прядыльной – Крючёчкина. Однажды пошли мы к одной из его пассий на улицу Одесскую, я и улицы-то такой не знал раньше, так там местная шпана загнала нас в небольшой, но глубокий (метра два), только что отрытый котлован и вот страшает, что, мол, когда мы выберемся, они нам покажут «тундрочку». Дождик моросит – тут и при желании не вылезешь из этой скользкой глиняной ямы. Я и ляпнул тогда, что, мол, не знаете вы, что загнали в яму Алика Кольчугина, капитана команды «Динамо», и придёт к ним теперь на улицу Одесскую разбираться вся команда, все три «пятерки». Как они нас облизывали, а особенно Алика, вытащив из котлована, а потом в ближайшем дворе, в каком-то сарае-дровянике угощали самогонкой и солёными помидорами.

Так что если и было что вспоминать нам, то гордиться-то особо нечем. Хотя статус местной звезды у Алика Кольчугина, безусловно, был когда-то.

За зиму я Алика раза три всего видел, а вот по весне, уже в мае, уже тепло было, я его встретил на площади Минина, встретил за работой, с метлой в руках – там уборкой занималась вся их бригада дворников. Почему-то он отложил метлу, предложил присесть, а я не отказался.

– Знаешь, чего я тебя? – спросил он.

– Нет, не знаю, – ответил я.

– Помнишь Элку Хлебникову, Элеонору?

– Помню, конечно.

– Так вот, видел я её недавно, поздоровался, а она меня не узнала. И тебя я вспомнил. И молодость нашу вспомнил, хотя вспоминать там нечего. Ничего хорошего, в смысле путного, у нас в молодости не было. Не получилось. По крайней мере, у меня. Вон она сидит на той дальней скамейке. По-моему, она с ума сошла: что-то шепчет про себя. Она ведь где-то рядом с тобой жила в те времена? Ты ведь даже за ней немножко ухлёстывал по молодости, она мне говорила? Вон смотри – встала, пошла, троллейбус её подошел.

Я посмотрел в сторону остановки, но троллейбус уже тронулся.

– Классная баба была, – продолжил Алик, – У меня в жизни больше сотни баб разных было, не считал, они сами на меня вешались, а такой, как она, больше не помню. То есть вот её только и помню из баб.

– В смысле?

– Она ведь, по-моему, за нашего Сашку Булатова замуж по молодости вышла, а потом почему-то развелась и за старого генерала пятидесятилетнего выскочила – все смеялись над ней, она же королевой катка была, её все знали, фигурным катанием у Вовки Серебровского занималась – правда, без особых успехов. Вот в тот момент, когда она развелась, я с ней и познакомился поближе, что говорится. У нас сборы были в Сочи, в ментовском санатории, я уже тренером был. И она туда приехала на отдых. Поначалу мне показалось, что она как с цепи сорвалась: загуляла, словно пацан, пришедший с дембеля. А потом мы с ней сошлись поближе и две недели уже только с ней и кувыркались. Что она вытворяла – даже представить трудно. Вот так!

– Ну ладно, я пошел, – и, не прощаясь, я поднялся и направился домой.

Май месяц, солнышко греет, всё шелестит, зеленеет, на грядках тюльпанчики рядками высажены, скоро зацветут, кругом девчонки-хотушки в легких платьицах, а у меня тошнота внутри, прямо горечь растекается.

Тот, у кого в молодости была первая любовь, не успевшая перерасти пору влюблённости и превратиться во что-то взрослое, поймет меня. У меня такой период в жизни был ещё почти в детстве, в седьмом классе: ночные многочасовые телефонные разговоры из пустого в порожнее, стихи, письма, мечты. Гуляли с её собакой, овчаркой Найдой, в скверике Свердлова – Элеонора через дом от меня жила. Два раза ходили вместе в кино, и я боялся дотронуться до её руки, так она сама в темноте нашла мой указательный палец и крепко держалась за него весь сеанс. Со мной истерика случилась, когда я узнал, что она с кем-то ещё в кино ходила – мама успокаивала, меня тёплым молоком с содой отпаивала. Мама же научила меня нарвать в соседском саду букет сирени и закинуть его Элеоноре на балкон, а потом позвонить. Да что там говорить!

Видимо, всё у нас всех складывается так, как на роду написано. Я её встретил, Элеонору, через несколько дней. Какая-то засушенная старушка,

как мне издали показалось, стояла на углу рядом с Институтом профзаболеваний в тёмно-зелёном помятом пальто, в сером бесформенном берете, белых брюках и белых кроссовках; какая-то небрежность и безвкусица в её наряде резанула мне глаз. Это была она – Элеонора. Но её личико было по-прежнему миловидно. Она заметила меня, подняла глаза и ждала, когда я её узнаю.

– Привет, Элла, – сказал я.

– Привет, – сказала она и улыбнулась как-то виновато.

– Как у тебя дела? – сморозил глупость я.

– Плохо. Иду к маме в больницу – она умирает.

– Это плохо, – опять глупость, лучше бы промолчал. – А сама как?

– Тоже плохо, двух мужей-офицеров похоронила, двух сыновей-наркоманов похоронила, и ничего доброго, вкусного и сладкого ни в прошлом, ни в будущем.

У меня не было соответствующих моменту слов.

– Маме своей, Тамаре Александровне, поклон и здоровья пожелай.

– Передам, – ответила она и улыбнулась.

На этот раз я узнал её улыбку.

Не поверите – год прошёл, а я каждый день теперь почему-то вспоминаю Элеонору, Алика Кольчугина и нашу молодость.

## Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Нижний Новгород», «Урал» и других. Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия». В 2015 году роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга».

Живет в Екатеринбурге.

## БЕЗ ИМЕНИ

Его принесли и вытряхнули из мешка. И он услышал восхищенные детские голоса:

- Какой миленький!
- Какой розовый!
- Все они миленькие да розовые, когда такие, – ответил взрослый голос.
- Какие?
- Когда ребятишки.

Потом его отнесли в тесный сарайчик, который называли стайкой, и там он стал проводить свои дни. Дни и ночи. До неизвестного ему конца.

В стайке пахло почти как от него – теми из его породы, что были здесь раньше, – но куда сильнее пахло птицами. Эти птицы сейчас ходили снаружи, по земле со стеблями травы, какой-то трухой, теребили ее клювами, разгребали полыми желтыми лапами. Они часто ругались, поклевывали друг друга. Время от времени раздавался громкий и одинаковый крик самой большой и красивой из них. Люди называли ее Петей.

Все доски в стайке были покрыты окостеневшим пометом этих птиц. И он догадался, что здесь их держат, когда там, снаружи, холодно. Ведь не всегда должно быть тепло.

Но почему сейчас, в тепло, его держат в полумраке, в духоте и тесноте? Три хороших прыжка от двери – и вот стена. Четыре прыжка от другой стены, и упираешься в противоположную.

В углу лежанка из сена, возле двери кастрюля с водой и деревянное корыто, в которое дважды в день наливали чего-то густого, теплого, отвратительно и в то же время приятно пахнущего. Он, стараясь не утопить ноздри, хлебал и с каждым хлебком чувствовал прилив тяжелых, бесполезных для жизни в этой тесноте, сил.

Ему было обидно, что его не выпускали наружу. На солнце и свежий воздух. Он наблюдал за жизнью там через щель между дверью и погрызенным, наверное, его предшественниками, порошком. Заметно было, что щель эта временная – в холодное время ее забивали чем-то шерстяным – на гвоздиках висели остатки пряжи. Если лечь набок, можно было видеть кусочек мира за пределами стайки.

Там было светло, шумно, живо. Птицы-куры что-то вечно искали в земле и зеленой траве, которой им давали всё больше и больше; по утрам и вечерам мимо двери проходили тесной стайкой другие птицы – гуси. Они высоко держали головы, смотрели на кур крошечными злыми глазами.

В клетках под навесом сидели кролики. Часто появлялся кот и обнюхивал стены, углы, кочки и ямки, через крошечное оконце под потолком забирался к нему и исследовал стайку. Случалось, резко кидался в сторону и через секунду держал в пасти подрагивающую, крутящую голым хвостом мышь.

Несколько раз он видел собаку. Она вбегала на территорию птиц и кроликов, улыбаясь до самых ушей. Игриво пугала кур, скакала перед расправившим, словно веер из ножей, крылом Петей. Если здесь были гуси, собака весело гавкала, а те шипели и тянули к ней головы с оранжевыми приоткрытыми клювами, в которых он замечал ряды мелких острых зубов... Кролики прыгали в клетках и яростно били по полу задними лапами. Кот собаку не боялся, но для порядка выгибал спину, приподнимался на выпущенных когтях и замирал, готовый, если что, броситься в бой... Вскоре собаку уводили, звенькала цепь, и она занимала свое место где-то поблизости от жилища людей.

Люди заходили сюда раза по три-четыре на дню. То пожилой мужчина, который тогда принес его, то пожилая женщина, которая наливала воды и кормила густой жижей, то, реже, мальчик и девочка. Девочка боялась Петю, но любила собирать яйца. И пока она складывала их в миску, мальчик ее охранял.

Когда пожилой мужчина чистил кроличьи клетки, дети играли с кроликами. Гладили, говорили ласковые слова.

К нему их не подпускали:

– Нельзя. Может палец откусить.

И у всех были имена. Постепенно он запоминал: мужчину дети звали дедой, а женщина Виктором, женщину дети звали бабой, а мужчина Ириной. Девочку – Саша, мальчика – Никита. Кота звали Баська, а собаку Шарик. Гусей – Серка, Щипуха, Боня, Галя, Гоголь. Почти каждый вечер женщина Ирина или дети кричали им:

– Гуси, гуси! Се-ерка! Го-оголь! Домой, домой! Комбикорм гото-ов!

Даже у кур и кроликов, которых было много, имелись имена – то и дело он слышал: Чернушка, Злюка, Белянка, Хромушка, Захар, Пеструха, Петя, Шустрик...

Получалось, только его никак не звали. Два раза в день приоткрывали дверь, выливали в корыто густое, бросали охапку травы, выгребали вилами комки навоза. Вешали под потолком клейкую ленту, которая быстро обрастала жалобно жужжащими мухами.

И всё это молча. Единственное, что позволяли себе, да и то только Виктор, иногда похлопать по загривку. Но это была не ласка – наверняка Виктор проверял, насколько загривок стал толще и крепче...

Да, ему было обидно и одиноко. Все там, снаружи, могли общаться друг с другом. Кролики перенюхивались сквозь сетку, к их клеткам подходили куры и кролики о чем-то переругивались с ними. Им, видно,

не нравилось, что куры съедали высypавшиеся из кормушек кусочки морковки и зерно, а куры посмеивались: «Ну так достаньте. Не можете, хе-хе». И их клювы быстро чистили землю под кормушками.

Между гусями и курами тоже происходили перебранки – Петя с Гоголем постоянно были готовы подраться, как и Баська с Шариком, как и Шарик с Гоголем, как Гоголь с Баськой. Но до драк не доходило – это были игры. А ему поиграть было не с кем. Даже Баська забирался сюда не к нему, а за мышами.

Так шло время. Тепло сменилось жарой, от которой даже по ночам было трудно дышать, а потом загрохотало, засверкало, полил сильный дождь; он быстро ослаб, но стучал по крыше стайки с короткими перерывами несколько дней. Потом снова стало жарко, а потом снова грохот, сверкания, дождь. После этого долгой жары больше не было, воздух постепенно остывал.

Трава, которую ему кидали, делалась тверже и грубее, в жиже он обнаруживал больше картошин, морковки, капустных листьев... Ел всё больше, зато и рос так быстро, что ломило не поспевающие за мясом и жилами кости. Он чувствовал, как превращается в нечто огромное, широкое, жадное, налитое теплым и твердым салом. Аппетит усиливался, и слова о том, что он может откусить палец, когда-то его ранившие, теперь казались справедливыми. Он подкарауливал у корытца мышей и несколько раз удавалось их поймать. Оказались вкусными.

Ловил и мух, но не ел, а давил зубами и выплевывал.

Временами нападал зуд. Бока нестерпимо чесались. И он подолгу терся о стены, дверь. Какая-то не нажитая, а врожденная память говорила ему, что нужно лечь в вязкую землю, в грязь, повалиться, и тогда станет легче. Мужчина Виктор поливал его из шланга, и было приятно. Но это случалось редко, в самую жару. Раза три женщина Ирина протирала его суровой, царапучей рукавицей, и тоже становилось хорошо. Если бы так почаще...

Однажды, когда он терся о стену, одна из досок вдруг перестала быть твердой и нижней частью отошла туда, наружу. Он оторопело замер, еще не понимая, что случилось, но догадываясь: это путь на волю. Там было ярко, оттуда в стайку влился свежий, живой воздух. И, пихнув лбом соседнюю доску, без большого усилия сбросил ее, трухлявую, с гвоздей.

Переступил через слегу и оказался среди кур. Тем рассыпались с истошными криками, Петя встал в боевую стойку, распутив крыло. Но ему было не до кур и Пети. Проснулось желание бежать. Он никогда не бегал, но, оказывается, мечтал все эти дни и ночи. Многие дни и ночи. И только теперь вспомнил, что ему снилось, как он бежит. И он побежал.

Вперед оказалась изгородь из узких досок; он сломал ее, даже этого не заметив. Бежал вперед и вперед, но не так, как во сне – быстро и легко. Нет, его бег был смешон и нелеп, но как могло бежать существо, которое столько времени держали там, где оно могло лишь стоять или лежать. Даже ходить не хватало места.

Дышать было трудно, голова тяжело моталась на жирной шее, обвисшие уши хлопали по глазам, сзади покачивался крючок бесполезного хвоста. Ноги быстро устали – земля здесь была рыхлой и почти без травы. Она пахла морковкой, картошкой, капустой...

Потом мягкая земля кончилась, он врзался в заросли той травы, которую тоже встречал в своем корыте. Но там она была мягкая и вкусная, а эта обожгла морду, спину, бока. Он закричал тонко и жалобно, ударился о горизонтально висящую жердь, перевалился через нее и понял, что владения его хозяев кончились – он на свободе.

Перешел на шаг; теперь земля под копытцами стала твердой, и эта натопанная твердость вселяла надежду, что он сделал правильно, покинув свой надоевший домик. Теперь и он утаптывает эту землю, по которой идти много легче, чем по рыхлой.

Глаза, непривычные к такому обильному свету, болели, голова кружилась, под ребрами давило. Тянуло лечь и поспать. Но желание оказаться подальше от стайки и, может быть, найти землю влажную, вязкую, для которой люди придумали такое неприятное слово «грязь», толкало его дальше.

Сзади затарахтело. Он часто слышал такое тарыхтение за стеной стайки и не испугался. Звук нарастал, наваливался на него. Потом уши проколол острый гудок, и он отскочил в сторону. Побежал через кусты куда-то вперед, запутался в высокой, незнакомо пахнущей траве. Вырвался, шел. Потом остановился и лег. Сначала на брюхо, подогнув ноги, а потом завалился набок.

Хотелось пить. Потом захотелось есть. Он приподнялся, зацепил ртом пук травы, рванул, стал жевать. Трава оказалась горьковатой, и что-то внутри предупредило, что ее нельзя есть. Выплюнул, встал, пошел.

Если бы он помнил обратный путь, то, наверное, вернулся бы к корыту, кастрюле с водой. Он приняховивался, но его собственный запах таял в других запахах, незнакомых и потому слишком сильных.

На пути стали встречаться толстые стволы деревьев. Он задел один ствол случайно и отметил, что кора приятно шоркнула его шкуру. Остановился у другого ствола и стал тереться. Кора полетела трухой в разные стороны...

Начесавшись, двинулся дальше. Пить хотелось все сильнее, и в одной низинке, где тянуло влагой, он принялся рыть носом землю. Сначала вглубь, а потом вширь.

Воды не оказалось, но в образовавшейся прохладной ямке приятно было лежать. И он уснул так глубоко, что не чувствовал ползающих по нему муравьев, пьющих его кровь комаров.

Разбудили голоса:

– Ну где его тут найдешь?

– А что делать-то? Сколько корму извели... Не мог доски проверить...

– Кто ж знал...

Голоса были знакомые. Мужчины Виктора и женщины Ирины. Он обрадовался им, хотел было вскочить, но та сила, что недавно заставляла бежать, удержала.

– И вот как звать его? Хоть бы покликать, а так...

– Сроду свиньям кличек не давали.

– Вот и зря.

– Теперь наука будет.

– Слишком горькая наука, – плачуще сказала женщина, и когда они уже прошли то место, где затаился он, неожиданно закричала: – Хрюша, хрюша!

– Да уж, – хмык мужчины. – Откуда он знает, что он хрюша...

– Хрюша, роденький, ты где? Иди к нам, иди домой! Мы тебе комбикорму заварили с картошкой. Воды свежей налили. Хрюша, хрюша! Хрюшенька!

Он понимал, что ищут его. Он хотел есть и пить, но пошел на зов не только поэтому. А потому, что звали не Шарика, не Гоголя или Петю, а именно его. И у него теперь появилось свое имя. Ему казалось – красивое.

## Татьяна ЧУРУС

Родилась в Новосибирске, с 2010 года живет в в Москве. По образованию филолог и режиссер. Работала редактором в издательстве, на ТВ, в студии перевода; преподавателем русской литературы; режиссером-постановщиком на ТВ; ведущим научным сотрудником в музее.

Финалист и лауреат литературных конкурсов. Публиковалась в журналах, сборниках, альманахах. Автор книг «Жизнь собачья», 2016, «Баушкины сказки», 2017, «Чуров род», 2018.

Стипендиат Министерства культуры по литературе 2016, 2017, 2020. Член Союза российских писателей.

## ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ

Язык на плечо, шляпа набекрень, пот в три ручья – едрена корень, опаздываю! И так каждый божий день. Да набойка еще слетела, мать ее за ногу, и каблук шатается. Все туфли ухайдакала на этой работе проклятой. Пропади она пропадом.

Так, денежку взяла, гребешок на месте, губенки подмазала... ах ты зараза, кулечек с колбасой ливерной на столе оставила! Ну надо же, а! Теперь назад придется тащиться, а куда денешься. Копейки платят. Была б зарплата приличная, я б как человек в буфете питалась. А так... Да ладно, пес с ним...

И лифт, как нарочно, вырубил... Всё, сил моих больше нет. А ноженьки-то – ну вот совсем не держат – бедные вы мои. И то, за день так наматываешься – света белого не взвидишь. Да ключ-то куда задевала, собачье ты отродие? А, вот он. Слава богу. Ну давай! Чтоб тебя! Ты будешь открываться или нет? Заело: ни туда ни сюда... Да провались ты. Ну!..

Не то слезы, не то пот в три ручья – один ляд: мурло соленое... Убила бы... дверь эту проклятушую. И замок бы этот с мясом вырвала. Нелегкая его возьми! Был бы мужик в доме, разве б я сейчас тут торкалась? Мать честная, половина! Опаздываю к чертям собачьим! Моськина меня сожрет.

– Ну чего шумишь-то? Расшумелась тут, ишь. Людям спать не дает!

Эт'то еще кто такой? Тычет тут, понимаешь, своей мохнатой лапшей мне в лицо! Кобель ты старый. Спать! Да все люди уж поднялись давно. Все люди...

– Дай-ка. Ну чего морду воротишь? Не съем, поди.

И чуть не силком ключ у меня из рук вырывает. Не успела рот раззявить – дверь нараспашку. Нет, ну ты погляди, а!

– Проходи.

Ишь ты, хозяин.

– Знач', жилища новая? Ясен корень. И за сколь сымаешь?

Да какое твое собачье дело, да я...

– Ладно, чего хвост-то задрала? Живи.

И поминай как звали.

Я кулечек с провиантом цоп – и за дверь, и на улицу. Каков, а? С ним надо ухо держать востро. Неровён час... Да едрит твою мать, автобус! Теперь битый час на остановке проторчу...

– Тебя где черти носят?

Моськина. Орет в три горла прямо с порога. Да погоди ты, дай хоть отдышаться-то, глотка твоя луженая... И кулечек с колбасой к груди прижимаю. Да каблук еще этот шатается, словно зуб гнилой. Стою на одной ноге, цапля цаплей...

– Дуй к Букину! Раз пять звонил. Документы какие-то нужно в министерство отвезти. Срочно. Ну чего рот-то раскрыла?..

А Букин сидит – там такой мордovorот! И пальцы у него вот точно сардельки, только волосатые. Ясное дело, его из буфета за уши не вытащишь, он кулечки-то с колбасой, небось, на работу не таскает... Глазки маленькие, злющие, вот как горошинки черного перца в холодце. Документ в руки сунул, даже и не мигнул: за человека меня не считает... А я что: молчком да бочком. И поплелась себе...

Это ж сейчас туфли в починку отдай – рублей пятьсот сдерут, а то и больше. А где я их возьму-то? На дороге, поди, не валяются. Глянула себе под ноги: чем черт не шутит... Нет, видать, не до шуток ему нынче. Будто не знает, чертяка, что мне тетке за квартиру надо уплатить. Кому скажи – не поверят: родная тетка, а от денежки не отказывается. Знает, старая кошелка, что деваться мне некуда...

Вот так бы сейчас зарылась в песок – и чтобы ни одна душа меня не трогала! Куда там, в метро трясусь, как волосок на лысине, и документ букинский под мышкой, и ливером разит во всю ивановскую, и мужики в ряд сидят: все здоровые, румяные, будто только из буфета вышли. И ни одна собака места не уступит.

А у меня живот к спине прилип, как банный лист к заду: и то, с утра во рту маковой росинки не держала. Была не была: тихонечко разворачиваю кулечек с колбасой. Мужик – самый здоровый и самый румяный – приоткрывает глазок. Такому хоть что дай – всё заглотит. Я воровато оглядываюсь и прячу ливер под мышку... мать честная, там же букинский документ, для министерства! Пропала моя головушка...

Министерская секретарша – там жопень, прости господи, моих две – подозрительно принимает: от документа за три версты несет дешевой колбасой. Я уж и так его чистила, и эдак: ядреная, собака, с чесноком. А я стою: каблук шатается, в животе какой-то лихой трубочек рулады свои выводит. Только бы она взяла эту злосчастную бумагу. А то еще за шкурку схватит – и поминай как звали...

Толстожопая секретарша кривит свои губки – а губки чем-то липким вымазаны, небось, пирожное трескала (а у них там, в министерстве, буфет что надо: знаю, мимо проходила): мол, в первый и последний раз она примет такой документ, мол, документы созданы для того, чтобы на них резолюцию ставить, а как, мол, на таком документе, от которого

ливером прет, резолюцию поставишь? А у меня ноги подкашиваются. Вот, думаю, сейчас грохнусь – каблук отвалится, да ей в физиономию, да по мысалам, по мысалам: нечего пирожные в три горла жрать! А трубач, собака, на все лады свою мелодию гнет.

Презрительно сморщив свой секретарский носик, толстожопиха снова берет документ эдак двумя пальчиками и тщательно его обнюхивает – а там пальчики ну точно пампушечки, не то что у меня: сухие коряги – да еще и кольцами унизаны: я столько колец отродясь не видала. Нюхнет, песье ты отродье, и на меня зыркает, нюхнет – и зыркает, словно та самая резолюция на моем лбу написана. Да бери, хороший документ, чего торгуешься? Не возьмешь – разверну кулечек с ливером и прямо у тебя на глазах начну жрать, ясно тебе, шельма ты рыжая?

– Ну не знаю, как такое (она еще раз подносит бумагу к своему носу) можно подавать на стол Ивану Терентьевичу...

Да подашь, не лопнешь.

– Зиночка, соорудите-ка мне чайку!

Легок на помине. Чайку ему. Небось, пустой-то чаек чакать не станет. Брюхо вон отрастил, словно баба на сносях.

– Вам с лимончиком?

– Валяй с лимончиком.

А сам на меня пялится. А я ногу-то эдак поджала под себя: каблук, словно пьянчужка какой, шатается – вот и прячу его от людей. А выходит, вроде кокетничаю. А ножки у меня ничего! Меня бы, вот как эту жопастую секретаршу, разодеть да в буфете денька так три подержать – я бы ух! Терентьич этот от меня живым бы не ушел.

– А это что такое?

Говорит-то про документ, а сам на меня косится.

– От Букина...

Секретарша презрительно морщится и подает Ивану Терентьевичу истрепанную бумагу.

– Это от какого Букина? Хм, посмотрим, посмотрим.

Цоп – и вцепился в документ: сейчас сожрет! Ну, я молчком да бочком – и за дверь. И дёру!

Фу... Теперь можно и колбаску достать. Бережно, двумя пальчиками, разворачиваю свое сокровище. А трубач в животе трубит во всю ивановскую: заслушаешься. Вот я рот-то и раззявила – да колбасу мимо и пронесла. А она прыг на пол – и пошла скакать по министерским коридорам. Только у кабинета самогó министра и поймала ее за хвост: ну, теперь-то ты от меня не уйдешь, съем как миленькую. И съела. А то, что тетки какие-то высунулись из своих комнат и ну пялиться на меня во все свои очки, – да пес с ними: и не поперхнулась.

– Ну что? Отвезла?

Моськина. Маленькая собачка до старости щенков. Так бы и дала между глаз, чтобы кровью умылась...

– Давай вон документы подшивай.

Собачка-то она собачка, а и муж у нее есть, и трое детишек: две девчонки и пацан. И сам Букин ее в кабинет к себе приглашает: ясное дело, за какой надобностью. А я одна как перст. Дырки в бумажках прокалываю да каблуки под корень сбиваю...

Ночью снится мне: в буфете я. А кругом одно сплошное мясо. Ешь не хочу! И азу тебе, и бешбармак, и кебаб, и фрикасе, понимаешь, всякое!

А пахнет, сил нет! Тут как тут официант, зараза ты тонконогая: чего, мол, изволите? И выдвигает у меня перед глазами кренделя своими цырлами, и сует под самый нос меню – а только это и не меню во-все, а документ, который я Терентьичу возила, точь-в-точь, ну надо же! И пахнет от него...

– Чего изволите? – Да напирает, собака ты тонконогая! – Мадам!

Мадам... Да знаешь ты, что у меня от этого мясного духа сейчас несварение желудка делается, и прямо на тебя?..

– Что будем заказывать?..

– Мне бы... колбаски... ливерной...

Чуть свет стук в дверь. Кого там еще черти принесли? Продрала глаз, накинула на себя какую-то дерюжку, еле плетусь к двери. Вчерашний. Ну, этот, кобель лохматый. Такому не откроешь – весь люд честной перебудит. Никуда не кинешься.

А он лапу свою вытаращил и прет в комнаты. Да постой ты, леший тебя возьми, у меня ж не убрано. А ему хоть бы хны: шары свои выпучил и ну рыскать по квартире – каждый угол обнюхал.

– Хм... под кровать, что ль, забилась?

И зыркает, зыркает.

Да ты что, песья твоя душа, кто забился-то, под какую кровать? Не просох, что ль, с вечера?

– Ну гляди, еще раз услышу – я т-тебе!

И грозит своим мохнатым кулачищем: такой даст – костей не соберешь.

А страх, словно слепой кутенок, в животе так и крутится, так и вертится: и что он удумал, лохмач этот? Был бы мужик в доме, нешто я вот так бы вот тряслась ни свет ни заря, словно осиновый лист... Одна я, как перст одна...

Шестой час... Вот псина шелудивый: весь сон забрал своей лапшей. Кровать какую-то приплел... А сам, небось, деньгу искал. Спасибо, тетка обобрала меня до нитки... Еще раз услышу... А чего ты слушать-то собрался? Ой, плакала моя головушка... А кутенок и крутится, и вертится...

Собрала на стол. А и собирать-то нечего: картохи, но, правда, не пустые – с салцом. Как же, теткин гостинчик, чтоб тебя черти на том свете драли, кошелка ты старая: ты, говорит, деньги-то псу под хвост не выбрасывай, у мене, мол, они не пропадут. Будто у меня пропадут! Знаешь только что и обирать – и это родную-то племянницу, сестры единственной дочь!

Ладно, бог с тобой. Роток обтерла, платьице на фигуре оправила. И только ногу в туфлю – а каблук заковрежился да и пустился себе плясать по полу, кренделя выдвигать, задом вилять! Плакали пятьсот рубликов!

Да что я, нищенка, что ли, какая? Мамаша-покойница мне приданое собирала, горбатилась: там и простынки, и полотенчики, и кружавчатые рубашечки. Много добра накопила, царство небесное. Между прочим, и туфельки красные мне в наследство оставила, которые пару раз всего и надевала. Вот, говорит, доченька, встретишь человека, будет в чем под венец пойти. Только пес его знает, где этот человек шатается.

А туфельки лаковые, с пряжечкой: загляденье! Моськина лопнет от зависти!

И эдак небрежно открываю ножкой дверь – а там что-то звя-а-ак. Гляжу: тарелочка, а на ней аккуратненько так кусочки колбаски разложены. Да не ливерная, едри ее в корень, докторская! Да свежая! Я к носу тарелочку-то поднесла – аж дух заходится. Огляделась: кажись, никого. Я колбаску-то в кулечек, кулечек в сумочку – и застучала каблучками по лестнице, только меня и видели. А тарелочка, словно бельмо на глазу, на полу светится.

А только ни Моськина, ни Букин не поглядели на мои лаковые туфельки с пряжечкой. Иван Терентьич, видишь ли, ждет. Документы ему, видишь ли, принеси-подай. Сам-то он, небось, и с места не сдвинется, разве что в буфет. А может, ему эта Зиночка толстожопая подносит кебабы там разные, пес его знает? А может, и прелестями своими у него под самым носом трясет, как наша Моськина перед Букиным! Смех, ей-богу! Ну, у Зиночки-то хоть есть чем трясти, а у этой-то: ножки как две кочерёжчки да попка с луковичку!

Чуть не поперхнулась, едва увидела, как этот мордорот Букин подзывает Моськину своей волосатой сарделькой: а зайдите-ка ко мне, Таисья Ивановна!

Я голову-то в пол, документ под мышку – и почапала от греха подальше. Вот чапаю, а сама думаю: ничего, думаю, вот домой ворочусь – достану колбаску докторскую из кулечка да и попирую всем назло! И туфельки красные не буду снимать, и платье мамино из крепдешина надену, так-то вот!

И такой меня смех разобрал, силы небесные! Иду, ну в голос хохочу. Да на туфельки эдак посматриваю, да колбаска докторская душу греет. Я возьми – да и сунь букинский документ в сумочку, аккурат к колбаске.

Прихожу. А Зиночка жопастая, как вошь на гребешке, крутится: документ, видать, шибко важный. А я эдак ножку в лаковой туфельке отставила да так, знаешь, с лентой в сумочку за бумажкой лезу, одолжение делаю. Не всё же им надо мной кочевряжиться! А она аж слюной исходит:

– Ну давайте же, ну!

Ишь ты, какая шустрая!

Не успела я бумажку вытащить – она ее сейчас хватъ (даже к носу не поднесла) и в кабинет Терентьича, только жопень и мелькнула в дверях.

Мне бы уйти, как человеку, а я возьми да и присядь в кресло мягкое: его Зиночка своими формами мнет. Хорошо! И туфельки красные на ногах, и колбаска в сумочке! Вот это жизнь!..

Да глаза прикрыла и вижу: выстукиваю я своими каблучками красными по мостовой – а из-за угла человек какой-то незнакомый нарисовался, по всему видать, суженый... Я рот-то открыла – тут как тут Терентьич. И нависает надо мной своими телесами: ну и брюхо отъел, родимые матушки!

– Это вы, что ль, от Букина?

И проедает меня своим глазом масляным.

Ну я, говорю, а сама соскакиваю с Зиночкиного кресла. А та уже зыркает на меня, сейчас сожрет.

– А пройдите-ка в мой кабинет.

И дверью хлопает перед самым Зиночкиным носом.

А я что? Я ничего не знаю, что в этих документах пишут! На кой они мне?

А он своим масляным глазом шарит-шарит по моей фигуре, а потом цоп за грудь – и пыхтит, точно сало на сковородке... Спасибо, Зиночка не стала мешкать:

– Иван Терентьич, Вам чайку сейчас принести или потом?

А у самой глаза из орбит, неровён час, выскочат.

А тот ей:

– Потом!

Пыхнул – и рукой эдак машет: пошла, мол.

– С лимончиком?

А сама сейчас заплачет.

– С лимончиком, с лимончиком!

Ну, я изловчилась, да ка-ак садану Терентьича в бок – и что сил бежать!

А туфельки узкие, а каблуки высокие, едва живая из министерства и вырвалась. Вырваться-то вырвалась, а только плакали мои новенькие туфельки: пряжечка хрясь – и в пух! Попробуй теперь присобачь...

Вот до скамейки-то доползла, колбасу из сумки вытащила. А кусок в глотку не лезет: сижу, давлюсь, а слезы так сами по щекам и катятся, так и катятся... И за что мне все это, горемычной? У людей как у людей, а у меня... Жизнь собачья... Нет чтоб как человека в буфет пригласить... И тетка эта вечно лыбится: навязалась, мол, на мою шею, хоть бы какой кобель приبلудный тебе взамуж взял, никому ты, мол, не нужна. И лыбится, и лыбится...

А я ведь песельница, еще какая песельница! У меня голос, знаешь, какой! Там такой голос, заслушаешься... Вот, бывало, с мамой-покойницей как затынем нашу любимую:

– Отец мой был природный пахарь!

Да ка-а-ак раззадоримся:

– А я работал вместе с ним!

На нас напали злые турки...

А наш директор клуба Матвей Иваныч – видный такой мужчина, там на баяне играл – рот откроешь, во как играл! Так вот Матвей Иваныч-то самый:

– Эх, – говорил, – Марья, сцена, – говорил, – по тебе плачет! Это ж какой голосина, а! Какая силища! – И глаза закатывал, вот ей-богу! А Матвей Иваныч – это вам не Терентьич пузатый, который только свое брюхо и слышит. Матвей Иваныч – это...

– Село родно-о-ое полегло...

А только гляжу, какой-то подсаживается... Ну, я колбасу в сумку, сумку в руку – и восвоюсь, только меня и видели...

– Отца мово в полон забрали...

И на кой я в город этот ринулась? Всё счастье думала сыскать. А какого рожна нашла?

– А мать живьем в костре сожгли-и-и...

Да-а, что теперь! Ни кола ни двора... И поминай как звали...

Домой еле ноги приволокла. Перед глазами темно, дух вон... А только заметила: тарелочка-то бельмом у порога не светится... Ну, и на том спасибо, добрый человек... Когда еще теперь колбаской побалуешь докторской...

И, едва за порог ступила, завыла во всю ивановскую! Уж так я выла, так выла... Голосина-то ого-го... Матвей Иваныч-то, небось, знал, что говорит... не какой-то там...

Вот ведь натура проклятая! Вою в три глотки, а сама еще шутки шуткую... А иначе как жить?..

Да только недолго выла-то.

Вдруг кто ка-а-ак стуканёт по мозгам, да еще, да наотмашь. Ну, думаю, не отворю – плакала теткина дверь! А страха за свою шкуру и в помине нет...

– Ты пошто животину мучаешь?

И вламывается в комнаты. Ну, кобель-то, лохмач-то.

А я язык высунула: стою – и не отдышусь...

Он по углам-то шнырь-шнырь, потом шары свои на меня выпучил... А мне сам черт не брат. У меня за душой ничего, одна пустота... вон только тувельки красные валяются...

– А где псина-то?

И пялится на мои глаза опухшие.

– Какая?

– Да будет кобениться-то!

И так, знаешь, прет на меня да кулачище свой потирает, а там кулачище – с мою голову. Я глазенки-то прикрыла, жду... Вот сейчас, думаю, ка-а-ак даст промеж глаз – кровью и умоюсь... Может, оно и к лучшему, может...

– Ну, гляди у меня, еще раз услышу...

И моргнуть не успела – он за порог...

А я, словно пустой мешок, на пол осела – и ну скулить тихонечко... Да в раж-то и вошла... И не заметила, как лохмач мой вернулся и стоит у порога. Гляжу – а глаз у него живой такой и будто светится...

– Ах ты, – говорит. Да, слышь, слезу тем самым своим кулачищем и утирает. Ну, я, от бессилия, что ль, по новой скулить...

– Да ты, небось, не жрамала? Ты погоду, погоду, я мигом...

Я рот-то открыла – а он в дверь. И точно, мигом обернулся: тарелочка белая в руках, а на ней кусочки колбаски докторской аккуратненько так разложены, залюбуешься.

– Это я для нее... ну, для псины... приготовил...

И сверкает глазом своим. Присоседился с боку и кусочек так берет с тарелочки – да мне в рот, берет – да в рот: ешь-ешь – приговаривает. А я и ем, знай, облизываюсь: вкусная колбаска, докторская... не то что там ливер какой-то...

А он: ешь-ешь – да по головке меня, да по спинке своим кулачищем поглаживает. А ладошки теплые такие, колбаской пахивают...

## МАТУШКИНО СЧАСТЬЕ

– Счастье-то?.. Хм... счастье... Ну а то как же, счастье-то... бы-ы-ыло, как же, мелькнуло, сама видала, вот как тебя...

Матушка – а там полнущая, румяненная, белая, спелая, – ну молодка, ну вот что кровь с молоком, того и гляди, лопнет да брызнет сок-то, и только резкие морщины вьелись в ее сдобное личико, да глубоко-то, в самый что ни на есть корень, – так оно, личико-т (а и личиком навроде не назовешь!), ровно трещало по швам, а и одёжа нехитрая трещала, что ты: там такие груди большущие, там бока в три обхвата, там телеса будь здоров! – матушка перекрестила роток: а роток-то ма-а-ахонький, и надо же, а!

– Что опара пру, а уж который годок по́стую, так-то вот... Прости, Господи, все прегрешения, вольные и невольные...

И пошла лбом об пол бить – так звезды из глаз и посыпались, хоть собирай, – и как не расшиблась только, сердечная!

– Счастье, говоришь... хм... ну а то как же...

Круглые слезки выкатились из ее черных масляных глаз – да так и затерялись в складках-ямках.

– Погорельцы у нас стояли – ну, то до лиха еще... вот в аккурат до самой до войны...

Матушка глотнула воздуху и сызнава перекрестила роток, точно из него вырвалось что горячущее.

– Да... стояли... А у нас изба-то большущая – а народу всего ничего: я, мама да сестрица Стюра – повымерли все, что скосило. Ага, повымерли... царство Небесное и мой земной поклон.

И пошла лбом об земь бить, едва и утомонилась, сердечная. Вот отбила свои поклоны...

– Ага, а к нам на постой пришли... сколь их там... два брата их было и мать ихняя, такая богомольная: там все углы крестом осенила допрежь того, как в избу войти, вот какая богомольная. Поел огонь проклятуший, все до нитки поел – и старушка... да погоди, какая она старушка – сыны-то уж больно молоды... ишь ты... мы ее со Стюрой теткой Погорелой прозвали, неслушницы эдакие. Мать, бывало, нам так и задаст: неслушницы вы, мол, анчутки окаянные, делом бы занялись – ну мы и пойдем полы скоблить, да водицу таскать, да чурочки колоть, да печь топить – там не разогнемся. А погорелица-т – и имечко-т я ее запомятовала... и то, уж, почитай, восьмой десяток пошел с того-то времечка... э-эх, времечко ты времечко... несешься ровно угорелое... Ага, так погорелица та: ну и девки у тебе, Лукерья – это мою маму так величали, Лукерья, мол, Макаровна (сурьзная женчина была, себя соблюдала в кулаке да нас со Стюрой, что ты!) – ага,

девки, мол, г'рит, золото: вот, г'рит, кому-то повезет с молодой-то. А сама все на меня поглядывает: а я шустрая, все в руках горит – там один свист стоит! Да всё плакала, сердечная: мол, поел проклятуший все дочиста, и чем, мол, топеря жить станем. А Стюрка в мою сторону только и зыркает, того и гляди, глаз выдавит: я-т меньшая, а она-т старшая, на выданье. А не берет никто... так-то вот... А мне проходу не дают, ироды...

Матушка залилась смешком – да тут же и перекрестила роток: свят-свят-свят! Ну, а уж про то, как лбом об землю била, и говорить толку чуть! Слово вылетит шустрое – она за свое, бедовая головушка!

– Ага, об чем это я... ага... не брал никто... А тут вижу, глянулся ей Михаил, погорелицын сын, сам погорелец... а и как не глянуться-то...

Матушка расплылась в улыбке... и роток не окрещивала...

– Там волос вьющий, густой, там глаз черный – и бровью эдак оттенен, а что рука сильная, что плечо... О-хо-хо! А рабо-о-отничек: там йзбу нам отделал поперек и вдоль, там блестело все! То старшой брат был, да... а и меньшей, Гришанька-то, тоже пригож, одна масть, да не та, что Михайлу выпала... И уж сколь они там у нас стояли... и спроси, не скажу: глупая была, и пятнадцати годков не сровнялось, и не смотри, что грудь перла что на дрожжах... А после-т мы и слова не сказали ни с мамой, ни со Стюркою...

Матушка залилась краскою... Круглые слезки пустились по складкам-ямкам... да что канули...

– Вот Стюрка засматривает на Михайла-то, а он всё на меня, всё на меня: Верочка ты моя, мол, Верочка! А я что дурища какая: там во всю щеку румянец так и горит, так и горит! А от мамы-т не укроешься: и что эт' ты пылаешь вся, а, Верша? А глаз что буравчик: так и сверлит, так и сверлит самую что душу! Там сердечко заходится! Да ничего, мама, что вы, мол, удумали... Гляди у мене – а сама на хворостину эдак головой и показывает: мол, так охожу – свету белого не взвидишь! Вот раз мама из избы, да с погорелицей, – а Михаил меня и прижал к печи: Верочка, мол, моя, Верочка! – и дышит в самую грудь... Ой, а хворостина в углу... А я уж и хворостину готова снести, и что хочешь со мною делай, а только дай надышаться на Мишаню на моего! Да Стюрка тут как тут – принесла ее нелегкая! – я бежать: а голенища у сапожков так и хлещут по ногам, так и бьют (сапожки-то большущие, а ножки-т тоненькие!). Бегу – а он за мной: Верочка, Верочка... Вот возвернулась позднѐхонько... мама толь и глянула... и ни слова ни полслова, точно язык проглотила. Одна Стюрка зыркнула, ровно обожгла... Прости, Господи...

И об землю, и пошла бить лбом...

– Вот ночью почиваю да слышу сквозь сон: давай, мол, Лукерья, сосватаем их, уж больно любя ему твоя Верша, да и мне пришлась по душе. Да ты что, ей ить и пятнадцати годков нетути, да и потом, мол, покуда старшая сестра взамуж не выйдет... Да обождет он... И не вздумай... А я лежу горячу-у-ущая: лихорадка меня бьет... А он, Михаил-то, ходил за мною, покуда хворала, что за дитем... Мама ни-ни... губу прикусила... Стюрка что почернела вся... А хворостина в углу... А сама слышу, бабы воют по ночам: что такое? Война... Ты будешь меня ждать, Верочка? А я пылаю вся... не то болезнь, не то любовь взяла... Мама ни-ни... Стюрка и та помалкивает... Вышли на крыльцо... А он мне булочку белую: там такую свежую, такую душистую, вот что в раю и выпекли, – с запазухи вымает да протягивает:

на, мол, Верочка! А рука так и дрожит, так и дрожит... А я дохнуть боюсь на ту булочку, до того нежная... Мама вышла на крыльцо: ни слова ни полслова... а я до того слабая... не удержала я ту булочку – так в грязь лицом и обронила... так, знаешь, и мелькнула перед глазами, белая да нежная... Да и сама, ровно кто скрутил, в тую же грязь... Ничешеньки не помню, только вой в воздухе бабий завис... и булочка нежная в грязи... Очнулась от болезни – а за окном белым-бело: а зима стояла лю-у-утая...

Ждала его... и год, и два, и три ждала... Уж и мама померла, царство Небесное, а я ждала, уж и Стюрка с каким-то спуталась, прости Господи, не по-людски, а я ждала... Да, вишь, так и осталась невестою... Как же, счастье...

И матушка утерла глаза краешком черного платка – и пошла лбом обземь бить...

## ЗА ДВЕРЬЮ

Бабушка заболела. Дверь в комнату, где она лежала, закрыли почему-то на шампур: приколотили проушины, согнули шампур и вставили эту согнутую «шпажку» в «ушки». Как будто дети затеяли какую-то забавную игру, но до поры до времени не раскрывают тайны. Варька кинулась к матери: для чего всё это? – та отрезала: «Чтобы не болталась туда-сюда». Какое там «болталась»... бабушка уже и вставать-то не вставала. Родные Варькины тетки и жены дядьев – а бабушка родила аж семеро человек детей: пять дочек и двух сынов – дежурили теперь по очереди у постели больной. Не дежурила только меньшуха, тетя Шурочка: она вышла замуж за «этого алкаша проклятого», и он увез ее «на край свету», в село с чудным названием Кетово, что в Курганской области.

Поначалу тетки – благо «отгорбатили свое» и им не нужно было каждое утро тащиться на работу, не то что Варькиной матери, – радовались: наконец-то свиделись и наговорились с матушкой родимой – пекли блины и оладушки, варили борщи (никогда ни до ни после не едала Варька так сладко). Но радость быстро сменилась печалью. Тетки надели ватно-марлевые маски, резиновые перчатки, в доме у Бурковых запахло хлоркой и тоской. К бабушке Варьку не пускали. «Чтоб заразу не подхватила», – объясняла тетя Вера: она всю жизнь учительницей проработала и всё на свете знала. Но на вопрос племянки: а какую заразу? – она лишь приложила палец к губам: мол, не твое собачье дело.

Комната, в которой закрыли бабушку, была смежной с «залой», где Бурковы вечерами смотрела «кунó», как любил говорить отец. Бывало, сидят, пялятся в телевизор, а из-за двери раздаются слабые стоны или высохший (так Варьке казалось) голосок бабушки: «Нина, Нина-а-а...» Мать, изнуренная этой болезнью (утром чуть свет бежала на работу, на «завод этот чертов, чтоб он сгорел», вечером «ходила» за бабушкой), вставала с софы, надевала маску, перчатки и плелась к заветной двери. И пока она вытаскивала «шпажку» из «ушек», Варька успевала ухватить краешком глаза большущую постель с высокой периной, на которой возлежала бабушка, словно «принцесса на горошине». Дверь быстро захлопывалась, мать о чем-то перешептывалась с бабушкой. А Варька с отцом, опустив глаза, сидели молча, даже в телевизор не глядели: ждали, когда мать выйдет оттуда. Она выходила, выдыхала, снимала перчатки, маску и молчала. Долго, мучительно молчала.

Однажды – Варька только-только прибежала из школы, мать была на работе, и дежурила тетя Тася: она, бедняжка, вымоталась, прилегла

на софу и закемарила чуток – из-за двери раздался слабый стон: «Тас-ся...» Тетка «посыпохивала в три ноздри», как говаривала бабушка, и даже не шелохнулась. «Тас-ся-а-а...» Варька вздрогнула. Подошла вплотную к двери. В груди ее забилась будто какая-то птаха, что пытается вырваться из клетки на волю, – так билось в ее груди всякий раз, как девчонка ждала чуда... Тихонько вытащила «шпажку» из «ушек»... Комната была освещена ярким светом, и бабушка – Варька никогда не видела ее без платка, простоволосой, волосы ее, раскиданные по подушке, оказались совершенно черными, ни одной седой волосинки! – бабушка лежала высоко на подушках, и ее голову обрамляли лучи солнца. Она молчала, глядела на Варьку, улыбалась и не узнавала. «Ты кто?» – прошептала бабушка. Птаха в груди снова забилась, Варька плотнула воздуха...

«Прилегла я чуток, – винилась перед мамой вечером тетя Тася, словно девочка, а слезы так и катились из глаз: глаза черные, как спелые виноградины, – а эта, антихрист такая, сейчас и шасть в комнату! Не углядела я!» «Куда тебя черти-то понесли? – трясла Варьку, словно яблоньку, мать. – Тебе же сказали: не смей туда ходить!» Но как только очередная тетка, утомившись, ложилась на софу и тихохонько посапывала, девчонка подбегала к двери, прижималась к ней щекой и слушала, слушала... Бабушка ворочалась, постанывала, иногда звала тетку или маму по имени...

«Хто тут?» – спросила она раз, когда птаха уж больно громко забилась в Варькиной груди. «Я...» – пропищала девчонка. «Хто “я”?» – пошевелилась бабушка. Варька заглохла, боялась проронить хоть звук. «Пес с тобой... – выдохнула болезная и замолчала, потом выдавила из себя: – Тяжко мне... – Варька прильнула к двери и подняла глаза к потолку, точно ждала манны небесной. – Помираю... – бабушка застонала, Варька кинулась было вытаскивать «шпажку» из «ушек», но спящая тетка громко зевнула – софа закряхтела. Девчонка отпрянула от двери. Тетка вскрикнула что-то со сна, потом захрапела – и притихла. – Вот ить жизня... – еле слышно продолжала бабушка. – Думала, такую страсть пережила – войну эту проклятую, таперича мне и сам чёрт не брат. Пустое... Молодая была, шустрая. Семерых одна подняла... Петруша-то мой головушку ни за что ни про что сложил ишло в 41-м... И как сдюжили?... Эх, горе горькое... Там такой голод страшный пережили... такую нужду... Картоха казалась райским яблочком... Траву жрали – пучки, – это чтоб с голоду не помереть: утробу вспучит – вроде как полон живот, вроде понаелися... Уж такое лихо, такое лихо! А всё одно – молодость! Всё одно – живая, на своих ноженьках... А таперича вот что камень на вашей шее: и сама помираю, и вам никакой жизни не даю... Сколь ить могла ишло понаделать... не успела... Эх, не вернешь того времечка золотого...» – бабушка горько заплакала. Горевала она о том, чего уже не вернешь, и о том, чего уже никогда не будет... Вместе с нею плакала и Варька...

Проснулась «дежурная» тетка – тетя Аня, старшая бабушкина дочь, – оттащила зареванную Варьку от дверей, вынула из «ушек» «шпажку», вошла в темноту, в маске и перчатках... и завывала во весь голос: «Да милая ты моя, да на кого ж ты на-а-а-с...»

Вернулась с работы мать. «Отмучилась, отмучилась...» – скулила она и надрывно кашляла. А кто отмучился: сама ли мать, бабушка ли, – Варька на поняла. Она кинулась к матери, прижалась к ней, глаза зажмурилась. «Она перед смертью говорила со мной!» – прошептала девчон-

ка. «Ну что ты, дурочка, – улыбнулась мать, приголубила дочку, – она и двух слов-то уже связать не могла. Не выдумывай». «Говорила!» – закричала Варька, но мать только махнула рукой и опустила голову. Закашлялась – и голова подпрыгивала туда-сюда, будто солнечный зайчик...

Хоронили бабушку «всем миром». Кого только не было: тетки, дядя, их дети, внуки, «меньшуха», тетя Шурочка, приехала «с самого краю света». Помянули бабушку как положено – и добрым словом, и кутьицей, и водочкой, и масленым блинком...

А дверь в комнату, где умирала бабушка, долго еще стояла закрытая на «шпажку», словно там схоронилось «времечко золотое», которого уж никогда больше не будет...

## Павел СУШКОВ

Родился в 1984 году в Ленинграде. В 16 лет самостоятельно освоил профессию верстальщика, работал в районной газете. Занимался в разное время фотографией, снимал видео, занимался дизайном и полиграфией. Учится в Институте филологии и журналистики Нижегородского государственного университета (специальность «издательское дело»). Главный редактор газеты «Дивеевские колокола» и заместитель главного редактора в газете «Дивеево сегодня».

Участник слёта молодых литераторов в Болдине (2020). Живет в Дивеево, Нижегородская область.

## КАК НЕ НАДО МОЛИТЬСЯ

Утром Маша, как всегда, опаздывала на работу. Трудилась она техничкой в школе, а жила с мамой Еленой Георгиевной в деревянном домике на Заречной улице. Отсюда до школы добрых двадцать минут езды на велосипеде.

И тут... Вот несчастье! Маша наступила на цыплёнка, который так некстати бросился под ноги как раз в тот момент, когда она выкатывала со двора своего железного коня. От обиды хотелось плакать – тем более что это был уже второй раздавленный птенец за сутки. Первого схоронили вчера под яблоней в саду.

Жёлтый пушистый комочек трепыхался на земляном полу, неестественно вытянув лапку. Маша взяла его в руки, и из глаз сами собой потекли слёзы. Цыплёнок был ещё жив, но получил, как говорят в официальных сводках, ранения, несовместимые с жизнью.

В таком положении застала её гостившая в их доме паломница Лидия.

– Вот, – сквозь слёзы произнесла Маша. – Ещё один. Похоже, что не жилец.

В Церковь Лидия пришла совсем недавно и находилась в том романтическом духовном состоянии, когда вера в безоговорочный ответ на молитву непоколебима, а чудеса воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

Гостья не растерялась и скомандовала:

– Так, спокойно! Сейчас мы его вымолим!

Пострадавшего перенесли в избу и уложили на расстеленное на столе чистое полотенце.

– Елена Георгиевна, у нас ЧП, – на ходу сообщила Лидия. – Давайте молиться!

По команде Лидии все немедленно встали перед иконами. Прочитали «Царю Небесный», «Отче наш» и другие молитвы. Окропили цыплёнка крещенской водой и приступили к лечению.

Компания собралась что надо. Лидия по профессии врач-терапевт, Елена Георгиевна – учёный-биолог на заслуженном отдыхе, да и у Маши – три курса естественно-научного образования. Перед началом операции состоялся настоящий учёный консилиум.

У больного выявили перелом лапы, пролом грудной клетки и общее шоковое состояние. Первым делом Лидия предложила дать ему цыплячью дозу анальгина. Отщипнули крохотку от таблетки и растворили в воде, пипеткой залили в клювик. Из спички и ниток соорудили шину на лапку. Больше всего пришлось повозиться с грудной клеткой. Воздух выходил из лёгких под кожу, и от этого цыплёнок раздувался, как шарик. Пришлось прокалывать кожу, чтобы пострадавший сдулся, затем делать стягивающую перевязку бинтом. Наконец команда хирургов закончила непростую операцию, и больному напоследок дали из пипетки несколько капель крещенской воды.

На работу Маша опоздала бесповоротно, и, когда подъезжала к школе, на крыльце её встречали директриса и завхоз.

– Почему опаздываем? – хмуро поинтересовалась директор.

– Цыплёнку перевязку делала, – пролепетала Маша, осознавая всю нелепость такого оправдания.

– Кому?! Цыплёнку? – Начальство дружно расхохоталось.

– Да у меня собака позавчера двадцать штук задушила, – не унимался завхоз. – А она одного бинтует!

Маша смущённо всё выслушала и пошла работать. Вроде обошлось. Но с этого дня к её утренним обязанностям прибавились цыплячьи реабилитационные процедуры. Птенцу меняли повязку, давали витамины и кальций. Опоздания на работу участились. Директриса каждый раз собиралась ругаться, но, вспоминая о цыплёнке, махала рукой: что, мол, с этих приезжих возьмёшь!

А цыплёнок – ничего себе, выжил. Похаживал, припадая на неровно сросшуюся лапку, по двору, клевал с собратями пшено и рос не по дням, а по часам. К осени птица поправилась и превратилась во взрослую курицу – хромую и надутую, как индюк. От хозяев она получила прозвище – Дутик. Из-за внушительных размеров Дутика не только побавались куры, но и петух старался обходить огромную даму стороной.

Курица быстро осознала преимущества своего положения и успешно ими пользовалась: отгоняла от кормушки соплеменниц, долбя их клювом ни за что ни про что, и вообще отличалась скверным характером. Кроме того, она не несла яиц – видимо, сказались последствия травмы. А хозяйева ломали голову, что с делать с этим инвалидом детства, ведь пускать на бульон вымоленное создание не поднималась рука.

Курица по прозвищу Дутик прожила необыкновенно долгую по куриным меркам жизнь – десять лет, так и не снеся ни одного яйца. Но её жизненная миссия неожиданно приобрела духовно-просветительский характер. Лидия рассказала историю о чудесном исцелении цыплёнка батушке, не забыв упомянуть и о том, что из него впоследствии выросло.

С тех пор батушка, приезжая в Дивеево с паломниками, каждый раз водил их в домик на Заречной улице, чтобы показать гоям живой пример того, что вырастает из наших молитв, в которых мы просим Бога устроить всё по нашей воле.

## ЧУДОТВОРЕЦ

Настоящая весна пришла в Дивеево на Страстной, а к Пасхе обосновалась окончательно. Всю Светлую седмицу стояло тепло, и земля хорошенько просохла от весенней влаги. Вера с утра орудовала в огороде, с удовольствием переворачивая лопатой жирные пласты земли, а потом разбивала их, ударяя плашмя. Пост отмолились, Пасху встретили, теперь самое время потрудиться, о хлебе насущном позаботиться. Да и соскучились уже руки-то по работе, по земле.

Утро плавно переходило в день, солнышко грело почти по-летнему. Хозяйка оглядела ровненькие грядки под редиску и зелень и осталась довольна. Затем мысленно распланировала оставшуюся территорию небольшого огородика. Взгляд перешёл на участок соседки за смежным забором. Там всё оставалось с осени нетронутым.

«Что-то Валентины не видно, – подумала Вера. – Я уже второй день в земле ковыряюсь, а у неё и не начато».

Она собрала инвентарь и пошла завтракать.

За чаем с остатками кулича Вера всё поглядывала в окно на крыльцо соседки, но та не появлялась.

«Уж не случилось ли чего? – вдруг встревожилась женщина. – Зайти бы проведать надо».

Поднявшись на покосившееся крыльцо Валентиной избёнки, Вера постучала и громко прочла молитву. За дверью раздалось чуть слышное «Аминь!»

«Жива, слава Тебе Господи», – отлегло у Веры. Она зашла внутрь и несколько секунд привыкала к полутьме. Окна были занавешены, а в комнате царил беспорядок. На столе немытая посуда, крошки, какие-то таблетки, печка открыта, по полу дрова разбросаны. У стены, увешанной иконками, на кровати лежала Валентина. Лицо её выражало изнеможение и унылость.

– Валя, ты чего это? Заболела, что ли? – обратилась к ней гостья.

Хозяйка печально оглядела бодрую и загоревшую от весеннего солнца соседку и трагически произнесла:

– Помирать я, Верочка, собралась.

– Как так помирать? Что с тобой? – всплеснула руками гостья.

– Всё. Хватит, пожила на брэнной земле, пора мне, – Валентина кивнула на потолок. – Лежу второй день, не встаю. Конец предчувствую.

– А к доктору – не обращалась?

– И-и, милая! Был у меня вчера терапевт этот наш молоденький. Да что толку! Прописал витамины и зарядку делать. А какая тут зарядка, когда человек помирает! Издевается он, что ли? Одно слово: молодёжь...

– Так это... Раз всё серьезно так, – Вера замялась. – Может, тебе батюшку позвать, а?

– Батюшку? Хм... – соседка на секунду задумалась. – А ну и позови, что ж! Позови. Скажи, мол, так и так, помирает Валентина.

– Ну тогда держись тут пока, а я к отцу Владимиру пойду!

Вера зашла домой за деньгами и сумкой – прикупить кое-чего для утешения болящей – и отправилась в центр. Первым делом зашла к отцу Владимиру, что жил в старинном доме у источника, и, взяв благословение, выложила:

– Батюшка, Валентина-то помирать собралась! Навестить вам её надо бы.

– Помирать, говоришь? – удивился священник. – Больна она, что ли?

– Да вроде не болела в воскресенье, а сегодня зашла – лежит, не встаёт, помирать, говорит, буду.

– Ну тогда надо идти, конечно, – решил священник. – Ступай с Богом, зайду сегодня.

Вера пробыла в центре почти весь день – покупала семена, рассаду. В монастырь зашла – батюшке Серафиму поклониться, помолиться о рабе Божьей Валентине. Не забыла и про гостинец. Купила винограду, ломтик заграничного сыра и, скрепя сердце, потратилась на бутылку кагора – для укрепления здоровья болящей.

Когда Вера возвращалась домой, солнце было уже совсем низко. Женщина открыла калитку соседского дома и опешила. Умиравшая как ни в чем не бывало орудовала в огороде граблями, собирая прошлогоднюю ботву в кучу.

– Валя! Слава Богу, живая! Что это за чудо с тобой произошло?

Валентина выпрямилась, и встала, опершись на грабли.

– Исцелилась я, – доложила она. И, помедлив, добавила: – Батюшка Владимир исцелил.

– Как исцелил? Неужто чудотворец наш батюшка?

– Точно не знаю, но похоже, что да.

– А как же было-то, расскажи!

– Расскажи да расскажи! – Видно было, что ворчит Валентина только для виду. – Ну, пойдем, присядем, расскажу.

Она достала из кармана фартука спички и подпалила кучу. Сладко запахло дымом. Женщины присели рядом на чурбаки, и Валентина стала рассказывать.

– Часу не прошло, как ты ушла, – батюшка заходит. Что, говорит, Валентина, слышал, помираешь ты? – Да вот, говорю, батюшка, помираю. Пора, говорю, мне пришла. Пост отпостилась, а в пасхальные дни Господь и прибирает, говорю. Отец Владимир бороду погладил и говорит: ну что ж, коли так, давай к смерти готовиться. Последние дни, говорит, надо благочестиво провести. Читай сегодня Евангелие и Апостол, сколько сил есть, и семнадцатую кафизму, заупокойную, перед сном – на всякий случай. Завтра, говорит, приду тебя исповедовать и соборовать, а послезавтра причастишься, и – того!

– Что – того? – не поняла Вера.

– Того! – развела руками Валя. – В Царствие Небесное.

Женщина помолчала и добавила обиженно:

– И про доктора, как ты, не спросил, и даже о здравии помолиться не предложил. Смерть, говорит, желанный удел каждого христианина, всю жизнь мы к ней готовимся. А тебя, говорит, Господь сподобил уже радости скорой встречи, готова ты, значит!

- А ты? – Вере вдруг стало весело. – Обрадовалась?
- Какое обрадовалась! – замахала Валентина. – Не готова я еще – к скорой встрече. Поняла я: рано мне.
- И всё прошло?
- Вот ты знаешь, чудо! – убеждённо ответила Валентина. – Только батюшка за порог, во мне откуда-то силы взялись. Встала, в комнате убралась, картошки наварила, рыбки пожарила. В огороде вот даже пошвырялась. Непростой он, батюшка-то наш! – таинственно добавила она.
- И правда, чудо! – Вера восхищенно смотрела на ожившую соседку, радостно улыбаясь. – А я тебе гостинца принесла, для укрепления здоровья. – Она сунула руку в сумку и достала кагор.
- Ну ты, Верка, щедрая душа! – восхищенно сказала Валентина, – Пойдем, я тебя сазанчиком жареным угощу! И по рюмочке употребим, укрепим здоровье.
- Вера не стала возражать, и вскоре подруги сидели за столом перед горячей сковородкой с картошкой и жареной рыбой.
- А наутро, когда Вера вышла сажать редиску, Валентина уже бороновала новенькую грядку, напевая вполголоса пасхальные стихиры. Вера улыбнулась и крикнула через забор:
- Христос Воскресе!
- Воистину воскресе! – бодро раздалось оттуда.
- Валентина ожила окончательно.

## ДОБРОЕ ДЕЛО

Хорошо ходить в храм по воскресеньям. Прямо душа заряжается! Ещё и на утро понедельника заряда хватает: настроение прекрасное, даже возвышенное какое-то.

Я только что отвёл ребёнка в детский сад и сел в машину, чтобы ехать на работу, как вдруг в правом окне появился какой-то старикан. Одет не ахти, но на бомжа вроде не похож. Старик что-то беззвучно говорил и показывал знаками. Я опустил окно.

– Слушай, друг! – услышал я. – Подвези, пожалуйста, до аптеки! С женой плохо.

– Садитесь, конечно! – поспешил ответить я, подумав про себя: «Вот Господь-то сподобил! С утра пораньше доброе дело сделаю». Тут мне сразу стали вспоминаться истории, когда люди помогали загадочным бродягам, а потом оказывалось, что это в их образе являлся...

Додумать я не успел, потому что старик выразительно закричал, поглядывая на меня, – никак не мог вскарабкаться в машину. Пришлось выйти и посадить.

Я уже собирался остановиться у ближайшей аптеки, но тут он сказал, что ему надо в определенную, причём она находилась на другом конце посёлка. Я безропотно поехал туда.

Старик ходил в аптеку, но вернулся недовольный.

– Ну что, домой, к жене? – с готовностью спросил я, запихивая его в машину. У него как-то плохо сгибались ноги.

– Погоди, – отвечал старик. – Не продали мне лекарство, то есть, в смысле, нету у них его... Слушай, а поехали ещё в одно место доедем, а? К товарищу моему, у него должно быть!

Мы поехали обратно – к товарищу. Старик скрылся в подъезде типовой двухэтажки и пропал. Мне было пора на работу, и я нервничал, поглядывая на часы, а он всё не возвращался. Но не бросишь же человека в беде! Тем более что бывали такие истории, когда в образе бродяги людям являлся...

Мои мысли прервал хлопок подъездной двери. Старик возвращался и был явно недоволен. Я услужливо посадил его, и собирался было ехать обратно к садику, но он меня остановил:

– Слушай, дружище! У него не оказалось лекарства.

– Может быть, скорую вызвать? – предложил я. – Или, может быть, мы жену вашу в больницу отвезём?.. А чем она, кстати, болеет?

– Э-э-э, – неопределенно махнул рукой старик. – Слушай, давай ещё в одно место съездим, может, там получится... – И он назвал адрес на самом дальнем конце посёлка.

Я было мысленно возмутился, но тут же осадил себя. Нет уж, коли назвался груздем – не говори, что не дюжий! Ну, или как там...

Мы приехали в пункт назначения, и старик поковылял в чей-то дом на пригорке. Через несколько минут он ещё быстрее заковылял обратно, а какая-то тётка с крыльца кричала ему вслед, размахивая руками:

– ...И чтоб я тебя больше тут не видела!..

Сделав несколько неуклюжих шагов, мой спутник поскользнулся и кубарем полетел с пригорка, остановившись только у обочины. Я в ужасе бросился к нему, но с ним оказалось всё порядке – кроме того, что дед не мог самостоятельно встать. Я подхватил его подмышки и попытался поставить на ноги. Но старик был тяжёлым и еле ворочал своими деревянными конечностями. И ещё я только сейчас почувствовал, что от него сильно пахло перегаром. Мы уже почти поднялись, как вдруг я сам поскользнулся и плюхнулся в грязь рядом.

Старик сидел напротив, смотрел на меня жалостливыми глазами и проговорил:

– Слушай, давай до магазина доедем? Надо чекушку купить. Только сам сходишь, а? А то я там должен. – Он порылся в кармане фуфайки и достал оттуда несколько мятых десяток.

Моё смирение было исчерпано.

– Чекушку тебе?! – заорал я на него. – Что ж ты мне, дуралей, сразу не сказал, что тебе за вином надо?! Я тут его вожу как дурак, жену его спасаю! У тебя она есть вообще, жена-то?

– Есть. Вот ей-богу, есть! – оправдывался дед, вжав голову в плечи от моих криков.

Я в сердцах дёрнул его с земли и посадил в машину. Всю дорогу уничтожающе молчал.

У подъезда дома старика встречала чудом исцелившаяся жена. Когда она увидела супруга, вылезавшего из машины, подняла страшный крик. С видом оскорблённого в лучших чувствах человека я захлопнул за ним дверь и поехал на работу.

«М-да, похоже, это была история не из тех, – размышлял я дорогой. – Но ведь бывают же совсем другие истории! Когда помогаешь такому бродяге, а потом оказывается, что это был...»

Тут я опять размечтался, и настроение моё пришло в прежнее возвышенное состояние.

## Поэзия

### Юрий НЕМЦОВ

Родился в 1950 году в Кинешме Ивановской области. Окончил Горьковский госуниверситет (филологический факультет), преподавал в средней школе литературу и русский язык, работал журналистом.

Шеф-редактор публицистического вещания ННТВ, редактор видеожурнала «Строй!». Лауреат премий им. М. Горького и Нижнего Новгорода, гран-при телефестиваля «Вся Россия» (программа «Парад “Побед”», 1995), гран-при фестиваля «Зодчество-98» («Архотека»). Автор трилогии документальных фильмов «О человеке, земле, воде и дереве»: «Сделай себе ботник», «Черная глина», «Сила Кориолиса».

Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Нижнем Новгороде.

### В ЗАТВОРЕ

#### Писк

По ночам, за окном, в самые холода,  
Какая-то птичка свистит одну короткую фразу.  
Я слышу ее один. И птичка всегда одна.  
Я в этом уверен, хоть и не видел ее ни разу.

Когда засыпает жена и кошка идёт в кровать,  
Я включаю компьютер, чтобы проверить почту.  
Мне от них ничего не надо скрывать,  
Но я почему-то привык это делать ночью.

Может быть, потому что ночью в окно глядит  
Красный глаз Бетельгейзе, подернутый чёрным шелком.  
Может быть, потому что ночью окно летит,  
И я лечу вместе с ним, не понимая толком,

Куда и зачем летят стены и потолки,  
Стулья и сундуки, дряхлые, как сараи.  
Серая мышь в ладони правой моей руки  
Передаёт сигнал с края земли до края.

И все покрывает слой космического песка.  
Такой мировой тоски природа еще не знала.  
Никто меня не найдёт. Никто и не станет искать,  
Если я замолчу и не подам сигнала.

Птичка меня зовёт. Я что-то ей обещал?  
Кто-нибудь, наконец, скажет хотя бы «здравствуй»?  
Словно искусственный спутник, не устаю пищать,  
Брошенный в темноту времени и пространства.

\* \* \*

Но я уже не в силах быть один  
в пыли гардин, в авоське паутин,  
где табуреток больше, чем картин.  
Я завожу автомобиль, но вместо  
руля, панели, зеркала и кресла –  
шлея потертая и лошадиный круп.  
На мне ушанка, валенки, тулуп  
и рукавицы на меху, и строго –  
Асфальт кончается, смотри дорогу –  
мне голос говорит. И мне теперь  
не надобны ни стол, ни стул, ни дверь.  
Столбы, столбы... Всё за меня решает  
одна судьба, она не разрешает  
обратно повернуть или свернуть  
в деревню придорожную, и путь  
лежит передо мной не как-нибудь –  
с артиллерийской точностью прицела.  
Таким вот образом. А главное, что ценно:  
уверенность в случившемся. Не я  
на этот раз решал, и колея  
не по моей вине иль доброй воле  
ведет меня неведомо куда.  
Не знаю текста и не знаю роли,  
но знаю точно – больше никогда!  
И наверху, знакомые до боли,  
две взявшиеся за руки звезды,  
и снова лес вокруг, и снова поле.  
До Керженца всего лишь час езды.

## В затворе

Уйти в затвор, пусть даже по приказу,  
Полезно человеку, если он,  
Как страус, не уткнется в телефон,  
В эфир не влезет, где пропагандон  
Страшнее, чем уханьская зараза.

В затворе остаешься поневоле  
Наедине с собой. Так посмотри,  
Что происходит у тебя внутри,  
Не век же вскакивать на раз-два-три,  
С утра глядеться в зеркало кривое.

Сходи в сарай и самовар ведёрный  
Поставь да завари себе чаёк,

Точи строку, а лучше – между строк,  
Пока весна не выйдет за порог  
Или чума затвор не передернет.

### Sorex araneus

Значит, мучайся и терпи,  
воин короткошёрстный,  
если ветер в груди летит,  
к земле пригибая сосны,  
если форма и мера весов  
у стеклянных часов такая,  
что колючий, как соль, песок  
прямо в горло перетекает,  
если солнце между ключиц,  
раскаленная сковородка,  
если сердце в него стучит,  
вырастая до подбородка,  
если ты у себя внутри –  
впитавшая море губка,  
а снаружи-то, посмотри!  
Обыкновенная бурозубка.

### Рифмы, больше ничего

Над колодцем звезда смеется, всегда одна,  
Провалилась в окно колодца луна до дна,  
Проплывают в объятьях черной лесной реки  
Землеройки, байдарки, пчелы и ботники.  
Говорят полевые травы: купальский бог  
На купаву нашел управу, на нас не смог.  
Говорят дождевые черви: в раю зари  
Собирает небесный пчельник свои рои.

### Ирисы

Вдруг полюбились темно-лиловые ирисы,  
Витиеватость манишек, подмышек и вырезов.  
Не понимаю: за что их зовут боролатыми?  
Их воровали в сочинском парке когда-то мы.  
Нас охватило желание беспричинное.  
Крепко сжимая оружие перочинное,  
Ты совершала в зарослях благоухающих  
Под недовольными взглядами отдыхающих,  
Пренебрегая законами конспирации,  
Нечто подобное экспроприации,  
В общем, решительные операции.  
Не помогал я тебе по причине весьма уважительной:  
Я же на стреме стоял, я же был нерешительный.

Мы привезли в самолете, в бауле пузатом не  
Сами растения – корни их узловатые.

Я уж не вспомню сейчас, коротко, долго ли  
 Мы их сажали в мягкую глину над Волгою.  
 И расплодились они, хоть никто не ухаживал,  
 Так, что замучился я их делить, пересаживать,  
 Стали расти они кучами несуразными.  
 Стали казаться мне скучными, однообразными.

Время течет не спеша от Валдая до Каспия,  
 Юность приходит с мечтами, старость с лекарствами.  
 Долго тянулась эта весна карантинная.  
 Лето настало, и вот я люблю картину  
 Ирисов ярко-лиловых и бледно-сиреневых  
 В листьях, похожих на острые ножики в коже шагреневой.

## Погружение

Они опустились на дно Марианской впадины,  
 И кроме какой-то безглазой гадины  
 И голого гада с раздувшейся головой,  
 Не обнаружили никого –  
 Ни чёрной собаки с белыми пятнами,  
 Готовой весь вечер гулять с ребятами  
 Вдоль волжского берега и по горе,  
 Где лай раздаётся в каждом дворе,  
 Ни серенькой кошечки, юной распутницы,  
 Обросшей котами с первой распутицей,  
 Ни чёрного тополя с грубой корой,  
 Вросшего намертво под горой,  
 Чтобы не тронули адские оползни  
 Дом на краю Марианской пропасти.

## В самом начале зимы

.....дело стоит, а время идет,  
 Вот уж и снег на дворе, на реке лед,  
 Солнце уходит за поворот сразу же после обеда,  
 Маленькие человечки залезают в большой звездолет,  
 Вечерами сидят у камина, зевают, тремя персты прикрывая квадратный рот,  
 Рассуждая о том, что в среду, самое позднее – к вечеру четверга,  
 Они покидают унылые берега, улетают домой, и вот  
 Ветер гудит за прозрачной стеной непрерывно,  
 Новая кочерга, наскоро сделанная из титана,  
 Замирает в трехпалой руке капитана,  
 Смертельно уставшего от водки, ветра и шпрот.  
 Капитан вспоминает, что двигатель барахлил еще в начале лета,  
 Когда, облетая планету в поисках станции техобслуживания  
 И размышляя о том, что бы такое сготовить на ужин,  
 Они разглядели издалека место, где раздваивается река,  
 Образуя остров, за ним другой, в котором залив, изгибаясь дугой,  
 Стоял без ветра и без течения, обещая рыбалку и прочие развлечения.  
 По утрам их будил рожок пастуха,  
 По ночам луна дурака валяла.

Первое время их все забавляло,  
Как героя романа в стихах.  
Девушка какая-то к ним ходила,  
Стирала, готовила на плите.  
Капитан влюбился в нее, чудило,  
Провожал ее в темноте.  
Она приносила с работы шпроты  
И говорила ему – ну что ты?  
Мне нравится даже твой рот смешной,  
Глаза треугольные, как у зайцев,  
Отсутствие раковины ушной.  
Подумаешь, не хватает пальцев!  
Глядишь, еще отрастут вешной.  
Она кормила его, поила  
И шепелявила очень мило.

Время, однако, шло, запас провизии уменьшался,  
Они понимали, как мало шансов заклеить трещину вдоль борта,  
Полученную при посадке, не говоря о том, что  
У них перестала работать почта, и что происходит дома, точно  
Никто не скажет, и ни черта не ясно, что предвещает та,  
Возникшая месяц назад и прочно экран перечеркивающая черта.  
Однажды механик сходил на танцы  
В сельский клуб и вернувшись, впал  
В состояние как бы транса,  
Тщетно пытаясь постичь пространство,  
Сквозь которое пролетал,  
То есть представить его размеры  
С точки зрения друга Валеры,  
С которым познакомился там,  
Где живот прижимается к животам  
И пластинка заезжена, как дорога  
От сельсовета до леспромторга.

Вот уж и первый снег упал на поля... Но мы повторяемся. Voila,  
Трезвый как стеклышко друг Валера настойчиво к ним постучал с утра,  
И механик готов был кричать ура, поскольку знакомец его случайный  
Оказался слесарем, необычайно толковым, ни дать ни взять,  
Местный Кулибин, а также зять председателя сельсовета, и это  
Обстоятельство в них вселяло надежду на качественный ремонт.  
Дело в том, что как раз этим летом  
Рядом, в каких-то восьми километрах,  
Пустили новый автозавод.  
У свекра Валеры туда был ход,  
Там можно было достать запчасти –  
Согласитесь, ведь это счастье  
По тем временам. Конечно, нам  
Сейчас уже кажется чистым бредом  
Рыбный суп и кисель по средам,  
Или правильней, по средам.  
Короткая память у человека.  
Смотрите, всего лишь прошло полвека,  
А кто сейчас помнит про тот визит,  
Попытку старта в снегу, в грязи,

Как все матерились, как было разбито  
Чужое летающее корыто?  
И что обидней всего: уже  
Никто не поверит в такой сюжет,  
Ведь не осталось ни оболочки,  
Ни проводочка – когда, куда?  
Ни фотографии, даже строчки  
В газете – все сгнуло без следа!  
Да, к сожалению, не всегда  
Нам известны поводы и причины,  
По которым женщины и мужчины  
Принимают на грудь, да,  
Воспитание и среда,  
Но извините меня, господа,  
Ведь это случилось не где-нибудь,  
А в самом центре Восточной равнины!  
Ведь кто-то же пересек Млечный Путь,  
Чтобы увидеть издалека, как раздваивается река,  
Образуя остров, за ним другой, в котором залив, изгибаясь дугой,  
Стоит без ветра и без течения, хранит особое предназначенье,  
Предназначение или как...  
И я, например, рассуждаю так:  
Когда бы не заводской брак,  
Не эта релюшка, могла иначе  
История повернуться! Значит,  
Пришельцы нам подавали знак?  
Но, к сожалению, слишком поздно мы  
Понимаем, что даже опознанный,  
Но не осознанный нами объект  
Так и сгинул где-то, бесхозно  
Брошенный, так и пропал навек,  
Превратился в болото, в снег.  
И современные наши умы  
С их декларациями и речами  
На деле невежественны чрезвычайно,  
Их боги убоги, безноги, хромы.

Но все-таки правильно было замечено:  
Окраины всех галактик вечером  
Печальны, как брошенные стога,  
Особенно волжские берега  
В самом начале зимы.

## Сонет

*И. Палашову*

Лукавый критик мой, насмешник толстопузый!  
Ты прав, куда ни плюнь – невежество в чести.  
Неправильно растут и дыни, и арбузы.  
И розы не умеют правильно цвести.  
Картошка, как всегда, гнилая в середине!  
Кривые огурцы! Капустные листья,

Изъеденные тлей, увязшие в рутине,  
Втирают нам, как образ красоты.  
Все дураки вокруг, подобно Пармениду, –  
Безмозглый баклажан, дремучий помидор!  
Куда ни кинешь взор – всё, даже пирамиды,  
Неправильно стоит. Особенно забор.  
И греки бездари! И даже Пифагор  
В нестиранных штанах, выдавших виды.

### Что происходит?

Уже никто не разберет,  
Где верх, где низ, где право, лево –  
Ни либерал, ни патриот,  
Ни президент, ни королева,  
Ни Байден, ни Песков, ни Дудь,  
Ни Киселев, ни Пивоваров,  
Хватает вроде бы товаров,  
Но что-то придавило грудь,  
И пелена перед глазами –  
Ни лечь, ни охнуть, ни вздохнуть.  
Да что же происходит с нами!?  
В какую сторону хвостами  
Поставлен должен быть народ,  
Когда он водит хоровод?  
Не поменяться ли местами,  
Не встать ли задом наперед,  
Уйти в леса и партизанить,  
Тогда, быть может, престанет  
И Эрдоган озоровать,  
И вор придворный воровать,  
И вирус, наконец, устанет?  
Так что же происходит с нами?  
Уже сам черт не разберет.

### Полезные советы

от пыли нужен респиратор  
от лишая бинты и вата  
от лучевой болезни йод  
от язвы частое питание  
от одиночества дыханье  
рот в рот

## Ольга ПОЛЯНИНА

Родилась в 1982 году в Уфе. Окончила исторический факультет Башкирского государственного университета. Кандидат исторических наук, преподаватель.

Публиковалась в журналах «Бельские просторы», «Сибирские огни», «Урал», газете «Истоки». Лонглистер конкурса им. Н.С. Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2016). Лауреат журнала «Бельские просторы» в номинации «Поэзия» (2016).

Живет в Уфе.

## ПТИЦЫ ВЕРНУТСЯ, КОГДА МЫ УЙДЁМ...

\* \* \*

Дано: вода, стакан, наполовину.  
 Взболтать, нести, и не отцу, а сыну,  
 Вот, растворилось, вроде, хорошо,  
 Отцу – потом, а сын уже большой,  
 Но сильно младше, чем температура.  
 Отец – наоборот, и бегаю как дура.  
 Убрать, закутать, просто что-то делать...  
 Пока пойму, что мне под тридцать девять  
 В любой системе запоздавших мер,  
 Что это солнце – к этой же зиме.  
 Что я не буду больше, не была,  
 Я только здесь. Я воду пролила.

\* \* \*

Плакали (то есть орали, но пишется «плакали») дети  
 Или не дети, здесь тоже хватает народу,  
 Не умела экономить две вещи на свете:  
 Бумагу и пресную воду.

Вот и не притча – привет тебе, психоанализ –  
 Просто мне врезало, врезалось, как до последних сил  
 Мальчик в палате, которому нужен был гемодиализ,  
 Требовал пить, а потом уже только просил.

Да, всесоюзное детство, зелёнка, коленки.  
 Нет, не исконная сцена и вообще не балет.  
 Просто запало, совпало, что в ссылке Шевченко  
 Не давали бумаги, а мне не давали конфет.

Так я и лью – через край, не печатаю на оборотках,  
Вечно висит мой кувшин, наклонённый, как ухо, туда,  
Где эта жизнь ни пустой не была, ни короткой –  
Белый бумажный стаканчик, в котором вода.

\* \* \*

Любого спроси – объяснит любой:  
Баловство, никакая тут не любовь.  
Так не любят: от силы полгода-год,  
Никаких обещаний, уйдёт – уйдёт.

Всех учили – спокойней ли, горячей –  
Что любовь обязательно больше, чем  
Жизнь, а жизнь – обязательно бой.  
Любому понятно – спроси у любой.

Только как же лечить, например, старика,  
Только как покупать себе хомяка,  
Если жизнь будет больше любви? Спрошу  
Очень тихо, больные не любят шум.

\* \* \*

Когда сын вырос,  
Стало слышно, как громко топает кот.  
Как пол скрипит  
Под бесшумной вельветовой лапой.

Когда кот умер,  
В аквариуме плясала рыба.  
Барабанили камушки,  
Пятилитровая волна шуршала на весь дом.

Стоило унести аквариум –  
Заболели цветы.  
Во всяком случае  
Лепестки теперь падают с тяжёлым бумажным шумом,  
И я оборачиваюсь.

Что я услышу,  
Когда облетят все цветы?

Можно взять ещё одного ребёнка или котёнка.  
Хотя бы на время,  
Для последней строфы.  
Получится круг, спираль, вечное возвращение.

Можно оставить прочерк.  
Модный интерактивный финал.  
Не забыть включить комментарии.

Можно перебирать,  
Играя на повышение или на понижение:

Часы, стук крови, рассыхающиеся обои.  
Опять нет.

На самом деле  
Ни одна радиоуправляемая тарихтелка не сломалась.  
И кот ходит по балкону.  
Надо только прислушаться.

\* \* \*

Как будто мелом обвели,  
Но унесут потом.  
Всё, приземлился, а земли  
Не чувствую хребтом.

Есть время встать и походить,  
Когда ещё придут.  
Но будут снова обводить  
И снова обведут.

Как стыд, везде набьётся мел,  
А тень не совпадёт.  
Всё. Приземлился, как сумел,  
На первый раз сойдёт.

\* \* \*

Птицы вернутся, когда мы уйдём,  
Трава распрямится  
Так неожиданно быстро.  
Посмотришь в проём,  
И вот уже птица,

Ветер, и клетка пустая  
Качается в такт марлезону.  
Вот уже след зарастает,  
Ведь мы же не ходим – уходим,  
Нам можно теперь по газону.

Нам уже столько открыли.  
Загадок, консервов, больниц.  
Мы ничего не откроем. Пойдём.  
За спиной будут крылья  
Вернувшихся птиц.

## Виктор КОВРИЖНЫХ

Родился в 1952 году в с. Старобачаты Кемеровской области. Воспитывался в большой крестьянской семье, где росли еще 4 сына. После окончания средней школы трудился трактористом и электросварщиком. Служил в армии, работал на угольных предприятиях Кузбасса шофером, машинистом железнодорожного крана, составителем поездов. Работал корреспондентом беловской городской газеты, в газете «Открытые горизонты». Последние 15 лет работал в МЧС начальником караула при пожарно-спасательной части.

Автор восьми книг. Стихи и проза публиковались в центральных и региональных изданиях, в коллективных сборниках, альманахах, антологиях и хрестоматиях. Трилогия «Язычник» переведена на болгарский язык и опубликована в Софии в журнале «Литературный свет».

Лауреат литературной премии «Образ», «Энергия творчества», премии имени В.Д. Фёдорова, журналов «Огни Кузбасса» и «Сибирские огни».

Член Союза писателей России. В настоящее время живет на малой родине – в Старобачатах.

## ТАМ, В НАРОДНОЙ ГЛУШИ...

### О сокровенном, одиноком...

О сокровенном, одиноком  
вздыхнут уставшие века.  
И на лампы тихих окон  
летят вечерние снега.  
Как будто время неизвестных  
кружится роем во дворах,  
и просит имени и места  
в расчисленных календарях.  
И мнится мне за снежным танцем  
иной гармонии устав,  
что не вмещается в пространства  
обычных правил и октав.  
И следом прихоть иль примета,  
или стечение причин? –  
Но снег летит сияньем света  
из невозможных палестин.  
И всхлипнут ветхие ворота,  
прольётся тень минут на стол...  
И будто в окна глянул кто-то  
и в снег не узнанным ушёл...

## Там, в народной глуши...

Подпоясаны дни то вожжой, то тесьмой.  
Живы хлебом и небом разлук.  
Деревянными буквами пишут письмо  
В министерство почётных наук:  
Как построить за баней Егора сельмаг,  
Институт благородных колёс,  
Чтоб прислали на почту казённых бумаг,  
Чтоб земную помазали ось.  
Дескать, время скрипит, будто ржавый засов,  
Отстаёт от метро и ракет, –  
Длится день двадцать семь с половиной часов,  
Ночь? – единого мнения нет.  
Непонятного свойства часы и труды.  
То ль ночуют кудесники тут? –  
На неделе семь пятниц, четыре среды,  
Дни другие – в сарае живут.  
Из дремучих подворий, бурьянов глухих  
Бесполезный айфон голосит.  
И колхозное знамя побед трудовых  
Над избой комбайнёра висит...

Там за Лысой горой – царство вечных болот,  
Где по воле небесных огней  
Истребительских войск утонул самолёт  
И поэт евразийских кровей.

А за взгорком – простор! Свет как счастье высок,  
В синеве соловейки полёт.  
Берендеевым солнцем пронизан лесок,  
И душа пасторали поёт!  
Выйдет в поле старик, ветхой жизни жилец  
И взглянется в сияющий зной.  
Так глядит далеко, словно видит дворец,  
Где Господь проживает с семьёй.  
В остальном, как и всюду: изба, огород  
И следы заплутавших колёс.  
На кривое крыльцо выйдет в валенках кот,  
Спросит вежливо: – Рыбу принёс?  
Голосистый петух известит в лопухах  
Об итогах хозяйских забот.  
Электронное время придёт в сапогах,  
Постоит... И обратно уйдёт.

Там, в народной глуши бродит хмелем трава,  
Облака серебрятся вдали.  
Там для песни полезной сыскали слова,  
только музыку к ним не нашли.  
Там закатных коней стерегут до сих пор  
На зелёном в ромашках лугу...  
Я б срубил там избу или даже собор,  
Да топор подобрать не могу...

\* \* \*

Овраги за оградой и тальник.  
Затем бугор за школою и – воля!..  
Рассыпан петушиный звонкий крик  
цветами перепёлкиного поля!  
Потом – холмом возвышенный лесок,  
наполненный мечтами и полётом.  
Там дудочки зелёной голосок  
томится за берёзовым заплотом.  
Затем ручей, впадающий в Иню,  
за ними – лес застыл раскатом грома.  
– А дальше?  
А дальше чёрт пугает ребятню,  
чтоб далеко не бегала от дома.

\* \* \*

Я со многими в жизни простился.  
Всё родное осталось в былом.  
Но опять этой ночью приснился  
Над рекою родительский дом.  
И хоть близких давно уже нету,  
Сон обратно приносит к родным:  
Дом пронизан пронзительным светом,  
Словно ангелы кружат над ним!  
Мать с отцом у калитки садовой,  
Братья белят известью забор.  
И все молоды, живы-здоровы,  
О житейском ведут разговор.  
Белый голубь воркует на крыше.  
Я кричу, я машу им рукой...  
Но не видят меня и не слышат,  
Словно я невидимка какой.  
Лишь обломок далёкого грома  
Проворчит незлобиво в ответ.  
Свет погаснет и – нет уже дома,  
И родных тоже нет...  
Пробуждаюсь с душою ненастной.  
Хлещет в комнату свет из окна.  
И такой день пронзительно ясный,  
Словно он продолжение сна.  
Льётся зной из распахнутых весей,  
Лишь подсолнух, как скорбный пиит,  
Через изгородь голову свесил  
И задумчиво в землю глядит...

## Ненастье

Одичаешь в своём захолустье! –  
Вязнет в мороси будничный гул,  
пёс у будки озябший и грустный,  
словно в память мою заглянул.

Дождь со снегом, промозгло и грязно,  
 свет небесный зачах и угас.  
 То ль Господь отмечал чей-то праздник  
 и похмельем страдает сейчас?  
 «Нет погоды плохой...» – шли бы к власти  
 с аксиомой дежурной своей!  
 Слякоть, мерзость, тоска и ненастье,  
 и мерещится чѐрт у дверей.  
 Эй, чертило в сиреневой шкуре,  
 заходи, коль припѐрся в мой дом.  
 Посидим возле печки, покурим,  
 посудачим о всяком таком.  
 Никого. Видно, кончились черти  
 или к Трампу ушли на постой.  
 За окном, будто сумерки смерти,  
 сеет морось на серый покой.  
 Не с кем выпить! – Тоска прописная.  
 Пѐс молчит будто столб у ворот.  
 И к тому же язык мой не знает  
 и не курит, и водку не пьѐт.  
 Натаскаю воды из колонки,  
 подготовлю подборку в печать.  
 Буду гнать втихаря самогонку  
 и собачий язык изучать.

## Аве Мария

В этом доме когда-то я в детстве бывал.  
 Там картина над спинкой дивана,  
 в тѐмных плюшевых шторах изысканный зал,  
 в зале – книги и фортепиано.  
 Там сирень ароматом дышала в окно.  
 Был тот мир мне совсем незнакомым.  
 Мне казалось, там люди пришли из кино  
 вместе с садом, сиренью и домом.  
 Там вечерней порой пили чай при свечах,  
 под нерусские песни с пластинки.  
 Говорили о Шуберте и флюгерах,  
 о строительстве и Метерлинке.  
 Там красивая женщина, как её звать –  
 я не помню... Лишь помню, как мило  
 улыбаясь, давала мне книги читать  
 и со мною на «вы» говорила.  
 И на фортепиано играла она!..  
 Колыхались на клавишах руки.  
 Рассыпалась на тысячи звѐзд тишина,  
 звѐздам плакались нежные звуки...  
 Мне казалось я сплю и летаю во сне,  
 сердце сладкой сводило истомой...  
 «Это “Аве Мария”», – ответили мне  
 благородные жители дома.  
 В этот дом я когда-то, как в храм приходил,  
 за дверьми оставляя ботинки.

И я женщину эту наивно любил  
вместе с Шубертом и Метерлинком.  
Эти звуки и свечи, мерцанье огней  
в моём сердце так странно плескалось.  
И что было высокого в жизни моей  
с этой музыкой соприкасалось.  
Они вскоре уехали строить мосты  
на Восток. В дом вселились другие.  
И я долго пытался в них видеть черты  
от неведомой Аве Марии...

\* \* \*

Тихий ветер вечернего поля,  
на душе так светло и легко –  
братья: Гена, Серёжа и Коля  
мимо дома идут моего.  
Вот прошли палисадники улиц,  
вот проходят речной пережат.  
Вот на холм поднялись. Оглянулись,  
помахали рукой, улыбнулись  
и ушли в невозвратный закат...  
Есть, наверное, память иная,  
что живёт над селеньем любим.  
И чего моё сердце не знает,  
языком объясняет своим:  
ветром с поля и шелестом листьев,  
и виденьем за ветхой избой  
с голосами далёких и близких,  
что когда-то здесь жили с тобой.  
Всхлипнет ветер, как птица в тумане,  
и возникнет, что было, в былом:  
вяжет мама носки на диване,  
чинит лампу отец за столом...

## Маргарита ШУВАЛОВА

Родилась в 1969 году в городе Кстове Горьковской области. Окончила Горьковский госуниверситет имени Н. И. Лобачевского, Российский новый университет. Работала машинисткой, станочницей на деревообрабатывающем предприятии, оператором ЭВМ, швеей-мотористкой, советником городской муниципальной службы, специалистом департамента соцзащиты населения, журналистом.

Автор поэтических сборников «Бабочка», «Точка сближения», многочисленных публикация в периодике. Поэт, член Союза писателей России. Живет в Кстове.

## ВЫСОКАЯ ЛЮБОВЬ ОБЛЕЧЕНА В ТЕРПЕНЬЕ

### Поэтесса

Тебя не беспокоя, не мороча,  
 прощая всё,  
 иду в дремучий лес  
 без компаса,  
 по дебрям лунной ночи,  
 на «шабаш»  
 несложившихся невест.  
 На переключку  
 дерзких амазонок,  
 что смело обнажают наготу.  
 Я там среди них  
 совсем ещё ребёнок,  
 схватить пытаюсь опыт на лету:  
 Держаться прямо,  
 быть во всём усердной,  
 от мимолётной не пьянеть хвалы,  
 быть ястребом,  
 волчицей,  
 быстрой серной  
 и острым наконечником стрелы;  
 ранимой в споре,  
 но упорной в битве,  
 прочувствовав всю силу правоты.  
 К ней обращаясь  
 в мыслях и в молитве,  
 не пропасти боясь, а высоты.  
 Вступая в хор  
 рыдающих Офелий,  
 учусь из драм их извлекать урок:

слезам давно  
никто уже не верит,  
и у любви бессрочной есть свой срок...  
Ах, если б знал ты,  
чем я здесь рискую,  
какие тайны открывает взгляд!  
Но ты не хочешь  
знать меня такую,  
А мне уже  
не повернуть назад.

\* \* \*

Сквозь стужи, бури и метели  
Стелил мне путь,  
Сурово страшную потерей  
Ударил в грудь,  
Терзал тревогами и болью  
Жестокий год.  
Но с верой в сердце и с любовью  
Иду вперед.  
Насквозь простужена ветрами  
Ненастных дней,  
Но память светлая о маме  
Невзгод сильней,  
Сильнее огненного рыка,  
Стальных когтей.  
Отчаянью не стать владыкой  
Души моей!  
Вот-вот скончается постылый  
«Кровавый» год.  
И новый день с улыбкой милой  
Покой вернёт.  
Пушай ушедшим нет возврата  
В предел земной,  
Останусь, знаю, под приглядом  
Души родной,  
Что, раздвигая туч хламыды,  
Лучи прольёт  
На сны, на раны, на обиды,  
На новый год.

\* \* \*

*Поэзия, виждь, как без стона, без звука  
Уходят последней любви трубадуры...*

Андрей Шацков

Всё тише и тише шаги Командора  
на древней земле, хладным веком объятай.  
Всё дальше от мест, очарованных взором,  
пронзивших стихами и болью когда-то.

Уставшее сердце всё реже и реже  
пытается вспомнить о прежней отваге,  
как сильное Слово завистников режет,  
как ветер полощет победные стяги...

Запуталось время в бесхитростной прозе.  
Один на один с беспросветной печалью.  
И добрая сказка растаяла в бозе,  
а карее небо над волжскою далью  
затянута мглюю в предчувствии бури...  
Походная сумка стоит у порога...  
Чем дальше от тех, с кем пути разминули,  
тем лестницей в небо короче дорога...

### Кто мы?

Кто ты в этом мире? Кто я в мире этом?  
Песчинки Вселенной, энергии сгустки,  
Куда-то две быстролетающих кометы,  
В просторах бескрайнего моря моллюски,  
Талантливых предков подвижные тени,  
Живые поленья в огромном камине.  
А может, мы просто два кратких мгновенья,  
Для вечности сросшиеся воедино...

\* \* \*

Что остаётся нам – великое терпенье  
До гробовой доски, без свадебных колец  
Мы делим пополам печаль и вдохновенье,  
Зажатые в тиски тоскующих сердец.

Их диалог непрост. Не единична драма –  
На расстоянье жить, о расстояньях петь...  
Приходим на погост исповедальный, к мамам,  
Не веря, что давно нас разлучила смерть.

Благословенных слов и милости прощенья  
Мы просим у небес и у родных могил...  
Высокая любовь облечена в терпенье,  
Но даже и она не выше наших сил.

### Потерянный

Повернулась в сторону  
И сошла с пути,  
Бродят по которому  
Красные дожди.  
Лунный шар и солнечный  
День и ночь над ним,  
Многозвучны полночи,  
Многолики дни.

Кажется, исхоженным,  
Только странность в том –  
Повстречать прохожего  
Можно днём с огнём.  
Только спины странников  
Словно миражи.  
К божьему избраннику  
Путь длиною в жизнь...  
Тут бы радость праздновать  
От таких хлопот,  
И вписаться сразу же  
В новый поворот.  
Да, другой, не по сердцу,  
В нём иная суть.  
Муки дней, бессонницу  
Грезится вернуть.  
Хоть и не отважная,  
Но его пройти...  
Что-то очень важное  
Есть на том пути.

## Ольга ЯЦУНОВА

Родилась в 1937 году в Карелии, на несуществующей ныне станции Массельская. Окончила Горьковский инженерно-строительный институт в 1961 году, добровольно распределилась на Крайний Север.

Работала инженером в геолого-изыскательской партии на Чукотке, в Якутии, Магаданской области, руководителем группы в проектных институтах. Сотрудничала в качестве корреспондента с редакциями газет «Известия», «Советская Россия», «Горьковская правда», писала сценарии музыкально-литературных радиопередач в Магадане и Нижнем Новгороде.

Автор книги «Не такая, как все» о воспитании и обучении глухих детей. В настоящее время живет в селе Тимирязево Ивановской области.

## ОДНУ ЛИШЬ ПЕСНЮ ВМЕСТЕ СПЕТЬ...

### У геологов

Когда на много километров  
Блестит безлюдным снегом путь,  
Меня несет попутным ветром  
К палатке встречной – отдохнуть.

И зря ее коварно прячут  
Сугробов пышные стога:  
Над лиственницами маячит  
Антенны хрупкая нога,

А параллельно тонкой струйкой  
За нею тянется дымок:  
Сейчас, наверно, у «буржуйки»  
Ребята дуют чифирок!

Через минуту мы знакомы.  
– Коллега?  
– Точно!  
– Лешка, дров!  
Я чувствую себя как дома  
Среди веселых голосов.

Пока над чаем обжигаясь  
И над буржуйкой руки тру,  
Фидель, чему-то улыбаясь,  
На «ля» настраивал струну.

Здесь по-ребячьи бестолково  
Все вещи переплетены:  
Брижит Бардо и Терешкова  
Глядят с фланелевой стены.

Здесь, чтоб любить или ненавидеть,  
Не надо пуда соли есть:  
Одну лишь песню вместе спеть,  
Один огонь в глазах увидеть  
И можно сердцем все прочесть!

1964

### «Серый, как тундра...»

Я не против сравнений смелых,  
Но к земле, что любить привык,  
Разве можно приклеить серый,  
Наспех выдуманный ярлык?

К той земле, где зимой, хоть тресни,  
Птицы гнезд себе не совьют,  
Где ребята такие песни  
У костра впятером поют,

Что забудешь про все печали,  
Не заплачешь в любой беде,  
Где не выгонишь солнце ночами  
Из сиреневых сопок. Где,

Грохоча в перекатах быстрых,  
Прорывается Рысь-река,  
Где не всякий еще транзистор  
Ловит голос материка,

Где махровый ковер непрочен  
И отчаянно трет сапог,  
Выжимая из спелых кочек  
Желтовато-коричневый сок.

Комариной молитвой нудной  
Ночь беззвездная уплыла.  
Тундра, тундра, была ты трудной,  
Только серою – не была!

### Ночной аэропорт

Ко всем чертям летели сроки кубарем:  
Рвалась геологическая рать  
К работе, но южак велел ей у моря  
Погоды ждать.

Апальхино\* полыхало звездами,  
Пронзала высь зеленая спираль,  
И в проводах гирляндами примерзлыми  
Звенела сталь.

Звенели сталью жилы напряженные,  
Мучительно хотелось улететь...  
Но не смогли глаза замороженные  
Зеленого сияния стереть.

1963

## Посадка

*Лётчику В. Крамову*

Семь дней не появлялся самолёт.  
В тайге пурга затравленно бесилась,  
Под шинами трещал анюйский лед,  
И ни одна машина не пробилась.

Кончалась горсть последнего пшена.  
Еще в поселке не решались верить,  
Что наглухо закрыла тишина  
Распахнутые ураганом двери.

Всю ночь бульдозер чистил полосу,  
Назойливо надоедая спящим.  
А рано утром воздух полоснул  
Рев «Аннушки», на выручку летящей.

Десяток лиц, закинутых тревожно,  
Замороженно чертит круг... другой...  
Единый вздох: посадка невозможна!  
Единый выдох: дует «боковой»...

Они, конечно, летчика поймут:  
В его руках сохранность самолета,  
Ну, повздыхают молча и уйдут  
С теодолитом в сопки, на работу.

Никто из них сегодня не поет  
Про глобус и про тесную палатку,  
Про то, что смелость города берет.  
Но... самолет

выходит

на посадку?!

К земле прижавшись, ветер поджидал,  
Как снайпер, приближения мишени.

\* Апальхино – аэропорт Певека.

Его сторожевой – девятый вал  
На фюзеляж готовил покушеньё.

И вот машина брошена уже  
В прямоугольный лист диагональю,  
Визжат уж лыжи в жутком вираже,  
К ногам сугробов отшвырнув аварию.

Умчалось эхо за Аян-Урях...  
Вот показалась меховая роба,  
Пилот согнулся в низеньких дверях,  
Как вкопанный. Застыл перед сугробом...

Когда он выпрямился во весь рост,  
Ни у кого не доставало силы  
Задать один, всех мучивший, вопрос:  
«А если бы площадки  
не хватило?»

1964

## Антонина ТКАЧЕВА

Родилась в селе Вазьян Вадского района Нижегородской области. Окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, работала корреспондентом и заместителем редактора районной газеты «Восход» Вадского района, в партийных и государственных органах. Печаталась в газетах, в литературных сборниках.

Живет в Нижнем Новгороде.

## ЧИСТЫЙ ЯД

Вы когда-нибудь чувствовали холод, замерзали? По-настоящему, как говорится, до костей? Мороз градусов за тридцать, а ты в дороге. Лошадка бежит, ее легкий парок от дыхания сразу превращается в снежок: в шикарном инее нос, ресницы, грива, в ты в санках сидишь, словно на блюде... На тебе вроде и шапка, и шуба, и штаны стеганые, и рукавицы меховые, но все это как легкая простынка на тебе.словно ты голый! Мерзнут лицо, ноги, потом плечи охлаждаются так, что руки не поднимаются. Губы свело, зубы начали выбивать дробь, всего скрючило, тело перестало тебя слушаться... Потом – резкая невыносимая боль во сем теле. И вдруг, в какой-то момент, ты перестаешь чувствовать холод и боль, тебе все равно, тебе даже тепло, потом жар разливается по всему телу, все горит, потом все, конец... Лошадка всегда приходит живой до своей деревни, а ты – нет. Прижмется лошадка к какому-нибудь двору, а на соломке в санках или розвальнях синий ооченевший труп. А если ты идешь пешком, да пурга, да заплутал, да присел отдохнуть, задремал, не дотянешь до утра. Потом ищут тебя несколько дней по всей округе. Часто не находят или находят весной, когда труп вытает из-под снега. Новость о том, что кто-то замерз, была совсем обычной новостью в деревне в мое время. Гибло людей на необъятных русских просторах больше даже, чем сейчас в ДТП.

Да где вам, нынешним гражданам, холод почувствовать! Поезда, автомобили... Кругом сугробы, мороз приличный, а ты сидишь за рулем новенькой иномарки в рубашке с короткими рукавами и ухом не ведешь. И дороги не задувает! Автобусы тоже теплые ходят, даже между маленькими селами... Тридцать минут – и ты дома! А в конце тридцатых – начале сороковых годов, уточню, двадцатого века, когда мне

было всего восемнадцать, зимние дороги были ах какими длинными и холодными! На дровнях, на соломке! Сидишь и молишь бога дожить до конца дороги. Бежит лошадка вся инеем покрытая, пар из ноздрей! Ан и ты спешиваешься и бежишь за санями, держась за вожжи. А кругом просторы необъятные, белейшие, снег скрипит, мороз потрескивает, кто кого! Задохнешься, вспотеешь, а потом еще хуже! Мокрая рубашка леденеет прямо на теле, не приведи бог! И пешком ходили. Помню, дед мой рассказывал, что мужик из нашей деревни по прозвищу Лунок пришел из Астрахани в нашу нижегородскую глубинку пешком, да еще пуд соли принес на горбу. Силен был мужик, по летам бурлаком подрабатывал. А зимой замерз. Пошел вечером, в метель, встречать жену из города. И пути-то до станции всего было верст восемь. Вьюга в эту ночь была беспросветная, вешки в поле замело. Ходил, ходил он полями, один господь знает, где и как. Утром жена пришла домой, нет Лунка! Несколько дней всем селом искали! Да где там найти, сугробы под два метра, по дороге идешь, ноги с трудом вытаскиваешь! А если прямо по полю, так по грудь проваливаешься! Весной вытаял Лунок в глубоченном овраге, совсем в другой стороне. Обнял кусты руками и стоит; боялся, видно, сесть и уснуть. Так стоя и замерз.

В мое время любая зимняя поездка была небезопасным и редким событием. Передвигались только по острой необходимости. Крестьянин жил своим хозяйством, и острой нужды мотаться по городам и весям не было. Но все-таки деньги тоже нужны были, а как от хозяйства доход получить? На рынок, в город надо ехать. Вот одну такую поездку и помню я особенно. Тогда мой отец и его двоюродный брат Иван задумали в город с бараниной съездить. А это больше ста верст. Из них сорок километров, до большака, по которому один раз в день ходила машина грузотакси, надо было на лошадке, на санях, проехать. Другого сообщения тогда не было. Да и посадит ли грузотакси, не факт, может, загружена до предела...

Тогда, слава богу, посадили. Шофер потискал в забитый до отказа кузов на солому еще отца и Ивана, закинул туда же и чистые полотняные мешки с мясом. Договорились, что через два дня я их встречу, здесь же, в Криуше. В заезжую избу я заворачивать не стал, решил сэкономить время. В этот день мороз был несильным и обратная дорога мне мало чем запомнилась. Обычный день обычного крестьянина. Скажу только, что это было начало зимы, снегу было немного. Дорога была накатанной. Лошадка то бежала, то едва плелась. За ней можно было не следить: с дороги не свернет, дорога-то всего одна. Я закрутил вожжи на своей руке и лежал на соломке, укрыв ноги старым худым тулупом. Новый мне мать не дала, еще не холода! «Посеешь еще где-нибудь, или украдут!» Я смотрел в белесое пасмурное небо и мечтал. О чем мечтают восемнадцатилетние парни? В мое время мечтали о женитьбе. Я давно присмотрел себе девушку и ждал, когда отец накопит денег, чтобы справить свадьбу. «Без свадьбы – ни-ни, ты чай не безродный!» Как будто на свадьбу миллион надо! Мать давно нагнала самогона на угощение, а уж заколоть барана, наварить картошки да брюквы, опять же капусты наквасили... Но отец хотел прикупить мне домик в деревне у Мохового болота, отделить меня сразу. С одной стороны, я был рад уйти от родителей, в доме которого было еще девять ртов, но уж больно долго копил он на этот домик. Думаю, ему просто нравилось нырять в подпол, когда мать уходила доить корову, где на куче картошки

удобно разместились четверти с мутной жидкостью. Нет, он не был пьяницей. Он был страшно трудолюбивым человеком. Кроме большого клена земли, полного двора скотины отец наладил в своей баньке на дальнем конце огорода производство валенок. В свободное время осенью и зимой родители пропадали в баньке оба, брали заказы из многих деревень. Но когда отец уставал или после парной, тут уж хоть тресни, а сто граммов налей!

В двадцать девятом в селе организовали колхоз, один из первых в округе. В колхоз вступили всего десять хозяйств, у которых ничего не было: ни скота, ни инвентаря, ни земли. Председатель колхоза, вернувшийся недавно с флота Иов Михеев, ходил из дома в дом, агитировал идти в колхоз, а бригадирка Паша, по прозвищу Колхозная, лютовала. Вот лютовала! В кумачовой косынке, завязанной на затылке узлом, она подходила к каждому дому, била палкой по окнам и кричала на все село: «Жидоморы! Заелись! Скоро вас всех на Соловки!» Отец шел в сарай, обнимал одну за другой лошадок за головы и плакал.

Я спиртное на дух не переносил. Даже не пробовал. А уж когда прослушал лекцию о вреде алкоголизма в комсомольской ячейке, то совсем все это дело возненавидел. Да и некогда мне было заниматься этой глупостью. В этом году я окончил десятилетку и решил пойти учиться на ветеринара. В районе открылась школа, где готовили специалистов для колхозов: механизаторов, счетоводов, зоотехников. Я, конечно, на правах старшего сына изо всех сил помогал отцу вести крестьянское хозяйство. Помогать ему я начал рано, поэтому о земле и о животных знал все и иной жизни не ведал и не хотел. В шесть лет он посадил меня верхом на лошадь и велел ездить туда-сюда по земельному клену, боронить только что засеянную вручную землю. Лошадиная спина подо мной ходила ходуном, быстро мослами натерла задницу, я лег животом на шею лошади, но клин доборонил. Иначе отец бы мне потом ничего не доверил. Я очень гордился своим отцом, семьей, да и всем своим селом.

Встречать отца из города тогда я выехал не рано. Часам к четырем дня. Небо прояснилось, и мороз крепчал. Лошадка отдохнула и бежала хорошо, мать на сей раз дала новый тулуп. Пока я добирался до Криуши, стало темнеть; зимой темнеет рано. Добравшись до большака, в заезжую избу опять заходить не стал, только время терять, притулился на повороте у деревянного забора. Грузотакси не появлялась долго. Я даже думать стал, что она совсем не придет. Но нет, она появилась. Отец и Иван были в приподнятом настроении. Они молодецки попрыгали из деревянного кузова, покидали все те же полотняные мешки на мои сани.

Те же мешки, да не те! Я знал, что теперь они заполнены не парным мясом, а покупками, подарками, городскими батонами и еще какой городской снедью. Мы, дети, очень любили, когда наступал момент потрошения этого мешка. Бывало это редко, от силы раза два-три в год. Отец степенно развязывал мешок перед собравшимися в круг домочадцами и не торопясь доставал из него, как из волшебной шкатулки, разные вещички: отрезы штапеля на платья сестрам, добротные яловые сапоги, калоши, круг копченой колбасы, инструмент, баночки ландри-на, комовой сахар в мешочке и несколько батончиков, примятых до состояния блинов. А что вы хотели? Он же еще и сидел на мешке-то! Но мы думали, что батончики такими и продаются. В деревне хлеб не продавали

тогда, пекли сами. В основном ржаной, черный до безобразия. А на праздники пекли пироги, серые, но с вкусной начинкой. Так что белый-белый батон был сначала объектом изучения, потом мать отрезала всем по кусочку попробовать. Отец отмахивался: «Пустой этот городской хлеб!» Он все глубже и глубже залезал в мешок, доставал книги, тетради, ручки с перьями, шило, дратву, новые вожжи, кусок кожи и еще много-много чего. Каждую вещь он сопровождал рассказом, где и почем купил, как торговался и сколько сэкономил. В общем, без подарка не оставался никто. Все потом целую неделю рассматривали свои подарки и хвастались друг перед другом и перед соседями.

– Я ей говорю: рубль тридцать, – смеясь, довольный, продолжал рассказ отец, усаживаясь удобнее на розвальни и сдирая с моих ног тулуп. – А она: «Все по рупь двадцать, а у тебя рупь тридцать, побойся бога!»

– Так у меня особая баранина, матушка, молочная, одним молоком выкормленная! – Они весело хохочут, вспоминая удачную торговлю. Своими крупными телами, да еще одетые в бесчисленные поддевки, ватные стеганые штаны и шубняки, они заняли все пространство саней, вытеснив меня на самый передок, прямо под хвост лошади.

Судя по их настроению, поездка была удачной, и не только. Я заметил, как отец вынул из кармана чекушку и отхлебнул хороший глоток. Потом подал бутылку Ивану.

«Так вот отчего у них морды красные! – сообразил я. – Они пьют всю дорогу! Вот, паразиты, нигде не упустят! Сейчас я вам поддам!»

– А вы знаете, что водка – это чистейший яд! – громко и уверенно начал я, пытаюсь вспомнить убедительные слова лектора из комсомольской ячейки и подражая его тону. Лектор попал тогда очень основательный, я и не знал, что о простой водке можно говорить часами! – Она уничтожает нервные клетки, разрушает мозг, у человека нет ни одного органа, на который бы она не влияла отрицательно! Водка уничтожила многие народы и национальности, стерла с лица земли целые государства! Вот, так-то!

За моей спиной стало тихо, и я уверенно продолжал:

– Первая водка, путем перегонки, появилась в Персии в десятом веке. В Европе появилась в тринадцатом и вплоть до шестнадцатого века продавалась только в аптеках как лекарство. В России водка как напиток известна с 1533 года.

– А ба! Да ей на тот год четырьеста лет будет! – вставил дядька Иван, икнув при этом и соорудив морду колом. – По этому поводу надо выпить!

– Виноторговля и особенно пьянство в России, – продолжал я жестким голосом, – всегда были делом самым последним, позорным для православного человека! Церковь настрого запрещала... Мусульмане и сейчас сохраняют этот запрет, поэтому скоро они одни останутся на земле...

Я разразился речью минут на пятнадцать. Так у меня ладно получилось, сам себе позавидовал! Вот бы в ячейке меня послушали, не хуже лектора.

– Так, где же она, церковь-то сейчас, нету ее, закрыли!

Обычно из дядьки Ивана слова не выбьешь, а тут разговорился, начал даже спорить. Правильно лектор говорил, после второй стопки получают павлины!

– Слушай, а говорят, водку изобрел наш мужик, Менделеев, кажись! Изобрел для протирания деталей.

– Это тот Манделеев, который чумадан изобрел? – вдруг встрепенулся и отец. – Ты в прошлый раз рассказывал!

– Тот самый, но не он изобрел...

– Так чумадан-то он изобрел, чтобы водку возить! – седоки мои весело захохотали. Я понял, чтобы что-то изменить в этой ситуации, нужен веский аргумент.

– А у нас, в деревне, сколько мужиков померло от водки-то? А? Не-старых совсем! Вот Филиппенок на Рождество славил, славил, ходил, ходил из дома в дом и в конце порядка богу душу отдал!

– Так он самогонку пил, не водку!

– Да это еще хуже! С сивушными маслами, с разными ядами! А Пронька Лушин, а Макарка, а Фадей с Горланки! А Василий Иванович, безногий? Уж на что талант был – что тебе учет в колхозе провести, что стенгазету нарисовать, что на гармошке сыграть, на все мастер был! А умер совсем молодой!

– Неужто все от водки? – ахнул Иван.

– В России – целый комплекс алкогольных проблем: рост преступности, инвалидности, деградация нации, сверхсмертность... Сухой закон отменять в России было нельзя! А правительству – кругом выгода: от продажи водки, поэтому и наращивают ее производство, и от смертности алкоголиков, чтобы лишних ртов не было! Водка – это яд, чистейший!

Я замолчал, ужаснувшись своей высокопарности. Правда, она и есть правда, но как-то надо попроче до них донести и подходчивее. Так бы им рассказать, как тот лектор, сколько спиртного производят, сколько потребляют, сколько помирают! Да с примерами из жизни! Да с выводами! Да в сравнении с другими странами! Но для этого надо много учиться.

– А Муратиха, а Машка Поликарпова, а Дунюшка? Эти отчего померли, они в рот не брали? – язвительно перебил меня отец. – Переучкой от тебя пахнет, сынок! Пили, пьем и пить будем! Уж больно вы, молодежь, дерзки да лезете, куда вас не просят! Посадят тебя за такие речи! Что же, это, выходит, советская власть нам враг? Она отменила сухой закон! Погляжу я на тебя лет через пяток, трезвенников я еще не видел, даже среди язвенников!

Я замолк. Слов у меня больше не хватало. Да еще и мороз крепчал: градусов уже под тридцать. И ветрище какой, северный, злой, пронзительный! Губы мои стали какими-то жесткими, не повиновались, слова выходили все корявее. Я чувствовал, как пробирается холод в прореху оторванного рукава моего крытого полушубка. Дурак, сам поленился рукав пришить, когда с Васькой Старым подрался. Всыпать ему всыпал, а он рукав оторвал, вцепился зубами. Подрался из-за нее, из-за Нины, тоже мне, ухажер нашелся, в отцы ей годится! Полушубок был старый, затрещал сразу. Дыру на поле полушубка – прожег, на спине – протер на печи. А еще где, и не помню. Да и маловат он мне, только выкинуть. Проклятое деревенское скопидомство! Мать вместо починки покрыла полушубок сверху черным молескином. Из дерьма конфетку сделала! Он стал как бы новый сверху, блестел, но со старыми дырами. Вот сейчас я всем телом чувствовал на нем каждую дырочку, дырку, дырищу. Мороз свободно входил через них, гулял по моей спине, животу, рукам. Я стал сжиматься и тянуть на себя тулуп. Тулуп был огромный, новый, на него овечьих шкур штук двадцать пошло, в нем свободно с головой и ногами заворачивались два человека. Вот и сейчас отец с дядькой заку-

тались, только шапки торчат. А я сидел в молескиновом халате на юру и чувствовал, что замерзаю. Я готов был залезть под их ноги, укрытые теплой бараньей овчиной, но гордость не позволяла мне это сделать. Я был очень зол на отца и дядю Ивана.

Конечно, понять их можно было: всего несколько лет назад отменили сухой закон, который действовал с четырнадцатого года. За продажу самогона была статья. Самогон в деревнях гнали, конечно, но в такой секретности, что почище государственной тайны! Гнали для себя. А если кто на продажу, то сильно рисковали! Покупка четверки настоящей водки для безденежного крестьянина была настоящим праздником. Да и сколько отец с Иваном купили ее, ну, две четверки от силы! Двести пятьдесят граммов на здорового мужика, пол-литра на двоих – капля в море! Другое дело, если они останутся на Ваду, селе, которое мы будем скоро проезжать, и затарятся снова! Например, четвертью самогона. (Почему эту бутылку тоже называют четвертью? Может, потому что в ней четыре литра!) Это будет катастрофа! Их тогда не успокоишь ничем! Я стал думать, как мне их отвлечь от этого, на мой взгляд, очень опасного занятия, словами убеждать, как я понял, бесполезно.

А ехать еще долго, и половины не проехали, потому что ровно на половине пути это село Вад. Село крупное, расположено на тракте, кабаков несколько, самый известный – бывший кабак купца Серебрякова. Трактир, по сути. И отец ни за что не проедет мимо! Можно бы, конечно, завернуть в заезжую избу, там поесть, отогреться, лошадку покормить. И дешевле, и быстрее, но ведь упрется сейчас, как говорила мать, за губу попало...

– А вы знаете, что одновременный прием четырехсот граммов этилового спирта для человека является смертельной дозой? – попытался я просветить своих родственников еще раз. – Доза в пол-литра водки, да еще на морозе, это – паралич конечностей, остановка сердца... А регулярное потребление приводит к полному разложению печени...

– А ты, сынок, не переживай так за нас! У нас не какой-нибудь полугар, у нас – смирновская! А ей, почитай, около ста лет! Мы этого этилового спирта в глаза не нюхали. Где мы его возьмем! Успокойся, сынок, мы только погреемся немного, самую чуточку!

Ох, как бы и мне погреться, подумал я. Неужели действительно водка согревает? Как кружка горячего чаю? Я бы сейчас даже на полкружки согласился, или даже на глоток! А может, попробовать и мне?..

– Да, сначала водка расширяет кровеносные сосуды, – продолжал я, теряя свою уверенность. – Потом резко сужает и приводит к коллапсу...

На небо выплыл остроугольный месяц, и стало светло как днем. Впереди блестела отполированная полозьями узкая дорога, кругом поля, засыпанные серебром и золотом, далекий горизонт закрывала черная полоса леса. Но мне было не до красот округи, я начал замерзать. Мы были в пути час, час с четвертью, и я, здоровый и сильный молодой парень, замерзал. Закаменели лицо и плечи, острая боль пошла по рукам и шее. Я весь сжался в комок, пытался двигать головой и плечами, в мозгу крутилась мысль: что делать? Единственное место, где было пока тепло, это мои огромные подшитые в три слоя валенки, мне очень хотелось уйти в них с головой, но и они стали быстро холодеть. Ноги стали влажными и холодными. Мне бы сейчас в тулуп!

Вот еще! Ни о чем просить не буду! Лучше замерзну! Совсем меня не слушают, вот приедем, расскажу матери, она ему задаст! Она только посмотрит своим черным глазом через плечо на него, он сразу

согнется, засеменит ногами: «Что ты, мать, что ты, в рот не брал, в рот не брал, заставили!» Отец боялся ее, но за глаза подсмеивался, называя «унтером»

Боль в теле нарастала и скоро стала невыносимой. Я чувствовал, что от боли теряю сознание. Но откуда-то из последнего теплого уголка в моем теле – из живота вдруг, не спрашивая меня, взмолился инстинкт самосохранения.

Я с трудом повернул голову к отцу, и не своим, сильным голосом этот инстинкт вдруг невнятно произнес: «Пап, налей, мне, я замерз!» Скорее не сказал, а прошептал.

Сзади сначала наступила удивленная тишина, потом раздался такой хохот, что лошадь отпрянула и рванула вперед, вращая по сторонам глазами и мотая головой. Они ржали так здорово и заливисто, с такой силой и дурью, что у меня сами собой навернулись слезы на глаза, и я сжался весь в последний комок, как только мог. А может, мне это только показалось? Я перестал чувствовать реальность.

– Тебе? Яду? Ты что, с ума сошел! А паларич? А остановка сердца? А разложение селезенки? Ты нам не портишь географию! – отец с Иваном наперебой по очереди выкрикивали эти слова, перемежая их неутраченным хохотом. Они даже повалились друг на друга, продолжая их выкрикивать и просто давясь от смеха. А фига ли им не смеяться, под теплым-то тулупом!

– Водка – это чистый яд! – передразнивая меня и городского лектора, произнес отец. – Вернуть сухой закон в деревню!

Они все продолжали потешаться, но как-то все глуше и глуше для меня. Я чувствовал, что перестаю воспринимать окружающее, меня сильно тянуло в сон.

– Э-э-э, Менделеев, ты что, уснул вместе с лошадьё? – закричал вдруг отец и стукнул меня в бок. Я повалился набок, как куль. – Да он и вправду замерзает, Иван, держи вожжи!

Куда делся смех! Отец свалил меня с саней в сугроб, соскочил и сам. Поднял меня на ноги, держа за подмышки. «Беги, беги! – повторял он, поднимая и толкая меня. – Мать твою, да что же ты молчал-то!»

Превозмогая боль, я побежал. Изо всех сил. Ноги не слушались, не гиблись. Я сделал несколько шагов, поскользнулся на отполированной полозьями полосе и полетел на дорогу. Отец сел на меня верхом и стал колотить по спине, рукам и ногам. Потом снова поставил меня на ноги и повторял иступленно: «Беги, беги! Да что же это, да что же это!»

Я снова побежал. Это мне так казалось, а на самом деле я снова сделал несколько шагов и свалился. Мне было уже хорошо и совсем не хотелось бежать. Я хотел спать. Все происходящее было уже как во сне. Я брыкался, не хотел вставать, уходя мысленно от всего этого все дальше и дальше. От этой страшной убийственной зимы с ее сорокаградусными морозами, от своего худого негреющего полушубка, от пьяной компании, от своей глупости. Не мешайте мне и вправду бросить все и забыться сном праведника... Мне хорошо, мне хорошо! Прямо сейчас я попал в теплый тропический рай, о котором рассказывал бывший матрос и наш родственник Калка, который в русско-японскую служил на эскадренном миноносце «Бурный». Каждый год 28 и 29 июля он надевал тельняшку и бескозырку, напивался и рассказывал. Рассказывал и плакал, плакал и рассказывал. Двадцать восьмого во время боя в Желтом море «Бурный» сумел прорвать вражескую блокаду и уйти от

преследовавших его японских кораблей. Русская эскадра была разбита. А двадцать девятого они наскочили на камни, с которых было не сняться, и, чтобы не достаться врагу, взорвали свой корабль и сдались китайским властям. Рассказчиком он был хорошим, и мы живо представляли море, шторма, диковинную природу и небывалую жару тех широт, когда на палубу нельзя ступить босой ногой. Его рассказы мы слушали с особой почтительностью и вниманием; ни радио, ни телевизора тогда не было и в помине. Что радио – электричество в нашей деревне появилось, когда мне было уже сорок лет. Особенно я любил его рассказы о жарких странах, где он был, нам даже не верилось, что есть места, где не бывает зимы. Везет же людям жить в таком климате!

Вдруг я почувствовал, как огнем обожгло мне лицо, потом рот, потом огненный ком прошел в грудь, провалился в желудок. Погорел там немного и стал тонкими струйками проникать в живот, ноги, руки. Огонь жег, калил, растекался по всему телу, достиг головы. Огненный шар катался и катался по моему телу, сопровождая все острой болью, как ножом полосовало. Потом все. Слава богу! Больше я ничего не помню.

Очнулся я от того, что задыхался. Я был задавлен огромной глыбой сверху, и совсем не было воздуха. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Сознание то уплывало куда-то, то возвращалось, голова кружилась. Было темно. И тепло.

– Тпру-у! – донеслось глухо и нетерпеливо. Лошадь встала, исчез противный скрип полозьев, и глыба с меня начала сползать. Это был мой отец. Он был раздет. Он лежал на мне, живот на живот, грудь на грудь, руки свои он держал на моих плечах. Его дыхание согревало мое лицо. Его полушубок лежал на нас обоих, и оба мы были закутаны еще и нашим добротным тулупом. Наглухо. Правил лошадей Иван.

Когда лошадка остановилась, отец быстро соскочил с саней и раздетым бросился куда-то. Пришли несколько мужиков, подхватили с разных концов меня на тулупе и внесли в избу. Положили посреди пола, у стола. Над столом низко висела и горела семилинейная керосиновая лампа, длинные тени от нее плясали на бревенчатых темных стенах. Потолок уплывал то вправо, то влево, меня мутило, в голове стоял звон. Отец бросился на колени на пол предо мной, и начал ощупывать мне руки, ноги, голову, грудь.

– Ну, ты что, ты что, ты что, сынок, где болит? Болит где-нибудь? Не обижайся на нас! Дураки мы с Ванькой! Утямились дразнить тебя! Ты молодой, грамотный у нас. Не то что мы! У меня ведь все надежды на тебя! И не запились мы! Я больше в рот не возьму, клянусь тебе! Больше в рот не возьму! Не возьму! Ты что удумал?

Он повторял и повторял эти слова тихо и сумбурно, потом заорал: «Марья, Марья, говорю, иди, погляди, что с ним!»

Ко мне подошла хозяйка заезжей избы. Она профессионально провела руками по моим конечностям, пощупала пульс, приложила ухо к груди, принялась.

– Чаю ему надо! Сладкого! Да побольше!

Отец заботливо поил меня из кружки. У меня совсем не было сил. Голова была как в тумане, тошнило. Потом меня переложили на печь-лежанку, занимавшую половину задней избы. Лежанка была такая, что на ней спокойно уложилось бы еще человек пять-шесть во весь рост.

Господи, какая это благодать – русская печь, да с такой лежанкой! Тихое, ненавязчивое тепло под боком, на всю ночь, сухой свежий воздух, надежный покой и уверенность! А утром еще и горячие мясные

щи в дорогу, после которых можно не беспокоиться о провианте до вечера. Проваливаясь в дрему, я услышал, как пришел, хлопнув дверью, Иван, распрягавший и устраивавший на ночь лошадку.

– Холодно, ох, холодно, дышать нечем! Я две попоны на лошадь натянул! Жметя, беденькая! Хорошо, сарай теплый!

Он подсел к отцу за стол, Марья подала им ужин. Показала рукой на бутылку: «Будете?»

– Нет, нет, – спешно ответил отец и отвернулся.

– А от парня-то вроде пахивает, – как бы между прочим, сказала Марья, пристально глядя на отца.

– Да когда тот замерзать стал, Семен влил ему в рот. Да не подрасчитал, почти вся четверка и ушла, последняя. Гнали как на пожар! – бесхитростно сообщил Иван Марье.

– Вы что, мужики, совсем сдурели, он же ребенок еще! По башкам-то бы вам! Совсем мозги пропили! Сами-то что, не замерзли? Зарылись, небось, в овчину! Паразиты!

Она подошла снова ко мне, приложила руку ко лбу. Рука ее была мягкой и прохладной. Мне стало так хорошо!

Марья еще долго ходила по комнате, ругала отца и Ивана, потом потрясла у них перед носами бутылкой с надписью «Водка особая», погрозила пальцем, перекрестилась и ушла. Наступила теплая, надежная тишина.

Я проснулся утром, когда солнце всю светило в окно. Отец и Иван сидели у стола, уже одетые. Марья подала на стол, и мы позавтракали. Лошадь была запряжена. Отец взял вожжи. Меня он заботливо укутал в тулуп и усадил в центре саней. Оставшиеся три часа до дома мы ехали молча. Вот и наша церковь на горе. Сейчас спустимся с горы, и – дома. Отец нагнулся ко мне и, глядя куда-то в сторону, сказал: «Ты, сынок, матери, того, ничего не говори, ладно?»

Я кивнул. Я и не собирался. У меня в голове были уже другие, очень важные планы.

## Валерия ТРОФИМОВА-РИХТЕР

Родилась в 1995 году в Караганде, Казахстан. Училась в Томском государственном университете по специальности «философия» (бакалавриат), «клиническая психология» (магистратура и переподготовка).

Работает медицинским психологом в областной клинической больнице.

Писатель, сценарист. Публиковалась в толстых журналах. Участница форумов Арт-кластер «Таврида» (2017, 2019), «Русское Слово» (2017), финалистка литературной премии «Русские рифмы», «Русское слово» (2019), Национальной литературной премии для молодых авторов в номинации «Киносценарий»(2020). Живет в Томске.

## ЧЕРНАЯ ЛАСТОЧКА

Он мог с закрытыми глазами сказать, как и куда ложатся тени вечернего солнца. Из года в год он наблюдал, как трава за окном неизменно тянется вверх. Как осенью из спящих, осиротевших без листьев деревьев, уходит вода. Как бьет дождь по крыше, выстукивая одинаковую, тоскливую мелодию. Как хлещет из трубы вода, образуя белые султанчики пены. Он отметил, что прошлой зимой, богатой на снег, сугроб закрывал половину окна, в то время как в эти холода – едва добрался до подоконника. Всякий раз, как в первый, он вслушивался в пение птиц летними ночами. Он пересчитывал и знал всех пернатых, гнездившихся под покатой крышей. Кормил их даже помаленьку – если чуть затвердевший хлеб оставался с обеда. Вернее, никто не замечал, что кусочек-другой удалось умыкнуть.

В эту весну, под крышей, поселилась вторая черная ласточка. Услышав писк птенцов, он еще больше поверил в счастливый поворот судьбы.

Солнце промывало стекло, будто желая его разбить на тысячи осколков и отразиться в них, еще ярче осветив палату. Солнечная сторона радовала и придавала сил.

Почти как дома.

Только вот все, что касается дома, обросло черно-белой, поцарапанной временем памятью. Он забыл, как это – бродить по городу вечерами в огромных, как у пилота, наушниках. Мерить шагами городские улочки под жизнеутверждающие выпады отцов русского рока. Какими стали эти улочки за столько-то лет?.. Город вырос в таинственный сад, запретный плод, к которому его отучали тянуться. Призывали забыть. Запрещали мечтать и высмеивали любые порывы любить. То, что расширяет сердце, но облегчает душу, придавая волшебство жизни в многолетнем заточении.

– Бергер! К врачу! – зычно крикнул санитар.

Решетка со скрипом отворилась.

В эти моменты, перед внутренним взором Максима Бергера пронеслась вся жизнь. До заточения и после.

Кровь сочилась из ладоней на скользкую ледовую корочку под ногами. Известкой сыпался с предрассветного неба колкий снег. Присмотревшись, Максим с ужасом понял, что кровь не его. Он не помнил, как оказался на улице – будто очнулся уже здесь, от глубокого сна.

Дорожка крови вела к чуть приоткрытой двери подъезда. Максим, поддерживая дверь ногой, ринулся в подъезд. Под ноги бежали десятки ступеней, один грязный лестничный пролет сменялся другим. До першения в горле, пахло куревом и кошачьей мочой.

Максим не слышал никаких звуков, кроме гулко-го биения сердца в висках. Руки дрожали, кровь капала на домашнюю пижаму.

Дверь квартиры натужно скрипнула и поддалась. В дальней комнате хныкал ребенок. А на кухне...

Максим бросился к телу жены – оно покоилось в луже уже запекшейся крови. Одна ее рука безвольно лежала на полу, другой – женщина держалась за округлый живот. Рядом с ней кто-то бросил забрызганный красными пятнами нож.

Слезы душили, мешая вырваться крику. Максим вспомнил все.

Как он ушел ночью из дома, а вернулся, уже выкуривший изрядную дозу плана. Как жена ждала его полночи, а встретив его в невменяемом состоянии, повысила голос. А дальше... холодная рукоять ножа... нож входит в тело, как в тающее масло, и все...

Потом его увезли. Первенца – отдали на воспитание бабушке и дедушке. Максима кололи препаратами до боли во всем теле, переводили из одной тюрьмы в другую. Грязного, истощенного и заболевшего от лютого холода, его увезли из карцера в принудительное отделение психиатрической больницы, которое носило статус больничной зоны.

В самые трудные минуты он вспоминал, как ходил с отцом и братом в тайгу.

– Запомните, в лесу вы – настоящие мужчины. Вам не за что зацепиться, не на кого опереться. Здесь вы сами решаете проблемы.

И Макс убедился в этом, будучи подростком.

Ненадежнее человека может быть только созданная им же техника. Машина сломалась, когда они заехали в самую глушь. Отец тогда сказал, что можно в ней греться, но за ними никто не приедет.

– Жизнь дороже железяки! Вытащили рюкзаки и вперед!

Братья мигом собрали пожитки, непонимающе поглядывая на отца. Но он торопил, призывая бросить старенький «уазик».

Они шли настолько быстро, насколько могли. Пальцы рук стремительно замерзали в старых перчатках, холод обжигал. Чтобы как-то отвлечься, Максим всматривался в замерзшие следы от шин. Многие занимались таежным промыслом, и парень искренне надеялся, что их кто-нибудь подберет.

Отец посоветовал снять перчатки и сунуть руки в штаны. Со стороны семейка напоминала стайку пингвинов. Морозный воздух колотил лицо. Новые, не растоптанные валенки сжимали голени и стопы. Макс едва поспевал за отцом и братом.

Никогда дорога не тянулась столь долго. Солнце скрывалось за снежными макушками деревьев, а семья – продолжала путь, пока не набрела на охотничий домик.

Максим набросился на хлебные корочки с салом, ожесточенно тер руки у печки, поглядывая на пляшущие язычки огня. Воздух мрел вокруг поддувала, а Максим строил мечты под треск поленьев. Один из охотников готовил зайца, попавшего вчера в петлю. Теперь в избушке помимо горящего дерева аппетитно повеяло мясом и чесноком из котелка.

Утром отец и братья умылись снегом и снова отправились в путь. Мороз спадал, идти становилось все легче, и валенки уже не так давили. Макс обратил внимание на высоту снега – белый пушистый слой полностью покрывал маленькие елочки, которые парень принял изда-лека за бугорки.

В родной деревне их встретили как героев. После этих событий брат стал охотником, а Макс все разрывался между родной тайгой и городом, манящим огоньками тысячи перспектив. Последний взял вверх. Максим не устоял перед соблазнами большого города. Алкоголь его давно не интересовал, а вот травка показалась куда привлекательней.

Она и отправила его по этапам, забрала семью, отвернула родных и обрекла на чудовищное существование с пожизненным чувством вины.

Отвернулись все, кроме Сашеньки. Двоюродная сестра работала воспитательницей в детском доме, поэтому принимала всех. Она стала для Максима единственным связующим звеном с родителями и сыном, который едва помнил своего отца. Она была единственной, кто читал его слезливые откровения и наблюдения за черной ласточкой.

В тот день, когда он узнал от Сашеньки, что сын взял отчество деда, а родители отказались от него, – ласточка погибла в схватке с орлом. Последний тоже прилетал по первому дуновению весны и кормился местными голубями. Они то ли перевелись, то ли стали умнее – ни одного в желто-коричневом дворе больницы. Стоило бесстрашной черной ласточке выпорхнуть из своего гнезда – ее уже караулил зоркий разбойник. Она билась до последнего. Максим наблюдал за смертельной схваткой, потными от волнения руками вцепившись в подоконник. Вот ласточка вырвалась из огромных когтей и клюнула орла в шею. Тот взвился вверх, затем спикировал и снова сдавил когтищами маленькое черное тельце. Дальше Максим не смог на это смотреть – сердце сжималось от боли, и он беззвучно заплакал, отвернувшись от окна.

Убивался тогда Максим по ней как по человеку. Вспоминал теплые руки жены и мысленно представлял ребенка, так и не увидевшего свет. Во время прогулки Максим отделился от остальных пациентов, завернул горстку черных перьев в носовой платок и выкопал ямку. Едва успел засыпать свежей землей, как подскочил санитар с расспросами. Пришлось вернуться ко всем остальным.

– Виктор Саныч... позвонить... можно?..

– Не твой день. Иди отсюда!

– У сестренки моей... День рождения... Пожалуйста...

Максим, вжав голову в плечи, переминался с ноги на ногу перед грузным санитаром. В такие неловкие моменты он переносился в школьные времена. Вокруг учительницы суетились и ворковали любимчики. А он, всегда в немилости, топтался перед учительским столом, боясь спросить разрешение забрать исписанный зловещными красными чернилами дневник.

Виктор Саныч шумно втянул ноздрями воздух, зыркнул в сторону постовой медсестры и прошипел:

– Три сссигареты... и пять пакетиков чая!  
– Идет, – не задумываясь, ответил Максим.  
– Две минуты. Ни минутой больше! – санитар снова бросил взгляд на медсестру, но та уже юркнула в процедурную.

Чаем здесь «засыпались» почти все пациенты. В первый год больницы пребывания Максим зарекался, что не будет заниматься подобными гадостями. Но после того как его то трясло, то выворачивало, то клонило в сон от обилия препаратов, он нарушил опрометчиво данное слово. В туалете, грязном и пропахшим куревом, он доставал пакетик за пакетиком из широких карманов пижамы и вскрывал, пока никто не видит. Главное, не подавиться – сразу поймут. Большим количеством воды. И рот от чаинок не забыть вытереть.

Санитары периодически задабривали чайком местных шишек. Последние выслуживались перед медперсоналом, стучали на всех подряд, зачастую безбожно наговаривая. Максим предпочитал вести затворнический образ жизни – ему надоели кланы, наркоманы, местные авторитеты. За годы он обрел потрясающую способность невидимости.

Он ни на кого не обращает внимания, и до него никто не докапывается. Приходится, конечно, медперсоналу платить по мелочам – но это не самое худшее в местных реалиях.

– Саш... Сашенька... – прошептал он в трубку.

– Максимка! Ну-у... как ты? – жизнерадостно послышалось с другого конца провода.

Максим живо представил сестру в платке кремового цвета, с выбившимися светлыми кудрями. По-детски пухлые губы, маленькие щечки и слегка вздернутый нос... Глаза теплые, орехового цвета...

За пару весен до совершения преступления, он сходил с ней в храм на ночную пасхальную службу. После нее в ушах долго стоял очищающий колокольный звон, а образ сестры, добрый и лучистый – до сих пор перед глазами, живой, яркий.

От нее одной – лучилась доброта.

– Я... Саш... хорошо... Как обычно... С днем рождения тебя! Оставайся... такой же... такой же... солнечной.

Максим с трудом подбирал слова. Слезы предательски подступали к горлу. Совсем расчувствовался что-то.

– Спасибо, дорогой, спасибо! Так приятно и неожиданно... у тебя же... другой день звонков?..

– Мне разрешили.

– Максим, знаешь, я переговорю с родителями, чтобы они тебе то...

– Сашенька, не надо, нет. Не стоит, – он сразу понял, к чему клонит сестра.

– Максимка... смотри...

– Время вышло! – пробасил санитар.

– Сашенька, время... еще раз, с твоим днем... С богом, пока!

– Максимка, держись!

Громила в синей форме едва не выхватил у него трубку. Не глядя санитару в глаза, Максим пробурчал что-то вроде «спасибо» и засеменял в палату. Санитар закрыл за ним решетчатую дверь.

Про смерть ласточки он не смог сказать Саше в такой день.

– Здравов, – послышалось из угла.

Много лет кровать напротив пустовала. Максим в шутку называл ее счастливой: соседи, долго не задерживаясь, успешно выписывались или переводились в вольные отделения.

– Захар, – Макс узнал товарища с четвертой палаты. – Чой-то тебя ко мне перевели?

– Да так... – тот поднялся с кровати.

Полуденное солнце осветило его лицо, и Максим увидел кровоподтеки на покато лбу.

– Наркоманы? Сочувствую...

– Да... Врач понял, что не выживу в четверке... Вот, к тебе перевел, компанию составить, кхе-кхе, – Захар прочистил горло.

От него сильно пахло дешевой «Тройкой» и дезодорантом.

– Ну что же, место это счастливое, – Максим приземлился на свою койку. Та в ответ жалобно скрипнула. – Быстро выписываются.

– Оно-то и понятно, – Захар криво ухмыльнулся.

– Что понятно?

– Почему койка эта пустовала. Выписывают-то неохотно, а место счастливое, кхе-кхе...

Максима не радовал этот запах и прокуренный кашель. Но, с другой стороны, он теперь не один.

Он не помнил, за что Захара сюда. Важнее, что...

– ...будешь делать, когда выпишешься? А? Максимка, оглох, шо ли? – Захар приподнялся и завис над Максимом грузной тушей.

Парень едва не закашлялся от гремучей помеси пота, курева, одеколлона и старой пижамы.

– Я в норме, задумался, – Максим потер вспотевший лоб. – Чо делать-то буду... Я не знаю, выпишут ли меня... за такое...

– Здесь все за что-то такое, парень, – Захар плюхнулся обратно на кровать и подобрал под себя ноги. – И почти все, не поверишь, – выписываются. Ну, шо же ты... Мечтать, как говорится, не вредно.

– Маму с папой... обниму, – Максим сглотнул ком. – Прощения... ппросить буду... И Сашу, сестру свою, хочу увидеть... Но не чтобы она сюда за мной приехала... На работу к ней приехать... хочу, – Максим достал из кармана засаленный платок и начал его мять.

– А где... сестра твоя работает, кхм-хм?..

– В детском доме.

– Ссерьезно, очень... – Захар скрестил на груди волосатые ручки.

– И еще... В деревне, к озеру сходить... Встанешь так на бережок летом, комары вокруг так и вьются, но... Воздух этот, Захар... Свободой пахнет... Я не ценил тогда этого... Засмотришься то на водомерок, то на уток, а тут отец как оглушит на своем «Урале»! Тормознет рядом, прокричит что-то вроде «Эй, юннат, поехали по ягоду!» Прыгнешь к нему в люльку...

– Да... Ниче ты описал, – Захар почесал бритую голову. – А ты на «Урале» в грозу катался? Летишь, перед тобой молния – одна бах, другая – бах! И гром такой, у-уххх!

– Да, и в грозу катались, – Максим закрыл глаза и заулыбался. – Ветер, свежий-пресвежий... Едешь по пылище и так радуешься первым каплям дождя... А потом промокаешь до нитки...

– Да... Мы и по шишку ездили, по осени... не каждый год шишка-то идет, – Захар с восторгом смотрел в окно, будто видел там не больничный двор с редкими кустиками, а массивные стволы кедров и корабельные сосны.

– Шишку тоже помню... И осенний запах леса...

Запах леса настолько заполонил комнату, что Максим больше не чувствовал ни резкого запаха сигарет, ни навязчивые флюиды одеколлона.

Он показывал Захару родную тайгу, отчий дом... Видел отца, и тот не смотрел на него осуждающе... И мама обнимала, как прежде...

– А ты-то, Захар... Что будешь делать?..

Лицо Захара вмиг посерело. Словно его вырвали из объятий тайги.

– К мамке и бате... на могилы бы съездил... Брат рассказывал, там мурашей столько, на могилах-то...

– Не стоит родных забывать, это точно, – вздохнул Максим.

– Да вот брат... не звонит уже года два, не ездит... Жена у него вторая... против меня... Зачем нам тюремщик? – говорит... Так что, брат, не выписной я. Что бы ты там про кровать ни говорил, кхе-кхе-кх, – Захар зашелся кашлем.

– Ну... Может, придет еще твой брат, – неуверенно сказал Максим.

Как же ему хотелось вернуть Захару прежний настрой...

– Не, в лучшем случае, друг, в вольное пойду. Вот так, – Захар повернулся на бок к стенке лицом и натянул одеяло до ушей.

Максим вспомнил, за что его. Соседскую девочку от педофила защищал, прибил гада, силы не рассчитал... Вот здесь уже с десятков лет сидит, за убийство. Чудаковат был, на учете у психиатра стоял – поэтому и определили в больницу.

«Не то что я... жену... ребенка нерождённого...» – Максим схватился за серебряный крестик на груди, подаренный Сашей.

Никогда, ни за что, никто ему этого не простит.

Это он должен быть невыписным.

– С чем ты, сын мой? – священник склонился над Максимом.

– Все с тем же, святой отец... – прошептал Максим.

– Какой я тебе святой отец... Это у католиков святой отец. А я – просто батюшка. – Батюшка Алексей пригладил рыжеватую бороду.

– Батюшка... я... не могу себе простить... жену и ребенка... – Максим до боли в пальцах сдвинул Сашин крестик.

– Ты исповедался уже за это... Я видел твои слезы. Нельзя исповедаться несколько раз за одно и то же, разве я тебе не говорил?... – батюшка внимательно посмотрел на Максима.

Тот сидел сторбившись и смотрел на крышку стола. За окном только что прекратился первый весенний дождь. Небо постепенно прояснялось, подсвечиваемое невидимым солнцем. Робкие лучики из-за плотных облаков освещали пустую столовую, отбрасывая на серый линолеум решетчатые тени.

– Говорили, отец Алексей... – прошептал Максим и запустил пятерню в грязные, слипшиеся волосы.

Батюшка неожиданно встал и положил тяжелую руку Максиму на плечо.

– Знаю... Тебе всю жизнь с этим жить... Представляю, как при каждом упоминании о женщине и ребенке у тебя содрогается сердце, плачет душа... Но... Бог тебя простил, уже простил. Позволил тебе жить...

Максим больше не мог держаться и заплакал. Где-то в отделении ворчала сестра-хозяйка, переговаривались санитары. Их голоса раздавались глухо, словно через завесу воды. Отделения в этот миг не существовало.

Максим закрыл лицо руками. Батюшка убрал руку с его плеча. По спине разливалось мягкое живительное тепло. Внутренним зрением Максим увидел переливчатое, золотистое мерцание. От него тоже струилось тепло, согревая руки, мокрое от слез лицо и... как бы странно ни звучало, душу. Запахло свежей травой, повеяло прохладой летнего

утра. Максим будто бы проснулся и даже не задался вопросом, откуда все это...

Он не спрашивал, потому что верил. Сегодня, он понял – его простили.

Отняв руки от лица, он увидел столовую. Батюшка по-прежнему сидел рядом, терпеливо выжидая, когда Максим успокоится.

– Отец... А-а-а... Алексей... – прошептал он.

– Тихо, тихо, Максимка... Помолчи чутка... – тот приложил к губам пухлый палец.

Максим тоже чувствовал это – остатки благодати, невесть как просочившиеся в столовую отделения, витали в воздухе, согревали и проникали в душу. Он наблюдал, как солнечные лучи скользили по столам и стенам, и радовался этому как ребенок.

Небо прояснилось за окном с мутноватыми стеклами. Больше оно не выглядело мрачным и налитым холодом. Оно золотилось от солнца, освободившееся от мрака.

То же самое происходило у Максима в душе.

– Ему пора! – на пороге столовой вырос санитар.

– Все в порядке. Уже идет... – отец Алексей поднялся, оправив полы тяжелой черной рясы.

Но Максим не шел, а летел. Напоследок он улыбнулся отцу Алексею, не в силах ничего сказать.

– Че-то ты довольный какой-то? На пользу вам идет общение с духовником... эт хорошо, хорошо, – быкоподобный санитар недоуменно поглядывал на улыбающегося пациента. – У тебя... взгляд другой, Бергер.

Максим Бергер больше не сходил с ума и не грыз себя чудовищным чувством вины. Он снова встретился с жизнью.

И больше не хотел ее отпускать.

– Максимка, ты посмотри... пташка-то какая! Хорош спать, все проспишь, кхе-кхе...

Прошло три дня после беседы с отцом Алексеем. Максим проснулся от прокуренного голоса соседа по палате. Нехотя открыв правый глаз, затем и левый, он сладко потянулся и повернулся на другой бок.

Солнце заливало палату. Захар сидел на кровати, чуть подавшись вперед, и всматривался в окно.

Щурясь, Максим приподнялся на локте и свесил ноги. Пол такой теплый... Весеннее солнышко все-таки уже пригревает.

– Перекур проспал, эххма... – Захар бросил быстрый взгляд на соседа. – В окно глянь-ка. Кружит как...

Максим облокотился о подоконник и посмотрел в окно.

Над двором больницы кружила черная ласточка.

– В-вернулась... – выдавил Максим, немея от счастья.

Она вернулась не одна.

Уже две ласточки кружили у окна Максимовой палаты. Раз в неделю он звонил Саше. Чуть реже получал письма.

Но сам писал каждый день.

«Прошло месяц, как кормлю этих ласточек... На душе, легко и радостно – знаешь, так уже привык к этому состоянию... Не хочется снова проникаться унынием, Саш. Ты была права, говоря о том, что уныние – один из грехов...

История про мальчика из вашего детдома, которого забрали родители... Слов нет, сестренка... Бог не оставил его и направил родителей. Больше я не сомневаюсь в его существовании...

Ой, чуть не забыл! Пару недель назад к Захару приехал брат. Тоже, вероятно, одумался. Скоро его выпишут – брат ходатайство написал... Моя комиссия тоже скоро уже – вот время летит...

А я живу, пишу, молюсь... вспоминаю о тебе и просто... живу».

Кто-то встречает смерть, как старого друга. Максим же встретил жизнь, полностью отдался ее живительному потоку, ежедневному флеру тайны и сделал ее ритуалом. Каждый завтрак он встречал не так, как раньше. Баланда больше не казалась ему баландой, а представлялась почти манной. Соседи по столу, из умственно отсталых пациентов, больше не раздражали неаккуратным поеданием пищи, опрокидыванием на себя тарелок и капающей на столешницу слюной.

Прогулка не казалась короткой. Каждую секунду Максим впитывал в себя прелесть нахождения на свежем воздухе. Гуляя по дворику больницы, он представлял себя то в лесу, то во дворе дома – родного, отчего. В лесу он с легкостью преодолевал трясины, словно дорога сама вела его, указывала, куда ступить. Возле дома он сидел на лавочке и макал в свежезаваренный чай сладковатые сухари.

Каждое место, реальное и воображаемое, он воспринимал как светлое и дружелюбное. Простота и ясность жизни нахлынула на него.

Он понял родителей, почему они отошли от него. Максим вспоминал их в своих молитвах, ставил в уютном прибольничном храме ароматные восковые свечи за здравие. В их дрожащих от сквозняка огоньках он видел искорки пламени походного костра. Он чувствовал на себе тяжесть руки отца и слышал: «В лесу вы – настоящие мужчины... вы... должны ими стать».

Такой человек, как отец, – достоин воспитывать сына. А он, Максим, достоин лежать в больнице – без доли уныния, принимая как должное и необходимое.

Он выбросил календарь, где зачеркивал дни, прежде одинаковые и безрадостные. Но стихотворения, посвященные погибшей жене и ребенку, – оставил, бережно убрав в папки для картона. Только в них родные оживали, появляясь из воздуха на пустых качелях. Старые качели скрипели, а ребенок смеялся, взлетая все выше. Жена улыбалась, глядя на него. Так улыбалась она очень давно – последний раз в день рождения первенца.

– Ну, прощай, Максимка... Свидимся, поди... как-нибудь... кхе-кхе...

Захар стоял возле его кровати в обычной гражданской одежде. Синяя рубашка с трудом застегнулась на его круглом животе, а штаны, не по размеру большие, вызывали улыбку.

– В добрый путь, Захар... Говорил же, палата счастливая! – Максим поднялся и похлопал друга по спине.

– Кто знает, Максимка, кто знает, кхе-кхе... может, и батько твой... простит тебя наконец... – Захар неуклюже поправил завернувшуюся штанину.

– Как Бог даст, Захар... Как Бог даст...

После его ухода снова возникло мимолетное ощущение пустоты. Но, обнаружив на тумбочке Захара клочок бумаги с номером телефона и адресом, Максим воспрял духом.

В эту ночь ему снилась всякая ерунда. То лысый Петька из соседней палаты, считавший себя секретарем Горбачева, бегал по отделению

голышом и требовал от санитаров уважения к его профессиональной деятельности. Петьку сменил апостол Митрий, зауспокойным голосом читавший Новый Завет на шатком стуле в общей столовой.

А потом приснился кошмар – местный каннибал с вампиром совершили побег и дьявольским тандемом продолжили творить страшные дела в ночном городе.

Первый – старожил отделения, уже четверть века отсидел, а второй поступил пару лет назад, подумав, что питаться следует исключительно кровью, а окна заколачивать. Худой и бледный, он действительно напоминал кровососа из фильмов ужасов. Когда он проходил рядом, Максим поневоле ежился. Вот и приснилось, что у него клыки, как у Носферату, и как он, со старым каннибалом, разделяет очередную добычу.

Демонов ночи разогнал не крик петуха, а пение птиц. Оно несло с собой потоки света, которые пробили заколоченные доски на окнах и прогнали зло.

Максим спросонья вытер со лба холодный пот и перевернулся на другой бок. Слишком яркий свет. А пение плавно перерастало то в щебет, то в птичье исполнение человеческого улюлюканья.

Птицы совсем раскричались. Их настойчивые голоса окончательно разбудили Максима.

– Заспался, Бергер... – над ним навис санитар.

Максим, взлохмаченный, в мятой пижаме, тут же подскочил.

– Евгений Палыч... здрасте...

– Письмо. Из дома. И марш на завтрак через... – он посмотрел на наручные часы. – Семь минут! Всю жизнь проспшишь... – по-доброму добавил он.

Максим сидел и смотрел на письмо, боясь к нему прикоснуться. Но, прочитав адрес, он жадно разорвал конверт. Почерк... знакомый, родной... Только чернила местами расплылись.

«Базарная, 15...

Сынок... Мы простили тебя... На это понадобилось много времени, но... Мы с отцом будем с тобой. Он все такой же, немногословный... Говорит, такой, пиши сыну письмо... Я в слезы... Чуть успокоилась, выдохнула, села писать... Говорю ему, Вадь, что от тебя Максимке передать?.. Он вышел из комнаты и сел на порог...

Сижу, молчу, сдерживаюсь, чтобы не разреветься... А он, такой: домой ему надо... Больше ничего не сказал и весь вечер ни с кем не говорил.

Лёнька... ну, Саша наверняка передавала... Учится неплохо, но мог бы и лучше. Разгильдяй такой, разбойник, весь в тебя! Не верится, что скоро школу закончит, растет как на дрожжах...

Дом наш изменился, уже и не узнаешь, наверное... Веранда летняя появилась, красивая... Крышу полностью перестелили. Забор теперь у нас высокий, деревянный. Живности хватает... Настояла, чтобы отец привез лайку – помню, твоя любимая порода...

Я не знаю, что еще тебе написать. Но знаю о тебе больше, чем ты думаешь. Не только от Саши... Не знаю, как объяснить... Сердцем материнским знаю.

Ты всегда был в моем сердце, сынок. Узнала от Саши номер отделения, позвоню врачу...

Береги себя.

Любим...»

Запах выпечки витал где-то рядом... Мама снова печет пирог с сухофруктами, и половицы в соседней комнате скрипят от отцовских шагов... Брат – как обычно, уже в лесу с раннего утра.

С губ хрипло сорвались два главных слова.

«Мама, папа...»

А над крышей больницы нарезала круги семейка черных ласточек.

Седой врач сгорбился за столом, засыпанным многотомными историями болезни. Максим застыл на пороге, боясь войти без разрешения.

Наконец психиатр поднял голову от записей и посмотрел на Максима цепким взглядом из-под круглых линз с мутными разводами.

– А, Максим... Проходи, – прокричал он, жестом указав на деревянный стул рядом со своим столом.

Максим сел напротив врача. Сильно же он постарел после их первой встречи... Прибавились складки морщинок, руки стали совсем сухонькими, губы и вовсе превратились в линию, а стираный-перестиранный халат висел мешком. Крючковатый нос и слегка заостренные уши придавали сходства со сказочным персонажем, а неровно подстриженные ногти и слегка засаленный ворот рубашки свидетельствовали о том, что уход на пенсию совсем близко.

– Как настроение? – задал он привычный за двадцать лет вопрос.

– Все... хорошо, Анатолий Владимирович, – Макс сделал попытку улыбнуться.

Тяжело-то под препаратами – лицо окаменевшее, как маска.

– А вот я надеюсь, что после моего ответа... – Анатолий Владимирович прищурился, – оно станет еще... лучше.

Максим, наученный режимом, покорно молчал, ожидая ответа врача. Может, тот пошутить вздумал, старый проказник.

– Комиссия... приняла решение... – врач нарочито тянул слова. – О вашей... выписке, Максим Алексеевич.

Последнее прозвучало четко и звонко. Максим дернулся от волнения, чуть привстал, затем снова сел на стул, уже не казавшийся таким жестким и неудобным.

– Правда? – он чуть не подавился словами.

– Правда, правда, Максим, – врач перестал тянуть слова и снял очки. – Вы отсидели свое. И родители заберут вас.

Максим медленно поплелся в палату. До сих пор не верилось.

Он покинет эти стены. После него здесь останется подоконник с трещиной и по-детски кривой рисунок стаи птиц. Да, самое главное – еще же ласточки...

Семейка пернатых жизнерадостно чирикала под крышей. Тоскливо с ними расставаться. Но ведь... они скоро улетят – лето заканчивается.

А у Максима закончился срок.

## Наталья КРАВЦОВА

Родилась и проживает в поселке Домбаровский Оренбургской области. В 1986 году окончила Бузулукский финансовый техникум по специальности «государственный бюджет», работала ревизором-инспектором государственных доходов. Проходила очное обучение на финансово-экономическом факультете Государственной финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. В послужном списке Натальи Кравцовой служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, затем – Государственная таможенная служба. В 1999 году окончила факультет экономики и финансов Оренбургского госуниверситета, работала в банковской сфере и органах народного образования.

Публиковала очерки и рассказы в газетах, журналах «Гостиный Дворъ» (Оренбург), «Парус» (Москва), «Перспект» (Москва), «Волга XXI век» (Саратов), «Новый Литератор» (г. Брянск), альманахе «Земляки» (Нижний Новгород), коллективных сборниках. Лауреат ряда оренбургских и общероссийских литературных конкурсов.

## ГРЕХ

Как рано темнеет зимой, и мороз к вечеру лютый. Впрочем, январь как январь... Крещенские морозы покрепче будут, тогда уж вовсе не захочется на улицу выходить. Алька долго рассматривала торты за стеклянной витриной. Наконец, выбрала медовый и, прихватив по пути две булки хлеба, пошла рассчитывать. «Для дня рождения достаточно. Еще пирог испечем, как бабушка любила», – подумалось ей.

У самого выхода из магазина замешкалась, пересчитала мелочь, как раз на две булочки с изюмом. Им с мамой хватит, а больше все равно нет, забрала последние. Так вдруг захотелось выпить теплого молока со сдобой. Чем ближе бабушкин день рожденья, тем Альке становилось грустнее – совсем недавно не стало ее, доброй, родной, бесконечно дорогой. Вот сейчас бы она нагрянула с покупками и подарком, бабуля затеяла бы ставить тесто на пироги, а с утра в доме пахло бы вкусностями и Алькиным детством. Они наготовили бы, накрыли на стол и ждали маму с работы, а потом – праздновали, праздновали, праздновали. А ровно через неделю – день рождения Альки, бабушкин черед придумать подарок и сказать главный тост в честь внучки. Какой трудный был год, високосный. Новый будет лучше. Непременно. Просто хуже уже некуда, им с мамой больше некого и нечего терять...

\* \* \*

– Здравствуйте! – в магазин ввалился крепенький мужичок, до самых глаз замотанный в шарф, со смешно торчащими ушками потрепанной шапки-ушанки. Должно быть, только что их развязал, перед входом

в магазин. Мужчина шумно отряхнул снег со старого полушубка, размотал вязаный шарф, еще раз громко поздоровался. Его голос показался Альке знакомым. Это же Витечка!

– Здравствуй, Витя! – вежливо ответила продавец. – Замерз?

– Замерз! – Витя обрадовался, что ему ответили, сдвинул шапку набок, освобождая ухо, после чего вынул из тряпичной сумки алюминиевый бидончик, протянул продавщице и принялся обстоятельно рассказывать, что закончились хлебушек и молоко, а иначе он бы не пошел в магазин ночью.

– Лишь бы деньги не закончились, – еле слышно пробормотала продавец, зачерпывая из большого бидона жидкое, синеватого цвета молоко, наполнила Витин бидончик до самых краев. – Крышку не забыл? Обрато аккуратно иди, не торопись, чтобы не поскользнуться, молоко не разлить.

– Витя не торопится. Витя не прольет, – заверил Витечка не то добрую, участливую продавщицу, не то самого себя. Взял с прилавка буханку белого хлеба, скользнул взглядом по тортам, искал глазами что-то еще. Не увидев, вздохнул. Потянулся было за батоном, но брат не стал. Растеряно обернулся:

– Тетя Валя! Булочки где?

– Нет булок. Раскупили. Раньше надо было приходиться, днем.

Круглые навывкате Витины глаза погрустнели.

– Днем работал. Снег кидал. Много снега. Витя хочет булочку с молоком.

– Батон возьми. Без изюма, правда, но вкусный, – предложила продавщица.

Расстроенный покупатель помотал головой, зашептал что-то, достал кошелек и передал его тете Вале. Та высыпала монеты на прилавок, отсчитала, сколько нужно, остальное сложила обратно и вернула Вите:

– Спрячь в карман поглубже. Не оброни свой кошелек.

Алька топталась на пороге магазина, дожидаясь, пока Витя рассчитается, положит хлеб в сумку, спрячет кошелек в карман штанов, поднимет воротник полушубка, поверх намотает шарф, опустит ушки шапки, завяжет их под подбородком, наденет рукавицы, попрощается с продавцом.

Тетя Валя, занятая уже с другим покупателем, кивает Витечке, знает, что иначе он не уйдет, будет стоять и ждать, пока она ответит.

– Здравствуй, Витечка, – Алька с трудом проговаривает первые слова. – Ты булочки хотел. Возьми. Помяни мою бабушку, тетю Таню. Помнишь ее?.. Почему ты здесь, Витечка? Где живешь? С кем?

Витя в серой армейской шапке-ушанке ничего не слышит, но протянутые Алькой булочки берет. Улыбается широко-широко. Оглядывается на продавщицу тетю Валю, видит ли она его счастье.

– Девочка, раз ты его знаешь, отведи домой, донеси молоко, – поручает Альке сердобольная продавец. – Он живет недалеко, на первой улице от магазина, в бараке. Комнатку ему дали, как мать померла.

Так они и уходят: Алька – с тортом и молоком, Витя – нагруженный хлебом. Даже если свалится ненароком, ничего страшного не случится. Альку Витя не узнаёт, но принимает за старшую, послушно идет рядом.

\* \* \*

Дверь в его комнату не заперта. Витечка долго обметает веником снег с валенок, своих и Алькиных, развязывает шапку, снимает шарф, расстегивает полушубок. Берет, наконец, бидончик с молоком из Алькиных рук, поднимает глаза, силится ее вспомнить. Не узнает. Сникает. Готов заплакать.

– Витечка, – ласково говорит Алька, именно так всегда разговаривала с Витей ее бабушка. – Я внучка тети Тани. Она жила на одной улице с твоей мамой.

– Мама, – круглое Витино лицо расплывается в добродушной улыбке. – Мама...

– Я давно тебя знаю, Витя. Ты ходил в магазин мимо нашего дома, всегда подходил к бабушке, здоровался. Ты хороший, вежливый. Помнишь тетю Таню?

– Витя хороший, – соглашается Витечка. И это все, что он понял из Алькиных слов.

А она все не уходит. Ей надо это сказать, надо. Даже если он не поймет. В бабушкин день рождения Витечка тут как тут... через столько лет.

– Мы такие были дураки, – Алька запинается, глотая слезы. – Играли с пацанами. Я у бабушки катушку стащила. Нитки белые. Сороковка. Через дорогу их натянули, как струны, привязали к заборам с обеих сторон, а ты попался. Мама твоя тогда заболела, и вам кто-то предложил парного молока, вечернего. Поэтому ты не как обычно днем шел из магазина, а возвращался на велосипеде потемну. Бидончик с молоком дребезжал, на руль надетый. А тут мы с мальчишками... Ты упал тогда с велика... Нитки-то порвались, никто и не понял, почему ты упал. Молоко разлилось посреди дороги. На молочную лужу сбежались собаки. Ты так плакал... В голос... Мальчишки спрятались, а я с тобой осталась. Ты большой парень, а я маленькая, четыре года. Тоже ревела. Бабушка вышла, тебя успокаивала, помнишь? И мне слезы утерла. Добрая она была. Молоко налила в твой бидончик, корову подоила и еще не успела перепустить через сепаратор. Мы тебя до дома проводили, молоко донесли, а ты велик за руль вел. Нельзя по темноте ездить с молоком на руле. Но тебе очень нужно было для мамы, она болела.

– Мамы нет, – вспоминает вдруг свое горе Витечка. Но не плачет, а улыбается, на душе потеплело – мама его любила, всегда любила.

– Мама тебя любила, на то она и мама, – вздыхает Алька. – Умерла, и дом, наверно, продали, раз ты живешь здесь. Есть ведь родственники, наследники кроме тебя. Бабушка говорила, божьего человека обижать грех. Бог накажет. Прости нас, Витечка, если сможешь. Прости, пожалуйста. Помяни нашу бабушку, тетю Таню. День рождения у нее завтра. Хочешь, я тебе половинку торта отрежу? Или весь оставлю. Он вкусный. Будешь есть всю неделю, по кусочку. Возьми, Витечка, торт. Ты, наверно, такой не пробовал никогда.

– Торт, – улыбается Витя ласковому голосу и хорошему новому слову. – Торт...

– Ну, будь здоров! Я пойду. Припозднилась. Мама, наверно, волнуется. До свидания, – прощается Алька и с легким сердцем шагает в темноту.

На улице морозно. Тяжело дышать. Она укутывает нос шарфом, надевает на голову капюшон, прикрывает лицо рукой в белой пушистой рукавичке. Бабушка когда-то связала для ее вечно мерзнущих пальцев. И еще вторые – пуховые, внутрь.

– До свидания, мама! – несет ей вслед громкий голос Вити.

Алька оборачивается. Дверь в барак не закрыта. На пороге своей комнатки стоит вечный взрослый мальчик, обнимающий коробку с тортом. Инопланетянин. Божий человек.

## Денис ЛИПАТОВ

Родился в 1978 году в Горьком. Окончил инженерно-физико-химический факультет Нижегородского государственного технического университета. Работает инженером в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Автор книги стихов «Другое лето» (2015) и сборника рассказов «Науки юношей» (2018). Стихи и проза печатались в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «День и ночь», «Волга», «Урал» и других периодических изданиях. Лауреат премии журнала «Нижний Новгород».

Живет в Нижнем Новгороде.

## ОБМАНЫ ЗРЕНИЯ

С определённого времени Аркадий Меодушевский, мужчина до этого определённого времени вполне адекватный, здравомыслящий и даже преуспевающий, с тайной самодостаточной гордостью относивший себя к пресловутому среднему классу, стал явственно ощущать, что у него меняется зрение. Первоначально, когда изменения эти ещё не приняли столь катастрофического масштаба, они доставляли ему даже своеобразное удовольствие, сродни неожиданно открывшемуся таланту, некой забавной, редко встречающейся, но бесполезной способности, навряд ли сочинения стихов или пускания колец дыма во время курения, и ему и в голову не приходило заподозрить у себя какую-нибудь серьёзную болезнь или аномалию. Ну в самом деле, что такого тревожного или такого уж особенного могло быть в том, чтобы на тридцать каком-то году жизни заметить вдруг, что небо, например, может быть не только синим или голубым, а ещё и лазоревым, прозрачным и тонким, словно китайская фарфоровая чашка, а на море, по вечерам, даже и с зеленоватым отливом, словно море в себе отражая. Ничего удивительного не было и в том, чтобы уподобить горизонт лезвию, а багряный отсвет, оставшийся на нём после заката и ещё не до конца слизанный ночными купальщиками, специально для этого заплывшими так далеко, – стекающей по лезвию крови. Удивительное было в другом. Он вдруг заметил, что багрянец и пурпур – это не одно и то же и что перед восходом горизонт именно пурпурный, а после заката – багряный. Или, скажем, само солнце. В зависимости от времени года, времени суток и места наблюдения оно могло быть – апельсином, яблоком, гранатом... летом – головой верблюда, зимой – мордой рыси, а осенью, в деревне, в ясные и сухие дни – непременно тыквой. Этими своими наблюдениями и ещё некоторыми он как-то полушутя поделился с женой, но, видимо,

в несчастливую минуту, потому что она приняла всё это за банальные пристаивания и одарила мужа таким утомлённо-уничижающим взглядом, словно он признался ей в своём слабоумии или в слабости более постыдной, или вдруг в одночасье превратился из солидного преуспевающего делового мужчины в какого-нибудь, стыдно сказать, писателя, потому что кому же ещё в голову может прийти такая ерунда. С этих пор отдаление между ними, наметившееся, впрочем, уже давно, стало необратимым и даже приобрело ускорение, а брак превратился в чистую условность, как та самая линия горизонта, до которой никак не могли доплыть ночные купальщики.

Некоторое время он таился, наслаждаясь в одиночестве своим недугом. Благо дела были налажены, шли в гору и, что называется, на автопилоте и требовали самого минимального участия, так что вполне можно было позволить себе разглядывать пунцовые осенние восходы и багряные закаты, ловить в деревенской паутине скупое октябрьское солнце, дышать грибными запахами подмосковного леса, рассматривая какой-нибудь листочек, или иголку, или жучка, прилипших к склизкой шляпке боровика или маслёнка. Бродить по топким болотцам, воображая себя тургеневским охотником, – хотя на кого здесь теперь охотиться – перекачивая во рту такое интересное и едва знакомое только по давнишнему школьному чтению слово «вальдшнеп», с трудом представляя, как он вообще выглядит, да и кто это, собственно говоря, такой.

Но в Подмосковье было всё-таки людно, и грибники встречались чаще, чем грибы, а уж о вальдшнепах и говорить не приходилось, и поэтому для подобных прогулок был присмотрен и за какие-то смешные деньги куплен настоящий деревенский дом, где-то в Рязанской области. Деревня была почти заброшена: пять-шесть старух, одинокий дед-лесовик, какой-то местный дурачок. Старухи были такие дряхлые, что не держали даже кур, и поэтому петухов по утрам не было слышно. Даже собачий лай был редкостью. Так, забрешет иногда под вечер чей-то старый Полкан, тоскливо и сипло. Но Аркадия всё это почему-то вполне устраивало. Здешнее запустение, заброшенность, прозябание, медленное и безмятежное умирание почему-то легли ему на душу и не казались мерзостью. «О, мёд души моей, я нашёл для нас прелестный уголок!» – хотел он даже отправить издевательское сообщение жене, зная, насколько её раздражает эта его блажь, но хмыкнул и передумал. И просто написал, где его, если что, искать, и, не дождавшись даже уведомления о доставке, отключил телефон.

Как потом оказалось – навсегда.

Так он прожил почти неделю – ходил, бродил, высматривал, даже подстрелил какого-то невезучего селезня. А потом затосковал, запечалился. Но даже и в печали ему было хорошо и светло. Одиноко, грустно и привольно. Неспешно. Дни казались бесконечными и бездонными, мысли освободились, душа успокоилась. А тут как раз наладили дожди, дороги размыло, небо заволокло, лес выстудило, и казалось, что кто-то смотрит оттуда, из-за серой холодной мглы, выискивая, где бы согреться. Но избы, из тех, что на краю деревни, с пустыми глазницами выломанных окон, завалившиеся, чёрные и промокшие, не обещали тепла, а наоборот, сами, отчаявшись дожидаться его от людей, будто собирались податься в лес, сбившись в продрогшую и лохматую стаю.

И свой дом, единственный обитаемый на этом краю, показался ему ещё теплее, и уютнее, и милее в такие дни. Заняться было нечем,

и они принялись изучать друг друга. От старых хозяев остались «обстановка», кое-какие запасы в погребе и даже «архив». Всё это было тщательнейшим образом изучено и учтено. В погребе были обнаружены: несколько банок солёных чёрных и белых груздей, бочонок квашеной капусты, кое-какие мясные и рыбные консервы, настолько, правда, древние, что Аркадий пока не решился их использовать, разнообразные домашние разносолы, варенья, компоты и огромная бутылка мутного самогона или браги с самодельной рукописной этикеткой из обычного тетрадного листа «в линейку», синие чернила на которой, конечно, давно были размыты и буквы плыли перед глазами, словно читавший уже обильно хлебнул содержимого и растворил их своим дыханием, так что из написанного едва можно было разобрать – и то очень приблизительно – слова «настояна на...в... году» и «Ерофеич». Самогон был продегустирован прямо здесь, в погребе – благо маленький гранёный стаканчик нашёлся тут же, рядом, на полочке, и даже жившая в нём, видимо уже давно, паучиха не смутила Аркадия. Получив от него имя Акулины, она без разговоров освободила тару, хотя и посмотрела напоследок слегка укоризненно. Самогон был признан годным к употреблению и с величайшим почётом, уважением и осторожностью поднят наверх. Грузди были признаны годными без дегустации, за одно своё благородное имя, и тоже подняты наверх. Капустка заинтересовала, конечно. Была она щедро пересыпана большими, темно-рубиновыми ягодами клюквы, но весь бочонок поднять было, разумеется, невозможно, да и не нужно, поэтому взята была только небольшая часть.

Устроив себе такую изысканную трапезу, вдоволь наслушавшись под «Ерофеича» барабанной дробью дождя о стёкла, нагрустившись о собственном прошлом, о собственном настоящем, о собственном будущем, не сулившем, видимо, уже ничего нового, повспоминав, повздыхав, посетовав безмолвно, поразмышляв о жизни вообще, Аркадий, чтобы немного отвлечься, принялся изучать «архив».

Например, в разошедшемся ящике стола, выстланном старинными советскими газетами – «известиями» и «правдами» – были найдены простые школьные тетрадки, пожелтевшие и заскорузлые от времени. В них вперемешку, безо всякого разбора, были записаны чьи-то адреса, рецепты солений, номера телефонов, заговоры – «от падучей», «от зубной немочи», «от лихоманки», «от пьянства», опять рецепты, снова адреса, травяные сборы, наблюдения за погодой – «на Троицу – дождь», «на Пасху – ясно», какие-то даты и имена – «тятя година 13 июня», «Шуре – година 22 января» (кстати, Шура – это она или он – поди теперь узнай), даже стихи «о природе», «о деревне» – были опознаны Тютчев, Фет, Некрасов – («Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет...»). Вдруг попало на глаза что-то совсем необычное: после состава «от ломоты в суставах» на корняхх лопуха и опилках чаги следовал, так, мимоходом, какой-то странный текст, судя по всему приворот или заговор, озаглавленный «Приглашение Рыси»: *«Тётушка Рысь, приходи, тётушка Рысь, оборони, тётушка Рысь, вразуми, тётушка Рысь, покажи дорожку, а уж я тебе послужу немножко»*. А дальше снова как ни в чём не бывало: рецепт домашнего теста, «на Масленицу – зябло и снег», «Коке година – 17 июля». Только молитвы были переписаны в отдельную тетрадку. А на задней странице обложки, поверх таблицы умножения, опять это странное «Приглашение Рыси». Там же, в ящике, были обнаружены стопки открыток и писем, отрывные календари за много лет, какие-то полустлевшие документы – свидетельства о ро-

ждении, о браке, о смерти. Грамоты. Но главная часть «архива» – фотографии – по простодушной деревенской традиции были развешаны по стенам, в рамочках, за стеклом, иногда по несколько штук в одной рамке. Были здесь и свадебные и армейские фото, и старики, и дети, и внуки: девочки в бантах и с медвежонком, мальчики в бескозырках и тельняшечках. И, кажется, в одном из мальчиков он как будто бы узнал самого себя – во всяком случае, в детстве у него была такая же фотография – в бескозырке и тельняшечке. Вот они, эти же дети, но взрослее – уже в школьной форме и пионерских галстуках, а вот девочки – уже невесты, а мальчишки – женихи или солдаты. Чужая жизнь хвалилась своим полнокровием, плодовитостью и будущим благополучием, но она была уже прожита и пережита и, конечно, совсем не так и совсем не с теми. Фотографии пожелтели и выцвели – то ли от времени, то ли потому, что их давно уже никто не пересматривал. Кто-то из них, из этих девочек и мальчиков на фото, в такой спешке продавал дом, что ничего из этого – ни фотографий, ни писем, ни открыток, ни тетрадок из стола – не хватился, не пожалел, не забрал. Просто забыл. Или не хотел ничего этого помнить. Слишком всего этого много и слишком давно это было.

«О, мёд души моей!» – вздохнул Аркадий, поднимая стакан «Ерофеича» и разглядывая на свет его мутные бездны, прежде чем залпом осушить. И сразу же, вдогонку, не разглядывая уже, выпил ещё один и пошёл на двор покурить.

В груди становилось жарко и хорошо, словно там внутри распускался какой-то редкий алый цветок, а в голове образовалась такая невесомость и лёгкость, что вместе с выдыхаемым сигаретным дымом можно было, кажется, выдохнуть наружу и самого себя, всего, без остатка. Немного подумав, Аркадий так и сделал и повис густым сизым облаком в неподвижной сырой темноте. Повисев так некоторое время, он хотел уже совсем раствориться, развеяться, но безветрие и влажность не позволяли этого сделать, и пришлось медленно плыть в холодном и тяжёлом октябрьской хмарью воздухе, огибая лунные дорожки, непонятные ночные шорохи, кислые запахи слежавшихся опилок и гнилой листвы, обволакивая колючие ветки шиповника, обглоданную дождями сирень, одинокую несговорчивую рябину, и снова, неосторожно ступая по размытой и скользкой тропинке в чёрную, чавкающую жижу, то стелиться понизу по мокрой траве, то подниматься, цепляясь за ветки кустарника, вверх.

«О, мёд души моей, моя Аркадия!» – думал Аркадий, озираясь кругом, хотя темнота была такая, что хоть глаз выколи, но лицо его всё равно расплывалось в благостной хмельной улыбке, будто он и правда видел вокруг себя ту самую мифическую Аркадию, страну беззаботной радости, невинности и детства, с тёплым и ласковым морем, зелёными холмами, тенистыми оливковыми рощами.

Тут он заметил, что слегка потерялся в пространстве и в такой темноте не совсем представляет, в какую сторону идти, чтобы вернуться к дому. Это скорее позабавило, чем испугало. Хотел ещё закурить, но сигареты все переломались и намокли. «Это... как там у них было, – подумал он, весело, с вызовом, ухмыльнувшись, и закричал в темноту: – Матушка Рысь, приходи... это... оборони...а, дорожку, дорожку покажи! Матушка Ры-ы-ысь!»

Ага. «А, ещё, ещё вот вспомнил: дорожку, покажи дорожку, а уж я тебе послужу немножко!»

И действительно, как нарочно, вокруг стало как будто светлее: то ли луна вышла из-за облаков, то ли на другом краю деревни кто-то, разбуженный его криками, чертыхаясь, включил в доме свет и выглядывал в окно, то ли на востоке, над горизонтом, скрытым правда редким продрогшим лесом, приближающийся восход уже рассеивал мглу, окрашивая небо в спелый пурпур. Тропинка стала видна, и Аркадий, хмыкнув – ну надо же, – осторожно, стараясь уже больше не поскользнуться и не падать, хотя это у него плохо получалось, пошёл к дому. «Ерофеич», поди, заждался.

«Всё-таки она сама виновата», – подумал он вдруг и даже не сразу понял, что это он о жене, а когда понял, то стал гнать от себя эти мысли – хотелось обратно, в Аркадию, в страну беззаботной радости, невинности и детства. Но обида, как назло, словно квашня, пухла и лезла наружу, то ли из сердца, то ли из головы, то ли отовсюду сразу: «Не любила, не понимала никогда, изменяла... Сама, сама виновата, я так не хотел». И ведь, кажется, на целую неделю удалось о ней забыть, не думать обо всём этом кошмаре, так хорошо было! А тут – на тебе! Опять!.. Здесь, на свету, Аркадий наконец увидел, что в кровь изодрал о колючки ладони и, судя по всему, ещё и лицо, когда цепляясь за ветки шиповника пытался подняться с мокрой травы. «Этого ещё не хватало!» – подумал он с досадой. Кровь только разозлила. Обида лезла уже из ушей. Аркадия потонула в ней, как Атлантида. И снова, как заевшая пластинка, завертелось: «Сама виновата, сама, я так не хотел, сама, сама!»

– Конечно, не хотел, конечно, сама-а-а, – зевнул кто-то рядом.  
 – Ещё с этим козлом путаться начала, обобрать меня задумали!  
 – Алчная сука! – согласился кто-то.  
 – Как я сразу-то не разглядел!  
 – Обманы зрения, – спокойно объяснил кто-то. – Обычное дело.  
 – Довела, – не унимался Аркадий. – Я так-то мужик добрый. Сама виновата, сама!

– Конечно сама-а-а, – опять зевнул кто-то. – А у тебя тонкая душевная организация. А она – алчная сука. А ты различаешь голубой и лазоревый, багровый и пунцовый, пурпурный и сиреневый, зелёный и фиштакшковый. Ты, Аркаша, почти поэт. А она всем говорит, что импотент и извращенец. Хотя, знаешь, сказать по совести, это всё тоже – обманы зрения. Нет ничего этого – ни багрового, ни пунцового, ни зелёного, ни синего, ни жёлтого, ни даже красного – всё серое на самом деле. Так что всё ты правильно сделал.

– Я так не хотел. Она сама виновата.  
 – Да чего ты оправдываешься всю дорогу: хотел – не хотел! Ну, подумаешь, попросил старого приятеля решить вопрос с опостылевшей женой, с которой без убытка для бизнеса не развестись, а сам, пока вопрос решается, спрятался в глуши, чтобы алиби себе обеспечить и психику не калечить. Ничего особенного. Сейчас все так делают.

– Да ничего похожего! Я не об этом его просил!  
 – Ой, да ладно. А то ты не знаешь, с кем дело имеешь! А то не он тебя крышевал когда-то! У него сколько ходок? За что сидел? Вот то-то же. Но ты, кстати, не переживай. Приятель твой наркоман со стажем, а ты ему вперёд заплатил. Так что, по всему выходит, кинет он тебя: купит на все твои деньги наркоты позабористей и отвалит. А про дело даже и думать забудет – что он дурак, что ли, чтобы на ровном месте самому себе срок рисовать, да ещё по такой тяжёлой статье? В общем, жива

она, «мёд души твоей», сама виновата, а жива и ещё здоровее прежнего себя чувствует. Но попытка тебе, мон шер, всё равно – засчитана.

– Да ты кто такой?!

– А ты не видишь? – опять зевнул кто-то и посмотрел снисходительно и грустно.

Тут только Аркаша протёр глаза: перед ним сидела огромная, самая настоящая – рысь! От изумления и ужаса его прохватил такой озноб, такие судороги скрутили живот, что он, как давеча у шиповника, чуть было не выдохнул всего себя вонючим дымным облаком вместе со всей своей требухой и не растворился без остатка в предутреннем тумане. Но на самом деле ни толком вздохнуть, ни тем более выдохнуть у него не получалось. В тоскливой надежде, что, может быть, всё это очередной обман зрения или алкогольная галлюцинация – на чём там настоян этот «Ерофеич», – Аркаша, держась за живот и стараясь всё-таки *туда* не смотреть, спросил:

– Неужели в этих облезлых лесах ещё водятся рыси?

– Ну, как тебе сказать, – задумалась Рысь и тоже посмотрела куда-то в сторону. – Я же не совсем обычная рысь. Я – Рысь. Тотемное животное. Мне можно.

Аркаша всё-таки осмелился рассмотреть её, пока она отвела взгляд. Натуральная такая, большая рысь. Но откуда? Рысь словно услышала его и ответила, опять посмотрев на Аркашу снисходительно и грустно:

– Ну ты же сам меня приглашал, пьяный голосил тут на всю тайгу: матушка Рысь, тётушка Рысь – матушка мне, кстати, больше нравится, – приходи, оборони, покажи дорожку, послужу немножко. Ведь звал же? Звал. Я пришла? Пришла. От злой кручины оборонила? Оборонила. Дорожку показала? Показала. Вразумила? Хотя про «вразуми» ты забыл, но ведь вразумила же.

– И что теперь? – спросил Аркаша, чувствуя, что его снова прихватывает.

– Что теперь, что теперь, – вздохнула Рысь. – Заклинание древнее, просто так, за здорово живёшь, не объедешь. Да ты что, думаешь, мне самой, что ли, прям так уж приятно к вам сюда бегать? Да ни в жисть! В общем, придётся тебе послужить, как обещал.

– Чем послужить-то? – спросил Аркаша, смирившись. – Чего делать-то?

– Ну-у, был бы ты нормальный человек, и чашки молока с тебя хватило бы, хотя у вас тут и коровы-то никто не держит... Но поскольку ты теперь один из нас...

– В смысле – «один из вас»?

– В смысле, что ты уже третий час здесь на четвереньках вокруг дома ползаешь и считаешь это нормальным! Рожа у тебя вся исцарапана, гадишь ты прямо в штаны. И после этого ты хочешь сказать, что ты человек? Нет, ты не подумай, я не осуждаю – я как всякое психически здоровое животное – вне морали. Я просто констатирую очевидные факты. И потом, я же говорила, что твоя попытка, пусть и неудачная, но засчитана. Словом, Аркаша, нельзя тебе ещё к людям. Побудешь пока с нами.

– Надолго?

– Увидим. А насчёт того, что делать... – тут Рысь зажмурилась и, вытянувшись на траве совсем как домашняя кошка, промурлыкала: – Я вот думаю замуж за тебя сходить. Будешь мне говорить «о, мёд души моей», охотиться для меня, нору поглубже и попроторнее выроешь.

Мне новая нора ох как нужна сейчас! И вообще, у нас там хорошо: свобода – никаких тебе банков, долгов, кредиторов, ипотек! Воздух, опять же, свежий, природа, всё натуральное, на работу ходить не надо! – морда её расплылась в блаженной улыбке, а лапы дотянулись до самого Аркашиного лица.

Тут только Аркаша поймал себя на мысли, что всё это время, разговаривая с ним, Рысь не открывала пасти, да и сам он тоже, похоже, давно уже в этом не нуждался – ворочать языком, произносить слова, выговаривать буквы – голоса – его и Рыси – просто звучали в головах, достаточно было только посмотреть друг другу в глаза. Никогда и ни с кем, даже с самыми близкими и любимыми, у него не было такого. Аркаша, правда, не помнил сейчас точно, были ли в его жизни такие люди, а если и были, то кто и когда, но сама возможность, общаться вот так, напрямую, без звука – изумила и заворожила его.

– Ну что, пошли? – сказала Рысь, устремив взгляд в сторону леса. – Покажу тебе ещё дорожку.

И Аркаша, втянув всей мордой предутренний холодный туман, ответил:

– Пошли.

И они пошли.

Рано утром Марья Даниловна и Устинья Егоровна – две самые продвинутые и наименее дряхлые местные старухи – отправились в неблизкий путь, на другой конец деревни. Они решили всё-таки свести знакомство с новым соседом, который дней десять как поселился в пустующем доме старой Якимихи. Сосед был, по всему, не бедный – приехал на большой машине, с прицепом, – но какой-то нелюдимый: то бродит целыми днями по окрестным лесам с ружьишком, как какой-нибудь Пришвин малахольный, то сидит дома как сыч, носа не кажет, глушит, как не в себя, самогон, что ещё от Якимихи остался. Потому что а что же ему ещё там делать? Хоть и не бедный, а антенну-тарелку на крыше не стал устанавливать, а значит, и телевизора, как не было у Якимихи, так и у него нет. А у Марьи Даниловны и Устиньи Егоровны – был. Их дети ещё не забыли. Сама Якимиха, после того как дети и внуки совсем перестали её навещать, года два уже как пропала. Пошла, старая, в лес и не вернулась. И хотя леса тут и не слишком густые – да если правду сказать – одно только название – леса, а на самом деле – редколесье, сплошные проплешины – всё равно – искали, искали, а не нашли. Хотя не особо и искали-то, конечно. Ну так, приехали из лесхоза егеря, человек пять или шесть, попили недельку Якимихино самогона, покурили, походили по окрестностям день-другой да и вернулись ни с чем. М-да. Так, видно, и дотлевают её косточки где-нибудь под ёлочкой или сосной. Хотя деревенский дурачок Петя, который зачем-то увязал тогда за Якимихой, уверял, что нет, не дотлевают. Говорит, что видел тогда из-за старой сосны, как тётка Якимиха обернулась рысью и скрылась в чаще. За Якимихой и правда всю жизнь водилась слава то ли колдуньи, то ли ворожеи, но чтобы вот так, чтобы обернуться рысью – это навряд ли. Да и рысей в здешних лесах отродясь не видели. Ну могла она там, наверное, приворожить кого-нибудь или зуб заговорить... Но рысью...

– Брешет, дурак! – уверенно подытожила Марья Даниловна.

– Отчего же ему не брехать? На то он и дурак! – согласилась Устинья Егоровна.

Они уже подходили к дому Якимихи, когда что-то серьёзно их напугало. Сначала они даже не поняли, что именно, а только ноги не шли, языки будто отнялись, все русские слова в голове перепутались и забылись, превратившись в какую-то чепуху, а вокруг настала такая гробовая тишина, словно всякая божья тварь, по всей земле, затаила сейчас дыхание. Совсем рядом послышался какой-то унылый и протяжный скрип или треск.

– Же суи Шарли Эбдо, – простодушно сообщила Устинья Егоровна и с виноватым видом зажала нос.

– Какое ещё эбдо? Что ты мелешь, дура! Же суи Иван Голунов! – зашипела на неё Марья Даниловна, озираясь по сторонам и стараясь понять, кто и откуда за ними наблюдает. – Не бзди, старая! Прорвёмся! – Марья Даниловна была побойчее и покрепче и явно не собиралась сдаваться, а даже и дать отпор, если нужно.

В следующую минуту из высокой пожухлой травы, навстречу им вышли две огромные, просто каких-то ненормальных размеров, кошки, натуральные рыси, даже с кисточками в ушах, и, усевшись напротив, не очень даже и далеко, нагло на них уставились. Один был явно котом, и морда у него была такая свирепая и нахальная, да ещё вся и расцарапанная, что было понятно – Марья Даниловна и Устинья Егоровна помешали чему-то очень важному и он этим недоволен.

Бедные старушки, решив не связываться, тихонечко развернулись и побрели восвояси, совсем даже забыв, зачем они вообще сюда приходили.

– Ах, мон шер Жюстин, почему мы такие старые! – вздыхала Марья Даниловна.

– Селяви, мон ами, селяви, – отвечала Устинья Егоровна.

– Селяви-то селяви... а всё же обидно...

Аркаша и Рысь ещё немного проводили их равнодушными взглядами и скрылись в траве.

## Сергей КРИВОРОТОВ

Родился в 1951 году. Образование высшее, работал врачом-кардиологом. Автор книг «Корзинка с именами» («Edita gelsen», г. Гельзенкирхен, Германия, 2014), «Ромео может не успеть» (изд-во Стрельбицкого, Киев, Украина, 2017), «Дочь Леса» (ИД «Городец-Флюид» г. Москва, Россия, 2020), а также многочисленных литературных публикаций в российской и зарубежной русскоязычной периодике.

Серебряный лауреат Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Сказка» (2006), а также конкурса журнала «Нива», Астана, Казахстан (2010) в номинации «Короткий рассказ».

Живёт в Астрахани.

## ДОЖДЬ В ГОРОДЕ

Посмотри на город, посеревший и сжавшийся под косыми струями дождя. Внимательно посмотри и... ты всё равно не увидишь своим неопытным глазом всех его тайнств, всех его чудес. Ты не увидишь мириады и мириады маленьких хрустальных гвоздиков, выскакивающих из луж при падении множества капель, не различишь в сплошной понурой картине всего богатства оттенков от серо-стального с серебряным отливом до чёрно-матового. Ты вряд ли отыщешь нетренированным взглядом влюблённых, спрятавшихся от дождя, но они повсюду то тут, то там: и под козырьками парадных, и в тёмных подъездах, и в прошедшем троллейбусе, и даже где-то совсем-совсем рядом. Но ты не услышишь за шумом дождя их то нежного, то страстного шёпота. Ты даже не различишь звуков, из которых состоит этот шум, посчитав его монотонным и бесцветным. А в нём и весёлая барабанная дробь по железным листам крыш, и грохот разбиваемых об асфальт водопадов из водосточных труб, и робкий торопливый стук в окно струи, отклонённой порывом ветра. Слышишь? Это и журчание бурлящих потоков, проваливающихся сквозь сточные решётки, и шорох дождя, угодившего в густые кроны сада.

Город затих, отдавшись во власть небесной стихии. В воздухе нет уже недавней пыли и сухости. Он досыта напоён влагой, земля ещё жадно глотает подношение неба, чтобы вскоре щегольнуть гораздо более пышным зелёным нарядом, чем прежде. Лишь асфальт с равнодушным презрением разбивает потоки дождя, не ведая ещё, что они незаметно подтачивают его броню.

Посмотри внимательно, и ты увидишь всю красоту омытого дождём города, отражения первых зажегшихся огней в реках мокрого асфальта и счастливую улыбку девчонки, идущей босиком по тёплым летним лужам. Иди за ней, смейся и пой вместе с ней. Сочиняй стихи, дыши полной грудью, пока можешь. Или ты не чувствуешь, как дождь, очистивший крыши домов, улицы, сады и парки, унёс с собой всё ненужное, то, что давило тебя, угнетало, портило настроение и омрачало сегодняшней день?

Тем временем вечер незаметно приблизился, и дождь затихает, оставляя тебя наедине с городом. Если ты не чувствуешь всего этого, не видишь и не слышишь, а мерный шум дождя лишь убаюкивает тебя, то зачем ты есть? Зачем ты существуешь? Ведь ты не ощущаешь всей полноты жизни, даже если можешь оценить прелесть полевого цветка в лучах восходящего солнца на рассвете. Но та красота слишком явна и очевидна. Нет, взгляни на город, безмолвно застывший под бесцеремонным натиском дождя. Внимательно посмотри, не теряя времени, чтобы не пропустить ничего.

А для меня всё это уже в прошлом. Я есть, но меня словно уже нет в этом городе. Я обречён. Возможно, поэтому в преддверии близкого конца так обостряются все чувства и начинаешь видеть, слышать, обонять, ощущать и различать столько нового и необычного в давно знакомом, и, казалось бы, обыденном. Мне осталось жить месяц, может быть, немногим больше или меньше. Но я знаю, что конец близок и неминуем. Страшная болезнь, перед которой всё ещё бессильна медицина, незаметно подкралась и обрекла меня. Я сам врач и прекрасно разбираюсь в результатах исследований, от меня ничего не скрыли, только попытались смягчить впечатление, но я сам прекрасно знаю, что показали тесты. Хирургическая операция, химиотерапия, облучение – всё уже совершенно бесполезно, слишком поздно. Всего месяц жизни остаётся, хотя пока я чувствую себя вполне бодро.

Дождь стихает, и все запахи, звуки, краски сумеречного омытого города набрасываются на меня. Я чувствую их острую пьянящую свежесть, как никогда раньше. Нет, я не хватаюсь за остаток жизни, словно утопающий за соломинку. Только странно и обидно умирать в двадцать восемь, так ничего и не успев сделать из намеченного, не дойдя до цели даже половины пути. Я не сделал ничего такого, чтобы меня могли помнить не только родные и близкие, пройдёт совсем немного времени, и меня забудут совсем. Смерть не ужасает меня, как прежде, это удивительное свойство человека – примириться и принять её неизбежность, не думать о ней, обмирая от страха. Просто тебя не будет, вот и всё, а жизнь из-за этого не остановится. Это трудно, пожалуй, даже невозможно представить, но это действительно так, и у подведённой черты жизни, обернувшись назад, я с отчаяньем вижу, что не создал почти ничего, не реализовал даже доли своих возможностей, своих скрытых способностей, не принёс людям никакой ощутимой пользы, даже тем, кто был и остаётся рядом со мной, что уж там говорить обо всём человечестве! Я не сделал ни для кого ничего такого, что помогло бы им осознать мою незаменимость для них. Остался только месяц, и ничего уже не успеть теперь. А у меня нет даже ни сына, ни дочери, я не оставляю после себя ничего стоящего. Более того, я никого не люблю, и лишь где-то дома пылится карандашный набросок выдуманной, несуществующей девушки, которую я так и не встретил и которую мог бы полюбить.

Я иду сквозь утихающий дождь и смотрю на мокрый город, может быть, в последний раз. Почему раньше я не видел, не понимал этого дождливого великолепия, открывшегося передо мной только теперь? Понимание приходит слишком поздно! Кто знает, может быть, вон та черноглазая длинноногая девчушка в ярком плаще, спешащая мне навстречу, ещё могла бы стать моей единственной и неповторимой...

Но я иду мимо, слишком поздно. Город после дождя пьянит меня, мне не нужно ни вина, ни сигарет, ничего другого, что могло бы оглушить, одурманить мозг, заставить не думать о будущем, которого у меня уже нет. Я просто растворюсь в этих чистых родных улицах, переулках, парках, огоньках. Я так почти нигде и не побывал за свою недолгую жизнь, кроме своего города, здесь и останусь...

Как я хочу, чтобы все постоянно чувствовали, ощущали мир во всей полноте, как это открылось мне сейчас. Как сделать, чтобы было именно так? Какие резервы нашего сознания нужно пробудить для этого? Снова кто-то идёт мне навстречу... Надеюсь, ещё не старуха с косой? Но это всего лишь призрачная вереница воспоминаний...

А жизнь продолжается во всех своих скрытых от посторонних глаз проявлениях, и ты иди вместе с ней. Живи за себя и за меня, люби и твори, что сможешь, делай жизнь своими руками. Смотри на неё моими глазами, чувствуй всё её многогранное разнообразие. Умей найти её блеск даже в кажущейся серости и хмари. Для начала внимательно посмотри на город, пробуждающийся после дождя...

## ЛИЦО В ТОЛПЕ

Это лицо просто до боли знакомо, до невозможной боли. Лицо, выхваченное из толпы, словно высвеченный лучом проектора застывший кадр киноленты. Трудно сказать, что в нём такого, притягивающего внимание, заставляющего отдать предпочтение перед множеством других, мелькающих в толпе одно за другим. Среди верениц не задерживающихся на себе взгляда, оно – как удар, как вспышка, как новая строка.

Может быть, этот выбор не больше, чем уловка памяти, старающейся вспомнить нечто давно забытое, напоминаемое этим лицом, или просто её ошибка?

Шевелящиеся губы в обрывках слов, мимолётные равнодушные, будто блеск в стёклах проходящего троллейбуса взгляды, случайная улыбка, словно первая капля дождя в душный день – лица поодиночке и целыми группами – мимо и мимо, и мимо.

Но это лицо сразу воспринимается крупным планом, притягивая к себе курсор внимания, к нему нет неприязни, нет безразличия, скорее, какая-то необъяснимая мгновенная симпатия и вслед за ней любопытство. Оно мелькнёт и исчезнет в толпе, но этот миг растягивается в восприятии. Само лицо уже пропало, затерялось среди множества других, его уже нет перед тобой. Иные лица выносятся навстречу, мелькают и исчезают, уступая место новым и новым, не привлекая такого внимания. Но этот образ отпечатывается в зеркалах памяти нестираемым файлом, умноженным тиражом, бесконечным копированием, словно пропущенный через фасеточную линзу перед объективом камеры.

Это надолго. От него не отмахнёшься, точно от роя назойливой мошкар, ещё не раз будет оно вспоминаться, может быть, даже всплывёт когда-нибудь во сне, всплывёт, как диалоговое окно на фоне прочих воспоминаний. Встретить его опять трудно, почти невозможно в большом городе, но всё-таки пусть ничтожный шанс, но имеется. И если такое случается вопреки теории вероятностей, память снова натягивается в струну в пароксизме тщетного воспоминания – да и что вспоминать – ведь это не больше, чем случайное лицо из толпы.

Почему же всё-таки оно привлекает взгляд, кажется более значимым, чем есть на самом деле? Неуловимый штрих, непередаваемая ускользающая чёрточка, невозпроизводимое движение губ, глаз или что-то иное, присущее только ему, обязательно должно иметь место. Незаметное, недоступное для описания с одного взгляда, но позволяющее наделить это лицо чем-то воображаемым, отсветом своих мыслей, несуществующим на самом деле, словом, мнимой значимостью.

Оно столь властно требует вспомнить себя именно потому, что кажется таким важным для тебя, но вспомнить его в подробностях нельзя – ведь это всего лишь лицо из толпы, единичный эпизод в бесконечном слайд-шоу случайных портретов. Конечно, невольно хочется узнать его поближе, мнится, в нём есть что-то жизненно необходимое, очень нужное именно для тебя. Но, если даже это случится, оно перестанет быть просто лицом в толпе и сразу превратится в привычного конкретного человека, которого ты узнаёшь сразу и без труда среди множества прочих, к которому будешь испытывать определённые чувства. И тогда с разочарованием убеждаешься, что не можешь получить ожидаемое прежде то, чего у него нет, и никогда не было.

Но восприятие не терпит пустоты. И уже другое до боли знакомое лицо мелькнёт в толпе, настолько мгновенно узнаваемое, что невольно захочется поздороваться с ним, окрикнуть, задержать, и всё же ты его не знаешь. Не пытайся остановить этого человека, найти ответы на мучающие тебя самого вопросы – это бессмысленно.

Помни, может быть, и очень даже вероятно, что для кого-то из спешащих навстречу незнакомцев и незнакомок и твоё лицо в любой момент покажется таким знакомым и близким, хотя никогда прежде вы не встречались, или же встреча эта была столь же мимолётна. Но лицо твоё будет для кого-то до боли знакомым лицом в толпе.

## Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Родился в 1971 году в Правдинске Горьковской области. Дважды с отличием окончил Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского. По первому образованию физик, по второму – финансист. Работал в университете, в банках, в бизнесе.

Живет попеременно в Нижнем Новгороде и Горбатове, Нижегородская область.

## ТОРТ

Однажды, в далёком уже советском детстве, ездил я с родителями в город Ухту в Коми АССР к родственникам с семейным визитом. Город Ухта знаменателен прежде всего тем, что там в XVI веке впервые в России обнаружили нефть. Прямо в реке, собирали с поверхности и в заводах. Собственно, через 400 лет стратегическое назначение города не изменилось. Добавился ещё газ, трубопроводы, вырос масштаб и размах, но основа сохранилась. И невозможно, вспоминая те времена, отделаться от мысли, насколько разные судьбы переплетались в процессе освоения необходимых стране ресурсов.

Отец мой работал в Ухте в стройотрядах исключительно на добровольной основе, за приличные по тем временам деньги. Он о периоде времени после получения денег, заработанных в студенческом стройотряде, всегда вспоминал, как о самом богатом в своей жизни. Рассказывал, что деньги лежали в чемодане под коечкой в студенческой общаге, и он брал их сверху, не считая и абсолютно не задумываясь, сколько же ещё осталось. Ну, это пока семья не появилась – я, то есть, в частности... (Тут, я думаю, у всех наступает кристально чистое понимание смысла слова «синергия»). Вот живут парень и девушка в разных комнатах в общаге, и каждый свой бюджет считает самодостаточным и даже порой избыточным. Но стоит им объединить свои усилия в деле продолжения рода человеческого и организовать ту самую «ячейку общества», как самым непостижимым образом деньги немедленно заканчиваются. Синергия!)

Дед же мой по маминой линии тоже работал в Ухте (там и часть семьи поэтому осталась). Только не добровольно, а совсем наоборот, по принуждению. Был он, как сейчас принято говорить, «репрессированный». В семье это никогда активно не обсуждалось, и правды теперь от старших родственников не добиться – настолько уже всё искажено пропагандой «ужасов ГУЛАГа» за последние десятилетия. Мне лично представляется,

что наиболее правдоподобная причина смены местожительства с тёплого Измаила на холодную, но необходимую в народном хозяйстве Ухту, проскочила как-то в мамином рассказе о деде – в упоминании контрабанды по Дунаю из Румынии. Конечно, мотив основной понятен: не самое сытное время, семья опять же, детей кормить надо и желательно – хорошо. Вот и рискнул дед Иван свободой. Риск – дело, конечно, благородное, но наказуемое. А в Советском государстве с наказанием по заслугам всё было очень просто. Нарушил закон – поезжай! Молодому государству рабочие руки много где нужны. (Неизбежное следствие неотвратимости наказания – только 6,5 тыс. убийств в СССР в 1940-м году против 30,8 тыс. в России 2005 года. То есть при снижении численности населения – рост преступности почти в 5 раз!) В общем, деда в живых я не застал... А вот шумное семейство ухтинских родственников мы навещали несколько раз. Нечасто, правда. Далеко и холодно...

Расскажу об обстоятельствах одного из таких визитов. Мужчины, как принято, уже остограммились, курят на лоджии. Мама с бабушкой и тётей на кухне обеспечивают нас горячим питанием. Нам же с двоюродным братом Иваном торжественно вручают трёшницу и отправляют в магазин за сладким. Мы, окрылённые предвкушением, набираем обороты ещё до старта – чисто болиды «Формулы-1» – и несёмся за тортом!

Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой... А нам какая разница! Магазин, муки выбора, очередь. И вот... бело-кремовое чудо упаковывается в картонную коробку, перевязывается лентой. Нежно берём его с Ванькой и выходим на улицу. Не помню точно, кто нёс. Дальнейшие события напрочь стёрли из памяти эту несущественную деталь. Спускаемся с крыльца магазина. Осень, слякоть, но настроение отличное! Ура!.. И в этот момент... Верёвочка, связывавшая коробку, развязывается...

Плюх! Это наше великолепие падает на грязный асфальт тротуара. Что творится в двух пацанских сердцах и душах! Это сейчас торты покупают когда захотят. Раньше – по праздникам! Это сейчас самый мелкий кренделёк завернут в салфеточку, потом упакован в коробочку, помещён в пакетик и намертво «принайтован шкертиком». А тогда картонная коробка, пока мы осознавали трагедию и впечатывали её в память так, что и через 40 лет не вытравить, моментально пропиталась тротуарной жижей. Вожделенное произведение кулинарного мастерства намokло и разъехало, по крему поползли грязно-контрастные потёки. Ужас! Была мысль спасти хотя бы часть методом немедленного поедания из лужи, но нет! Торт так быстро пришёл в полную негодность, что не решились мы.

Когда мы явились домой, выражение наших лиц было, видимо, очень даже «говорящим» – слов почти не потребовалось. Получена новая трёха. Испытаны муки повторного выбора (второй шанс – точно последний, надо использовать на все сто). Куплен и съеден точно такой же торт.

Возвращаюсь из «Спара» с тридцатью тремя коробочками в пакете, с завернутыми в шестьдесят шесть салфеточек разными кондитерскими вкусоностями, глядя на промозглую сырость сегодняшнего осеннего дня... И хочется мне сказать: «Слава родителям!» Так и скажу!

Слава родителям!

## ВЗГЛЯД

Звонок сквозь дрему. Телефон. Мама звонит, я знаю, договаривались. Встаю, шлёпаю по рыже-коричневому линолеуму в соседнюю комнату к телефону с трубкой на спиральном шнуре. Поднимаю.

– Серёжа, уже без двадцати десять!

– Что?! Как?! Мам, договаривались же!

Трубку – бах! В голове... А у вас тут матом ругаются? Нет? Тогда: «Как же я огорчён! Безмерно!.. Сорок минут!..»

Сорок минут назад я должен был стоять на лесоторговой базе на Керамике и ждать отца. Доски грузить. Это теперь купить можно всё даже ночью, а в 1986-м лесоторговые базы работали точно так же, как и инженеры, с двумя выходными. Чтобы купить доски, отцу надо было отпроситься с работы и сделать всё максимально быстро. А подводить отца у нас в семье было не принято! Грузчики, машины для перевозки наготове – тоже из сегодняшнего дня. Раньше с этим было далеко не так просто.

Зубы мои остались не чищены. Чего уж вспоминать про завтрак! Мысль работает как компрессор – монотонно и отчётливо: «Автобус! 30-ку ждать и час можно. 37-й от завода Ульянова поворачивает, ещё туда ехать...» А в промежутках: «Как же я огорчён! Безмерно!»

Я бежал.

Выдыхался, переходил на быструю ходьбу, чтобы восстановить дыхание. И снова бежал. Площадь Жукова – «Салют» – мясокомбинат – «Керамик». Сердце в горле уютненько так устроилось, котомочку уже развязало и тапочки домашние достало... А как теперь, с таким началом, ещё на автобусы рассчитывать, если даже родная мать?!

И я успел...

К шапочному разбору. Отец стоял рядом с загруженной уже машиной и что-то говорил водителю.

– Пап, привет.

Он ничего не сказал. Просто посмотрел. Не гневно, нет, пронзительно. Так посмотрел, что все слова оправдания, которые готовы были из меня вылететь первыми, с размаху в этот взгляд и врезались, а последующие стали на них сверху насакивать, переворачиваясь, как полицейские автомобили в фильме Люка Бессона «Такси». Только фоном была не Эйфелева башня с французской гармоникой, а чувство бессильной вины... Да и как оправдаешься?

Разгружали в гараже вместе. Потом он на работу убежал. А досочки те до сих пор у меня в гараже на полу лежат, пол этот, собственно, и образуя. Пользуемся тем, что родители строили – в гаражах и характерах.

Ненавижу подводить и опаздывать!

## ДОРОГА

Есть такое чувство – предвкушение счастья, наступающее человека, когда он в знакомой обстановке стремится добраться до места, где ему будет хорошо. И человек точно это знает, потому что не впервой. Возможно это, например, в вагоне поезда, едущего к морю. Или в самолёте, летящем по привычному маршруту Москва – курорт. Мне же достались салон автомобиля и дорога Нижний Новгород – Кинешма вдоль Волги.

Осваивали мы когда-то этот путь с отцом, в далёком теперь 1986-м году, на его первой и последней машине – «копейке», ВАЗ-21013. Потом ездили многократно. Минимум дважды в год. Сначала вдвоём – это самое лучшее. Да простят меня дамы, ехать только мужской командой – совсем не то, что с женщинами. Ничего-то нам не надо, и ничего мы не боимся. Нас двое, а это уже сила! И всё у нас хорошо! Разговор мужской, неспешный... Позже ездили с шиком, порознь, на двух машинах – это когда у меня уже своя «пятёрка», ВАЗ-2105 появилась. Но на одной, вдвоём с отцом, всё равно лучше...

И довелось мне на прошлой неделе повторить этот маршрут. Не ездил там лет 15 уже. Пришлось. Сказать, что дорогу помню наизусть, уже не могу. Подзабылось, да и поменяться могло многое за это время. Однако, несмотря на плотный туман, каждый поворот узнаётся с ходу, и ощущение – что вчера последний раз ездил. И чувство... Вот то самое предвкушение счастья временами поджидает за очередной деревней – Обжериха или Катунки, Сицкое, Новленское. На Троце, как всегда, рыбой торгуют.

Поворот на Юрьевец. У самого Юрьевца – место, где отец перевернулся в кювет. Я за ним ехал на «пятёрке». Вдруг, как в кино, в одну сторону занесло, в другую, он почти вырулил, но закрутило и, под занавес, багажником о столбик у поворота ударило, «копейка» перевернулась – и в кювет на крышу. Я скорость сбросил, остановился аккуратно, выскакиваю и... чуть не падаю на асфальт – он весь тоненькой корочкой льда покрыт. И не видно совсем – такой же чёрный асфальт, как и везде. Но! Ветер с Волги боковой сильный и температура – около нуля. Вот и обледенел этот участок дороги. О зимней резине и не знали в то время – что бывает такое счастье. Вот на «ноябрьские» и махнули, как были, на летней. Маленько не доехали... Обошлось. Слава богу! Спасибо, что взял деньгами.

Отец ударился только, но когда машину вытащили, сам за рулём назад добрался. Восстанавливали её потом совместно. Стойки домкратом к дереву вытягивали, металл на крыльях и дверях выжимали на место и разными гладкими палками выводили. Шпатлёвка, шкурка, покраска. Справились под командованием знающего человека своими силами.

В одном месте только потом пришлось поролончик подклеить, чтобы ветер на скорости не свистел в щель.

Однако не каждый раз так неудачно складывалось! Бывало, что и доезжали. Километра за три до цели дорога кончалась совсем. Вот же оно – счастье! Рукой подать! Осталось-то – пешком быстрее дойдёшь! Нет. Остановливаешься, вылезает, цепи на колёса крепишь. Иначе на той дороге и лесовозы вязли, а было дело, и трактора. Называли эту дорогу пыльная, так и говорили: «Ну, на пыльной, напротив магазина...» Это потому что летом на ней нога в пыль по щиколотку уходила, как в сухой свежий цемент, если вы понимаете. Так это летом. А осенью: вода плюс пыль неизбежно и тождественно равняется грязь. В поле на ветру ещё подсыхать успевает, не такие колеи выбивают. Пока же сквозь лес идёт эта пыльная... Вот там-то трактора и вязли, короче.

Первый раз, понятно, без цепей ринулись. Наивные! Грязевые ванны не заказывали, но нам на том «курорте», видимо, по купону достались. Кэмел, так сказать, Трофи! Чем «Жигули» не «Джип Чероки»? Да ничем! Я был «толкателем», поэтому в грязи приехал чуть более, чем по макушку. Отец рулил и иногда вылезал обозреть окрестности, ввиду исключительной поэтичности последних. Его по приезде даже обнимать можно было, если на ноги по колено не обращать внимания.

Как же теперь про счастье-то написать? Ума не приложу! Умещаются же в одной душе полное сознание трудности пути и предвкушение счастья. Каким образом?.. Помните фрагмент фильма «Формула любви», где Фимка кричит «Еду-у-ут!»? Режиссёр в кино, конечно, утрировал эмоции – для более яркого впечатления, но смысл передан очень точно. Только показываешься на тропинке в деревню ведущей, в доме начинают хлопать двери. Кто-нибудь обязательно зайдёт, радостно оповестит всех: «Приехали!» Или в окошко на кухне увидят, потому как постоянно между делом на дорожку смотрят. И у калитки, ещё не войдя в родной огород, ты понимаешь, как тебя здесь ждут! Ждут тебя! Объятия, у женщин слёзы радости на глазах... Встречают как первого космонавта! Всё! Дома!

...А теперь и машина проходимая и комфортабельная, и дорогу асфальтовую до деревни довели. В любую погоду доедешь без хлопот, как я на прошлой неделе – на похороны последней жившей там поблизости родственницы, тёти Иры.

Не езжу... Потому, что не с кем. И не к кому.

## ЗЕФИР

– Вот ты говоришь, Советский Союз, Советский Союз! Послушай, что расскажу...

Подходит ко мне дядька году в 83-м и сообщает неожиданно, что страсть как зефиру ему хочется. А пекут его в Жажелеве (или готовят, как правильно?). Это если по дороге (я про неё уже рассказывал), то шесть с половиной километров, а если по Волге на лодке, то всего четыре. Однако, туда-обратно на вёслах не сплаваешь. Мотор нужен, который кушает бензин. Отличие бездушной техники от человека в данном случае демонстрируется исключительно наглядно: дядька без зефира работать может, а вот мотор без бензина – категорически нет! А где купить? Заправка ближайшая, на которой из колонки за деньги, как у всех, километра примерно в пятнадцати. Прямо в деревне есть совхозный гараж, в котором стоят небольшие такие цистерны с топливом. И даже можно выписать иногда бензина в счёт зарплаты. Но! В период посевной и уборочной общественные интересы на порядок стоят выше частных. Не выписывают бензин... Тем более на зефир! Смеётесь, что ли?!

Однако голь на выдумки хитра! Идём под покровом, так сказать, темноты с канистрой по дну оврага к цистернам (тут надо заметить, что цистерны расположены прямо на его краю). А замки на кранах у цистерн висят такие, каких я больше нигде не видел. Наверное, на такой замок атомные подводные крейсера запирали, когда в 90-х флот разваливали. Наверху у цистерн имеется люк диаметром сантиметров пятьдесят (у Эдуарда Овечкина есть рассказ «Люк», как раз про такой, почитай), и крышка его, естественно, прикручена намертво гайками, размер которых я даже и не знаю. Ключ максимум на 36 видел – так вот очень мал он для этой гайки!

Но мы же не так просто с канистрой по оврагу прёмся! У нас с собой ещё баночка литровая стеклянная и шнурок, заготовленный заранее. Знаем мы, что в люке заливная горловина имеется, крышечкой прикрытая, но совсем не запертая. А размер её в точности соответствует диаметру стеклянной литровой банки... Не равен, а соответствует! Нечего меня на слове ловить, пролезает! Привязываешь шнурок к банке, забираешься на цистерну (дядька подсаживает), открываешь крышечку горловины, и... Сколько раз опустил и поднял – столько литров «накачал»...

Под «Вихрем» летим в Жажелево. Магазин, народ. Самые нехитрые продукты в очередь: хлеб, сахар, масло... зефир. Ты, наверное, такого не пробовал. Он только что приготовлен. Он тёплый ещё! Он ещё тёплый и когда мы уже дома его с холодным молоком трескаем! Вкус-

нотища!.. (А мысль не покидает: в деревне ведь тоже магазин есть – тот, до которого по дороге всего шесть с половиной километров. Но там и просто покупка хлеба – приключение, достойное отдельного рассказа!)

Понятно, что в 83-м не очень нам это нравилось: стыдно было бензин тырить. Но как же быть, когда дядька зефиру просит?! А в 85-м, когда рассказали нам, что на Западе по-другому, совсем перемен захотелось. Как у Цоя: «Мы ждём перемен!» Ведь не врал он – ждали! Много было в нашей советской стране несуразности и откровенной глупости...

Первоначальное значение слова зефир – «западный или северо-западный ветер». Но вот в чём соль (как дед говорил): ждали-то мы тёплого западного Зефира, а получили – штормовой шквал вранья, стяжательства, разрушения и повсеместного воровства, да не баночкой литровой, а мегатоннами и декалитрами. Много чего получили! Силу ветра не рассчитали...

– Так и я тебе, Серёг, о том же!..

## Владимир АНИН

Родился в 1967 году в Москве. Окончил Русский институт управления (РИУ), служил в армии, работал лаборантом, младшим редактором, милиционером, строителем, полиграфистом, специалистом по внешней торговле, финансовым консультантом. Фрилансер: беллетрист, сценарист, диктор (аудиокниги, телепередачи, реклама).

Автор нескольких десятков рассказов и повестей. Печатался в журналах «Искатель», «Знание – сила: Фантастика», «Сокол», «Странник», «Южная звезда» и других.

Живет в Москве.

## ПАПА

Во дворе старенького трёхэтажного многоквартирного дома, какие по сию пору встречаются в подмосковных посёлках городского типа, играли ребяташки. Мал мала меньше, чумазые, перепачканные в грязи, с ярко-зелёными следами свежей травы на одежде, они гоняли потрёпанный мяч.

Издалека донёсся звук проходящего поезда. Десятилетний Мишка, исполнявший роль судьи, деловито посмотрел на свои наручные часы и дунул в свисток.

– Матч окончен! Ничья! – крикнул он в ответ на недовольное гудение разгорячённых игроков. – Мне пора.

К нему подбежал маленький Тёма, растрёпанный, возбуждённый, заправляя в шорты рубашку без половины пуговиц, потерянных во время игры.

– Ты куда? – поинтересовался Тёма.

– На кудыкину гору.

– Ну правда?

– На станцию. Папку встречать, – сказал Мишка.

– Я тоже! – воскликнул Тёма.

– Куда ты тоже?

– На станцию. Папку встречать.

– Какого ещё папку? – фыркнул Мишка.

– Обыкновенного, – уверенно заявил Тёма.

Мишка пожал плечами и, поразмыслив, спросил:

– А тебе мамка разрешит?

– Конечно, разрешит!

– Тогда побежали!

Через пять минут они уже забирались на платформу, пролезая через покосившееся ограждение. Конечно, можно было пройти обычным путём, как ходят все люди, но так интереснее.

Мимо пронёсся скорый поезд. Тёма проводил восторженным взглядом сверкающий в лучах заходящего солнца состав, направлявшийся, по словам Мишки, в тёплые края, к морю. Потом потянулся товарняк. Мишка вслух насчитал целых семьдесят два вагона. Тёма тоже пытался считать, но после десяти уже сбился.

Следом на горизонте показалась электричка.

– Вон мой папка едет, – со знанием дела заявил Мишка.

– Откуда ты знаешь? – не поверил Тёма.

– Потому что я его сильно-сильно жду.

– Это как?

– А вот так.

Мишка зажмурился и напрягся, сжимая кулаки, так что у него даже физиономия побагровела.

– Пффуф! – выдохнул он.

Электричка плавно подкатила к станции, с громким шипением распахнулись двери, и на платформу высыпали пассажиры.

– Папка! – крикнул Мишка и бросился к вышедшему из вагона коренастому мужчине с двумя хозяйственными сумками в руках.

Мишка подпрыгнул и повис у него на шее, болтая ногами. Потом слез, сунул нос в сумки, что-то радостно прокричал и, повесив одну сумку себе на плечо, взял папу за руку и гордо прошествовал к выходу со станции, совершенно забыв про Тёму. А Тёма смотрел им вслед и улыбался.

Затем он забрался на скамейку и, подперев руками подбородок, уставился на горизонт.

Вскоре показалась ещё одна электричка. Тёма соскочил со скамейки, сильно зажмурился, напрягся, сжимая кулаки, как это делал Мишка. И, распахнув глаза, принялся таращиться на прибывающий поезд, будто гипнотизируя.

С шипением распахнулись двери, на платформу высыпала новая порция пассажиров. Тёма пристально вглядывался в прибывших. Из последнего вагона вышел высокий молодой мужчина, похожий на тех, что улыбаются со страниц журналов, которые мама иногда брала у подружки почитать. На нём был светлый костюм, в руке он держал тонкий кожаный портфель коричневого цвета.

Тёма бросился ему навстречу:

– Папка!

Пс-с-с! Двери захлопнулись, и электричка, набирая скорость, покатила дальше.

– Дяденька! Вы мой папа? – выпалил Тёма.

– Нет, я не твой папа, – мрачно ответил мужчина.

– А чей? – искренне поинтересовался Тёма.

– Слава богу, ничей, – буркнул мужчина и зашагал прочь.

Тёма растерянно посмотрел ему вслед...

Вечерело. Стало зябко. Порыв ветра подхватил брошенную кем-то на платформе пустую упаковку из-под чипсов и понёс её мимо задумчиво сидевшего на скамейке мальчика. Заметив шуршащую красную

упаковку с аппетитными ломтиками жареного картофеля на картинке, Тёма впился в неё взглядом и невольно сглотнул. Упаковка взмыла в воздух и нырнула под платформу. Тёма поёжился и, забравшись на скамейку с ногами, обхватил ручонками голые колени.

– Эй, ты чего тут делаешь? – раздался совсем рядом мужской голос.

Тёма повернул голову и увидел полицейского. Тот был ещё совсем молод, от силы лет двадцати, но Тёме он казался взрослым дядькой.

Полицейский смотрел строго, однако Тёма его не испугался и уверенно ответил:

– Папку жду.

– А мамка где? – спросил полицейский.

– Дома, – небрежно бросил Тёма. – Ужин готовит.

– А тебя одного отпустила?

– Так я уже большой, – хмыкнув, заявил Тёма и даже пожал плечами – что, мол, за странный вопрос!

Полицейский в ответ тоже хмыкнул и собрался было уходить, но всё же для верности уточнил:

– А папка скоро приедет?

– Скоро, – уверенно сказал Тёма.

– Ну ладно, большой, жди, – проговорил полицейский.

Подошла ещё одна электричка, и на платформу снова вышли пассажиры, но на этот раз уже гораздо меньше. Тёма соскочил со скамейки и принялся всматриваться в прибывших, но папы среди них не было совершенно точно – по большей части это были тётеньки, да ещё два дяденьки, совсем старые. Поезд отошёл. Платформа вновь опустела. Тёма забрался обратно на скамейку и принял ту же позу. Голые руки покрылись гусиной кожей...

Уже почти стемнело. В палатке с вывеской «Горячие напитки и выпечка», что стояла возле станции, вспыхнул свет. У палатки, просунув голову внутрь в открытое окошко, стоял полицейский и весело болтал с полненькой рыжеволосой продавщицей.

– Вы здесь мальчика не видели? – послышался взволнованный женский голос.

Полицейский вылез из окошка и уставился на перепуганную расрёпанную женщину в простеньком сарафане, худенькую, маленькую, совсем ещё молоденькую.

– Сын! Мой сын! Мне сказали, что он пошёл на станцию. Вы не видели? Мальчик, светленький, – сбивчиво тараторила она.

– Сколько лет? – деловито спросил полицейский.

– Двадцать пять...

– Сколько? – переспросил полицейский.

– Двадцать пять, – повторила она.

– Мальчику? – воскликнул полицейский.

– Нет, мне, – ответила она. – Мальчику шесть.

– Так чего ж вы мне тут... – хотел возмутиться полицейский, но передумал и махнул рукой в сторону платформы. – Там сидит.

– Тёма! – Она подбежала к сыну и прижала его к себе. – Как ты меня напугал! Замёрз совсем. Пойдём скорей.

Проходя мимо палатки, она горячо поблагодарила полицейского.

– Ну ты даёшь, пацан! – воскликнул тот, посмотрев на Тёму. – А вы, мамаша, в следующий раз повнимательнее.

– Да, да, конечно! – ответила она, несколько раз быстро кивнув, отчего её светлая чёлка соскользнула со лба и закрыла глаза.

Она поправила волосы, и они с Тёмой, держась за руки, пошли домой.

Шагая по слабо освещённой редкими фонарями дорожке, Тёма вдруг сказал:

– Мам, а почему наш папа так и не приехал? Я его сильно-сильно ждал. Прямо как Мишка.

Она молча смахнула набежавшую слезу.

– Ну ничего, я завтра опять пойду его встречать, – продолжал Тёма. – Может, он завтра приедет? А я буду сильно-пресильно ждать... Ты чего плачешь? – спросил он, услышав, как мама громко всхлипнула. – Мам, не плачь, он обязательно приедет, вот увидишь. И я его обязательно встречу.

Она опустила на корточки и прижала к себе сына. Тёма крепко обнял её и прошептал на ухо:

– Обещаю!

## Георгий ПАНКРАТОВ

Родился в 1984 году в Ленинграде. Вырос и учился в Севастополе. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет им. М.А. Бонч-Бруевича. В разное время проживал в Севастополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Москве, работал как публицист и редактором в СМИ.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Новый мир», «Знамя», «Юность», «Урал» и других. Автор трех книг прозы и одной документальной. Сборник рассказов и повестей «Российское время» вошел в длинный список премии «Большая книга» в 2020 году.

Проживает в Севастополе и Москве.

## РАДОСТЬ

Человек ходил вокруг низенького, едва достававшего до колена снеговика, которого слепил со своей родной в последний день перед Рождеством недалеко от входа на огромную выставку. Они жили неподалеку, вот и пришли – все просто: день был хороший, легкий морозец, снежок.

– А пояс-то какой, пояс получился! Замечательный зеленый пояс!

– Нужно шапочку ему еще, – говорила родная. – или шляпку.

Он мало от чего испытывал такой восторг, как в те минуты – когда занимался всеми этими глупыми для слишком уже взрослого человека делами: терпеливо скатывал снег, что стремился рассыпаться, выскользнуть из перчаток; деловито шагал под большой сосной, ища подходящую шишечку-носик, примерял ее к маленькому шару головы: нет, великовата, нужно отломить кусок.

Родная подобрала снеговика глаза из маленьких веточек и тонкие ручки-прутики. Они забавно торчали из боков срединного шара.

– Ну, так он как будто сдается, – смеялся человек.

– А вот так?

Надломив прутьи, она уткнула их в бока снеговика. Теперь он стоял, смешно подбоченясь, и глядел на людей снизу хитрыми глазами. Задорный нос торчал, устремившись ввысь, к небу. «Вот я какой – маленький, но гордый!» – будто бы говорил снеговичок.

– Веселый, да? – глаза родной блестели, в них отражалась радость.

– Ага, – кивнул человек, протягивая хвойную ветку.

Родная присела возле снеговика и быстро опоясала его, припорошив ветку снегом. Теперь он стал еще наряднее – не хватало только ша-

почки, и человек, примерив колпачок от ингалятора, большую шишку, кусок камня – ну не было ничего подходящего! ничто ведь не заменит настоящей шляпы! – задумался и все ходил возле сосны.

– Придумала!

Он вернулся к снеговик и увидел свернутый надвое желтый лист. Родная крепила его ветками к маленькой голове.

Ну вот и все, готов снеговичок! Человек ходил вокруг него, любовался, снимал на телефон, потом снимал родную, как она смешно дразнила снежную фигурку, присев возле нее и уперев руки в бока. Потом они менялись местами, и уже она снимала человека в разных ракурсах: сидя, стоя, то он обнимал снеговичка, то прихватывал за носик, то гладил маленькую голову.

Так увлеклись, забыли обо всем – не это ли и было счастье?

Потом они собрались на прогулку – столько всего нужно было успеть: и ярмарка, и новогодний фильм, и все, что только можно: а Новый год ведь, можно все!

– Вернемся – навестим снеговичка, – сказала наконец родная, и человек бросил последний взгляд на того, кто подарил им радость. Снеговик – настоящее новогоднее волшебство, абсолютное счастье, что ничем нельзя подменить. Это вся красота мира, вся прелесть жизни, все добро и любовь, на какие способно творческое человеческое сердце. Новая жизнь, порожденная им в радости, в светлом и открытом настроении, искренний порыв души. И вот стоит он теперь, и улыбается – и поздравляет: с Новым годом! И верит человек, что и у него самого, и у родной его, и целого огромного города, мира – начинается новая жизнь. С чистого, как белый снег, листа.

«Новая жизнь! Ах, если бы!» – подумал человек, отводя взгляд. Ему было грустно прощаться со снеговичком – понимал, что вряд ли найдет его здесь снова, когда они вернуться сюда вечером, уставшие, нагулявшиеся. И вправду: стоит возле самой дороги, дерзко задрав нос, – чем такой снеговик не приманка для шустрых собак и вечно активных детей? Снесут, разберут, поломают. Что ж, такая судьба снеговиков – мало кто умирает естественной смертью, просто растаяв.

За день о снеговике забыли. Возвращаясь ближе к полуночи, пришли полюбоваться праздничной инсталляцией у входа на выставку. Красиво, сфотографировались.

– Пойдем через выставку? – спросила родная.

Так ближе, согласился он, пойдем так, действительно.

– Зайдем к снеговик?

Человек вздрогнул: ну надо же, совсем забыл! Так и прошли бы, не напомним ему родная; а ведь то место совсем недалеко. На миг ему стало радостно, нахлынули теплые воспоминания: как они начали этот день, как катали шары, как искали нос; но все это тотчас поглотила волна других, мрачных мыслей. Их нагоняли и ветер, и острый снег, и серые силуэты павильонов, укутанных строительными лесами – выставку перестраивали, и даже фонари забрали на ремонт; они шли во тьме. В голову лезла мысль о безвременье – была выставка, и вроде еще будет, а сейчас как будто ее нет. Так и в их жизни – Новый год заканчивался, впереди ночь Рождества, а потом... что потом? Кто знает?

Из кафешки доносилась громкая музыка, торопились спрятаться от колючего снега прохожие, а родная замедлила шаг и что-то чертила, вырисовывала на земле. Черная полоска тянулась за ней, разрезая искрящийся белый покров. Человек одернул ее:

– Ну что ты делаешь? – сказал раздраженно. Снег бил в глаза. – Пойдем уже?

Она промолчала, ускорила, а раздражение тотчас куда-то делось; ему стало вдруг неприятно от этого досадного всплеска, который просто не успел проконтролировать: ну зачем? почему ты вечно торопишься жить, жить... Ведь можно же просто, без этого.

Когда они шли к тропинке, где оставили снеговика, человеком овладели нехорошие предчувствия. Сейчас придется расстроиться, думал он. Весь день прошел, снеговик стоял у дороги, и сотни людей прошагали мимо. К сознанию цеплялись, как игрушки к елке, неприятные картины. Вот орава детей носится вокруг снеговика, один сбивает ему шляпку, другой вырывает нос, третий дробит маленькую голову, четвертый крепким ударом ноги довершает расправу. Или вот – здоровая собака, в несколько раз больше снеговика, бежит с радостным лаем и затаптывает его, оставляя лишь комья снега. А то и собачка поменьше, карманная, вредная, поднимет заднюю лапку и...

Да мало ли чего могло случиться за день! Теперь одно было важно – снеговика и вправду не оказалось на месте.

Человек убедился в этом, взглянув на тропинку: теперь здесь уже не ходили люди, и только он один ступил, сделал пару шагов, увлекая за собой родную. Не было! Кончилось волшебство.

– Это не та дорожка, – мягко возмутилась родная. – Куда ты меня ведешь?

– Как не та? – воскликнул человек, и тут же понял: действительно. На той дорожке сосна была ближе, росли низкие кусты, а рядом стояли скамейки и урны. Они развернулись и торопливо дошли до следующей тропки – какие-то несколько метров, таких волнительных. А вот и дерево, под которым искали шишки да веточки, а вот и кусты, а вот и – прямо перед их глазами...

– Стоит, – рассмеялась родная. – Ждет нас.

Довольный снеговик смотрел на них, как показалось, даже радостнее, чем утром. Хитрее. Его нос был еще выше, а ручки все так же смешно упирались в бока. Он был доволен встречей.

– Это же чудо! – воскликнул человек, не думая, как выглядит, не думая, что его услышат, что о нем подумают – все то, что весь год не дает покоя. Кроме редких моментов, тех самых, когда можно воскликнуть вот так: чудо!

Только слегка сдуло шапочку-листик, но не беда – подправим.

Их нещадно заметало снегом, и родная уже торопилась домой, ежась на холоде. Человек верил, что завтра они проснутся, и будет такой же прекрасный день. Они выйдут из дома и, может быть, снова придут сюда – навестят снеговичка, поправят шляпку, ручки, добавят, если надо, свежего снежку. И так будет всегда теперь, так и будет.

## Поэзия

### Александр БОБРОВ

Родился в 1944 году на станции Кучино Московской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького.

Автор десятков книг стихов, песен, пародий, путевой прозы и публицистики, ряда авторских телепрограмм. Кандидат филологических наук, член редколлегии журнала «Русский Дом», лауреат премии им. Дм. Кедрина «Зодчий» и премии им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи...». Обладатель золотой Пушкинской медали творческих союзов России.

Секретарь правления Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живет в Москве.

### ДОРОГА ДО НЕБА ВИДНА

#### Рабочий и колхозница

Рабочий и колхозница – эпоха  
Борьбы и горя, счастья и труда,  
Но вновь ТВ внушает мне, как плохо,  
Мы жили в те великие года.

А я – не верю. Мне нужна держава  
На всех путях, воздушных и земных,  
И потому так ярко блещет слава  
На мухинских деталях составных.

Теперь уже навряд ли распогодит...  
В последние слепящих полчаса  
Рабочий и колхозница уходят  
В осенние пустые небеса...

#### Певчая ночь

Последняя тёплая летняя ночь.  
Кончается август. Ничем не помочь  
Ни бывшим любимым, ни дальним друзьям,  
Ни песням, в которых находят изъян.  
Они – прозвучали, они унеслись,  
Они поднялись в непонятную высь,  
Где хор запекает, где батя поёт,  
Где мама порой семиструнку берёт.  
А выше – Григорьев с цыганской тоской,  
А ближе – Есенин с кабацкой Москвой.



Проходил я армейскую службу  
В элитарных частях ОСНАЗ –  
С привилегией: если нужно,  
Рисковать, выполняя приказ.

Вся дальнейшая переписка  
С веком, Родиной и с тобой –  
Не выводит из зоны риска,  
Но хоть точка последняя близко –  
Мне не страшно с такой судьбой!

### Проклятье Украины

Когда сносили памятники Ленину,  
На Украину надвигалась мгла:  
Они на солнце были все нацелены,  
Его рука – в грядущее вела.

Стояли монументы в центре Киева,  
В Днепропетровске – в нынешнем Днепре,  
А вот теперь, когда их опрокинули,  
Совсем другой расклад пошёл в игре –  
Как водится, со шкодой, с чертовщиною,  
С бесстыжим передёргиваньем карт.

Над Винничиной, как и над Сумщиною,  
Червонный опускается закат,  
Стекает кровь в далёкое и близкое,  
И плавится незримое ядро...

Он создал государство украинское  
И проклинал, ниспровергнутый, его!

### Воспоминание о Кутоле

*Народному поэту Абхазии  
Мушни Ласуриа*

На природе, на воле,  
На кавказской к тому же  
Мы кутили в Кутоле  
У Ласуриа Мушни.

Взблески дружбы и света  
У снегов перевала,  
А невестка поэта  
Нам вина подливала.

Мы сдвигали бокалы,  
Хоть к стаканам привыкли,  
А теперь аксакалы  
Поседели и сникли.

Нестроенье и горе  
Над Отчизной витает,  
Но бесстрастное море  
Шумно гальку катает.

Совершенствуется гулы,  
Шлёт певучие волны,  
Но безмолвны аулы  
И деревни безмолвны...

## Виденье в Замоскворечье

*Памяти Николая Старшинова*

Память нерушимая...  
К «Третьяковской» еду  
Вспоминать Старшинова  
И его заветы.  
Времена советские –  
Чудеса и были.  
Мы, замоскворецкие,  
Реки полюбили  
И сиденье с удочкой,  
И в лесу кружение...

Вдруг – в витрине булочной –  
Коли отражение.  
Он глядит с улыбкою,  
Говорит сердечно:  
«Жизнь – такая зыбкая,  
А природа – вечна».

## Смягчающий свет

Ни грусти, ни горести нет,  
Ни боли минувших обид...  
Какой-то смягчающий свет  
В осеннем пространстве разлит.

Дорога до неба видна  
Сквозь дымку растроченных дней,  
И зелень ещё зелена,  
И золото стало видней.

Уже не прошусь ночевать,  
Вина не решаюсь налить,  
Не знаю, с чего начинать,  
Чтоб осень былую продлить.

А там – Будапешт золотой  
(Приеду ли снова? – вопрос),  
И ты над дунайской водой  
С волною упавших волос...

## Софья ГРЕХОВА

Родилась в 1984 году в Норильске. Окончила филологический факультет ННГУ имени Лобачевского, работала журналистом, редактором, пресс-секретарем зоопарка, сейчас – фрилансер.

Лауреат конкурса «Взлёт» (Гран-при жюри, альманах «45-я параллель», 2007), обладатель гран-при фестиваля «Молодой литератор» (2007), лауреат этого же фестиваля (2008). Живет в Нижнем Новгороде.

## СЛОВО «ЛЮБОВЬ» РАСТЕРЯЛО ЧАСТЬ БУКВ...

### Рубашечное

...А если ей становилось страшно  
И одиноко в чужом раю,  
Она надевала его рубашку,  
Как броню.

Санда и пачули – его кольчуга,  
Сплетение запахов – оберег.  
И все ее демоны, их почуяв,  
Пускались в бег.

А в сердце, закрытом на сто замочков,  
Несмело выросла ее печаль  
О том, что она родилась в сорочке  
С его плеча.

### На мели

Все в жизни и не то чтоб очень просто,  
А как-то проще некуда уже.  
Она уедет отдыхать на остров  
В открытом море – к пальмам и кокосам,  
Он проведет свой отпуск в гараже.

В холодном боксе с газелистом Толей  
Он будет пить то водку, то портвейн –  
Не потому, что жаждет алкоголя,  
А потому, что от душевной боли  
Лекарства не придумали верней.

Они поднимут тост за тех, кто в море,  
Но каждый будет думать о своем:  
О трех годах в морфлоте – Анатолий,  
А наш герой – о той, из-за которой  
Он стал на мель засевшим кораблем.

Он на мели, она – в открытом море...  
 А было время, в гавани одной  
 Они стояли рядом на приколе,  
 Их двигатели в трепетном амоге  
 Стучали в унисон, и под водой

Сплетались цепи якорные нежно.  
 А ночью он отчалил без гудка,  
 Сбегая от нечаянной, безгрешной,  
 Но лишней в его курсе безмятежном  
 Любви, ему неведомой пока.

...Прошли года. Портвейн мешая с водкой,  
 Он заливал пробойны в душе.  
 И, набивая трюм пустой селедкой,  
 Он горевал о гавани далекой,  
 Недостижимой, словно в мираже.

А где-то рядом с линией прибора  
 Она, из пены выходя морской,  
 Несла в руках свое родное горе –  
 Не утопить, не придавить такое  
 Нельзя и пятизвездочной тоской.

## Дочь

Пьяная вдрабадан, она гуляла по набережной босая,  
 Бросая птицам остатки хлеба, едва касаясь  
 Брусчатки пальцами ног – кружилась, смеясь и плача,  
 А небо хмурилось, подустав от ее чудачеств.  
 Морскую воду она легко превращала в пиво,  
 И трех нечаянных рыбаков, попавшихся ей, споила.  
 Двумя сардинами накормила ораву кошек,  
 И ели все, и насытились.  
 Недоуменье прохожих  
 Её не смущало. В наушниках музыка верещала.  
 Чайки взлетали нотами от причала.  
 В вихре отчаянно-нервной многоголосицы  
 Тучи сгущались, как брови у переносицы  
 Бога, смотревшего с неодобрением  
 На родное, но не удавшееся ни к черту свое творение...

## Вопросы

Я не помню тепла твоих рук, но пряжка ремня  
 Навсегда отпечаталась болью на пятой точке.  
 Интересно, когда ты лупил – ты любил меня,  
 Свою дочку?

А когда ты, не просыхая, топил в вине  
 Злое чувство вины перед мамой за скудность быта,  
 Поглощая стакан за стаканом, ты видел меня на дне  
 Хоть размыто?

А когда уезжал за длинным рублем в Москву,  
Обещая вернуться, но напрочь забыв дорогу,  
Ты испытывал горечь потери или тоску  
Хоть немного?

Детство кануло в Лету, оставив страх нищеты  
И единственный твой подарок – лисенка с прожженной лапой.  
Я его до сих пор храню, но не знаю: зачем. А ты  
Знаешь, папа?

## Подранки

Такие девочки подрастают – ну просто душки:  
Тихо умеют реветь в подушку, курить взятяжку.  
Тонкие пальчики, щиколотки... Веснушки  
Золотом сыплются с плечиков под рубашки...

Взглянут – бегут мурашки по всем мальчишкам  
(быстро сдают нервишки под томным взором).  
Не избежать позора от ранней слишком  
Взрослости тела в узости кругозора

Девочкам этим... Но кто им поставит рамки  
(Кто им поставит рюмки – вопрос насущней...)  
Так подрастают трогательные подранки  
Жизни красивой, но вряд ли благополучной.

## При переводе с твоего языка на мой

При переводе с твоего языка на мой  
Слово «любовь» растеряло часть букв,  
превратилось в «боль»,  
Обнажило суть, расставшись с фантиком, наконец,  
А на вкус оказалось точно просроченный леденец –  
Вроде сладкий, но тут же терпкий, прогорклый, мятный.  
Я вернула его обратно.

При переходе с моего языка на твой  
Боль леденцом у тебя во рту устроилась за щекой  
И растворилась, всосалась в кровь, понеслась, легка,  
Туда, куда я не смела добраться без знания языка,  
Туда, где латексный фантик окутал ее собой,  
Из боли создав любовь.

При смешении языков, при сплетении языками  
Любовь и боль происходят с нами  
Одновременно.  
Помолчи со мною о сокровенном.  
Языковые барьеры  
для тела  
не существуют – понятен и вздох, и крик.  
Мы едины и неделимы,  
Непереводимы  
ни на один язык.

## Евгений МАТВЕЕВ

Родился в 1982 году в Рыбинске, Ярославская область. Окончил Рыбинский авиационный колледж и Рыбинское отделение МЭСИ по специальности «юриспруденция».

Публиковался в коллективных сборниках, журналах «Пролог», «Переводчик», «Нева» и других. Переводы публиковались в книгах Э. А. Робинсон «Дом на холме» (2015), Х. Бёрли «Ты слушал реки по ночам?» (2017). Автор книги «Крест никому» (2019). Участник форумов молодых писателей России, стипендиат Министерства культуры РФ.

Руководитель Клуба поэтического перевода (г. Рыбинск).

## У МЕНЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СЛОВО...

### Белая башня

Когда меж облаками и землёй  
Над городом завис железный шпиль,  
При свете дня блесевший позолотой,  
Внимания никто не обратил,  
Жизнь продолжалась – люди умирали,  
Брались взрослые, и лишь мальчишки –  
Мечтатели, что любят вверх смотреть,  
Заметили, что птица золотая  
Как будто прямо с солнца опускалась,  
Но намертво прилипла к небесам.

Под этим шпилем в воздухе зависшем  
Пластина за пластиной постепенно  
Стал распускаться тёмно-синий купол,  
И тут уже до горожан дошло,  
Что что-то непонятное творится,  
Ведь здания не строят сверху вниз;  
И добрые богемцы с удивленьем,  
Особенно по пиву пропустив,  
Порой на площадь стали приходить,  
Чтоб странное строительство увидеть.

Но в той толпе немало было тех,  
Кто с недоверием смотрел на небо, –  
Из аркебузы выстрелил рейтар,  
И кирасир палил из пистолета,  
Но пули отлетали, будто купол  
Был защищён невидимой стеной,

И потому после молитвы долгой  
Усталому священнику пришлось  
Провозгласить, что это Божье чудо,  
И запретить стрелять и приближаться.

Года на север уносила Лаба,  
И на глазах стареющих людей  
Под куполом прорезались колонны,  
А ниже показался циферблат  
И стрелки вдруг пошедшие вперёд,  
Как будто время новое пришло  
И поспешило дальше: ряд за рядом,  
Кирпич за кирпичом, и остов башни,  
Висящий в воздухе, сравнялся с крышей  
Стоящего поблизости собора.

Всё крепче сила тяжести давила –  
Всё больше выростала эта башня,  
Всё ближе были кирпичи к земле,  
Хотя никто не видел, как внутри  
Раскрылся, словно лёгкие младенца,  
Огромный колокол с тяжёлым звоном,  
А ниже в темноте сформировался  
Макет хрустальный этой самой башни,  
Как копия себя в самой себе  
От шпиля до предвиденной опоры.

Во времена Вертумна вышел срок,  
И пусть в толпе нарядных горожан  
Нет тех мальчишек, что когда-то в небе  
Заметили ту птицу золотую, –  
Кто умер, кто убит, кто поседел;  
Пришедшие с тревогой наблюдают,  
Как долгожданная опора осторожно  
Земли коснулась белым кирпичом  
И глубоко подножьем в подземелье  
Ветвистыми корнями вниз ушла.

## Бунт в офисе

На площади рабочего стола  
Подавлено восстание стихов,  
Порядок восстановлен и остались  
От всех воздушных замков лишь руины,  
Где нет ни божества, ни вдохновенья,  
А все бунтовщики осуждены  
И переплавлены в орудья мести –  
В претензии, уведомленья, иски,  
Приказы, заявленья, и отныне  
От лирики очищена бумага,  
И диктатура дела в кабинете.

А телефон поэзии трезвонил,  
И революция зелёным чаем  
Лилась по жёлтым мостовым стола,  
Мостам договоров, проспектам писем,  
Аллеям документов, на которых  
Троцкисты сочиняли злые тропы,  
Размеры возводили баррикады  
Хореев, ямбов, дольников лихих,  
Пока разнокалиберные рифмы  
Прямой наводкой били по палатам  
И прочим заведениям ума.

Вооружившись музыкой небесной  
И радугой цветных карандашей,  
Поэзии мятежные полки  
Пошли наперекор канцеляриту  
По головам банальных предложений,  
По генералам штампов и шаблонов,  
Хоть плакали заранее в пенале  
Корректоров и ластиков кассандры,  
А ножницы, ножи и дыроколы –  
Каратели из делопроизводства –  
Желали миру вернуть двухмерность.

Теперь фиалки приспустили флаги  
И фикусы от ужаса смердят –  
Казнят листы А5 и А4,  
Кубарики, и стикеры, и бланки,  
А также к ним примкнувшие блокноты –  
Вплоть до последней буквы всё в корзине,  
А на столе в честь подавления бунта  
Из скоб и скрепок монумент воздвигнут  
С поверженными Музой и Пегасом  
И выбитой на постаменте фразой:  
«Раз можешь не писать – то не пиши».

Пустые стержни, словно червяки,  
Глодают черепа четверостиший,  
Мычат в казарме колпачки и ручки,  
И вольных воробьёв в округе нет,  
Линейки маршируют по бумаге  
Под окрики сержантов с красной пастой,  
Как пулемёт стрекочет калькулятор,  
И цифры заступают в караул,  
Чтоб пресекать попытки стихотворства:  
От образов, подобных облакам,  
До подземелий фразеологизмов.

В подполье нижних ящиков стола  
Среди полузабытых документов,  
Заляпанных, надорванных, опальных,  
Во тьме и пыли вдохновенье снова  
Растит слова, возделывает рифмы,

Соединяет спутанные строки,  
Чтоб как-нибудь однажды повторить –  
Наперекор нелепому начальству  
Прорваться на поверхность, прорасти  
Кровавыми соцветьями стихов,  
И воцариться раз и навсегда.

\* \* \*

Вдоль реки холодной и суровой  
Я бреду, усталый и босой.  
У меня осталось только слово.  
Слово, что нельзя забрать с собой.

Как песок шероховата память.  
Зарябила мёртвая вода.  
Время утонуло, точно камень,  
Будто не бывало никогда.

Речь моя текла елеем сладким,  
В горле превратилась в горький ком.  
Я на борт ступаю без оглядки,  
Медный рубль лежит под языком.

\* \* \*

Мыслей суeta непостоянна,  
Но, сопротивляясь забытью,  
Белая, как череп, обезьяна  
Опекает голову мою,  
И в холодных сумерках упрямо  
Наяву, а может быть, во сне  
Памяти трепещущее пламя  
Озаряет темноту во мне.

Островки мгновений осторожно  
Океаны жизни бороздят,  
Но на дне бессонницы тревожно  
Бабочки беспамятства звенят,  
И меня, живого человека,  
Окружает лёгkokрылый рой,  
Чтобы мимолётное навеки  
Я унёс в забвение с собой.

## Наталья СТРУЧКОВА

Родилась в 1975 году в деревне Опалиха Горьковской области. Окончила Нижегородское медицинское училище по специальности «зубной врач». Проработала в стоматологии семнадцать лет, затем получила высшее культурологическое образование.

Автор двух поэтических сборников, ряда публикаций в литературных журналах. Член Союза писателей России с 2008 года. Живет в Кстове.

## А МЫ КАК СНЕГ, ИДУЩИЙ НАУГАД...

\* \* \*

*Стихи не пишутся - случаются...*

А. Вознесенский

Вот как-нибудь со мной случится,  
 Случится, верно, как-нибудь...  
 На голос незнакомой птицы,  
 Который не даёт заснуть,  
 Внезапным эхом отзовется  
 Во мне нечаянно, и вдруг -  
 На дне бездонного колодца,  
 Как первый крик, родится звук.  
 Вот он, пробившись сквозь молчанье,  
 Начало дал и был таков...  
 А без него – и нет дыханья,  
 И нет меня, и нет стихов.

## Я не раздам своё имение

*Будь у меня сейчас имение,  
 Я не уверен, что раздам.*

Николай Зиновьев

Я не раздам своё имение,  
 Как некогда хотел Толстой.  
 Теперь иная точка зрения.  
 И год, и век теперь иной.

Вот целый день при деле вроде бы,  
 Но в чём скрывается прикол –

Всю жизнь, работая на Родину,  
Ты непременно нищ и гол?!

Когда же надоест горбатиться  
За неразменные гроши,  
Куплю я от Кардена платице –  
Нет, не для тела, для души.

Никто в роду моём не нашивал  
Такого классного тряпья,  
Чтоб разодетой и покрашенной  
Гуляла по бульвару я.

Вот трудовые накопления  
И складывались рубль к рублю...  
Я не раздам своё имение,  
А лучше детям подарю.

### Падающий свет

У меня учитель строгий.  
Эта строгость нажита  
В непрерывном диалоге  
Сквозь бегущие года.

В ожиданье откровений,  
Присмирел текущий век...  
Из какой эпохи, Гений,  
Ты его сейчас изрек?

Из какой небесной выси,  
Из каких минувших лет  
Эти мысли, мысли, мысли,  
Этот падающий свет?

### Портрет

Детали, детали, детали –  
Штрихи на её портрете.  
Вы эти черты писали,  
Вы образом жили этим.  
И Вам иногда казалось,  
Что девушка в сарафане  
Невольню руки касалась  
И Вас уже не обманет.  
И было бескрайним поле,  
Текло бесконечно лето,  
Душа ожила на воле,  
По шляпке струилась лента,  
Июльских цветов букетик...  
А Вы рассмотрели только,

Хоть были за всё в ответе,  
Что свойство иного толка  
Скрыто её улыбкой,  
Кокетливой и печальной,  
А воздух качнулся зыбко,  
И тайна осталась тайной.

### Снег

Дома теряли форму, как во сне,  
И над землёй метелица кружила –  
По нашему желанию шёл снег,  
Каких уже не помнят старожилы.

А мы не помним времени и дат,  
Стираются подробности и лица...  
А мы как снег, идущий наугад.  
И только снег

имеет право

повториться.

\* \* \*

Ну кто сказал, что время лечит?  
Скорее, все наоборот:  
Случаются такие встречи,  
Которых память не сотрет,  
Которых время не залижет...  
А только ярче и ясней,  
Они отчетливей и ближе  
В неповторимости своей.

## Из будущих книг

### Виктор БЕРДИНСКИХ

Историк и писатель. Родился в 1956 году в селе Жерновогорье (позднее вошло в черту города Советска) в Кировской области. Окончил исторический факультет и аспирантуру Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Доктор исторических наук, профессор Вятского государственного университета.

Автор более 120 научных работ, а также двух десятков книг документальной и художественной прозы, посвященных истории и культуре России. Лауреат Всероссийской премии им. Н. Карамзина «За отечествоведение».

Член Союза писателей, член Международного ПЕН-клуба. Живет в Кирове.

## РАССКАЗЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Из раздела «Крестьянская цивилизация в России»*

### Только верой

Важнейший вопрос для русских крестьян прошлых веков – напряженность духовного состояния человека. Мы плохо представляем – чего боялись наши деды и прадеды, что считали красивым, а что безобразным, кем ощущали себя на Земле. Именно об этом и пойдет сейчас речь. Попробуем понять это на основе опросов сотен стариков – крестьян в 1980-е–1990-е годы по методикам устной истории. После ФИО рассказчика дается дата его рождения.

Смерть была ближе к крестьянину, чем к нынешнему горожанину. Она постоянно маячила на горизонте, приближалась порой на расстояние вытянутой руки, была осязаемой. Никто не был гарантирован от голода, внезапного разорения, падежа скота, войны.

В крестьянском понимании существа окружающего мира, его причинности, важных событий и их последствий было много здравого смысла, практического опыта, накопленного в общении с природой, труде земледельца и его круговорота годовых забот, неизменном возвращении на круги своя, религиозных элементов, принимаемых очень своеобразно и своекорыстно. В крестьянском мире все события, времена, природные явления – все было крепко-накрепко связано друг с другом, взаимосвязано. Равновесие мира было ощутимым и зримым. Но понять эту связь событий – времен не стремились, зачастую это осуждалось.

Мужики, самостоятельно читавшие Библию вызывали уважение, смешанное с ехидцей. Матрена Гавриловна Огородова рассказывает:

«Митя Салко у нас по деревне ходил, набожный был. Если кто заболел, к нему ведут. У него было много книжек. Из Библии люди узнавали обо всем, там и написано было, что революция будет и что война, а потом и конец света». «А верить в бога верили. Как же без бога жить-то?! Он и начало всему. Главный он в мире-то. И в церковь ходили» (А.И. Молехина, 1921).

И тем не менее – религиозность в поведении была нормой жизни, отклонения от нее (как чрезмерная религиозность, так и неверие) осуждались обществом. Религия выходила в повседневный быт и не ощущалась как тягота. Наоборот, лишь правильное религиозное поведение (соблюдение постов, молитвы, исповеди, вера в Бога) могли обеспечить нормальное течение крестьянской жизни.

Для крестьян Бог был прежде всего крестьянским Богом. «В каждой семье были молитвы. Молились, чтобы урожай был хорош – священник святит поле, чтоб Бог сохранил скот, чтоб хлеба побольше было» (В. И. С-ова, 1909).

Естественно, что к старости люди становились более религиозными, дети и молодежь обращали меньше внимания на вопросы веры. «Веровали все. Дома молились. Дед занемог ходить в церковь, дома молиться заставлял. Свечку зажжет, лампаду затеплит, на колени вставали. Свечку зажжет, а неохота было молиться. “Скоро ли хоть дедушка помрет, не будет заставлять”, – думали. Ребенки есть ребенки. Помолимся – потом есть садимся» (Л.Н. К-ова, 1910).

Представления о христианстве, священной истории, прошлом своего народа у крестьян в деревнях были зачастую самые фантастические. Понятия о времени (идушем в аграрном обществе по кругу) заставляли переживать и события библейской истории как недавно случившиеся или еще не произошедшие. Но в каждом селе были один-два грамотея, толковавшие односельчанам прошлое, настоящее и будущее. «Газет не было. Тятя читал Библию. Сейчас вся жизнь идет по этой книге. Мужики приходили разговаривали. Нас тятя все заставлял слушать Библию. Там было написано, что во стене будет кнопочка, нажмешь и будет свет. Нам было смешно. Там же было написано, что на земле будут стоять столбы и все будет опутано проволокой. Книга та здорово все знала, сейчас почитать бы» (Е.С. Штина, 1910).

Важнейшей частью (ядром) крестьянской религиозности были нравственные нормы поведения. Они регулировали отношения крестьян между собой. Устанавливалась стабильная линия поведения человека в течение года. Обязанности по отношению к Богу были неременными. Они помогали человеку жить правильно и достойно в своей среде. Вот что вспоминает об этом Афанасия Александровна Машковцева (1917): «Бога почитали, в жизни следовали основным Божиим заповедям. Не обижать ближнего, помогать слабому чем можешь, постоянно должен трудиться, не надобно выделять себя среди других, быть характером скромным. Соблюдали ежедневно церковные обычаи. Утром перекреститься обязательно, перед едой и после нее, при отходе ко сну тоже. Чтобы очистить душу свою грешную, исповедовались. Например, такая исповедь: 1. Господи, не обсуди ты нас по делам нашим, по грехам нашим, а обсуди ты нас по милости твоей; 2. О, возлюбленное чадо, сын господний, помилуй меня, великого грешника, и всех нас на земле; 3. Господи, когда умру, тело мое грешное возьми в руки твои, а меня, великого грешника, от райской обители не откажи. Как исповедуешься, так и на церковь (заутреню). Из

церкви приносили крещеную святую воду, обрызгивали детей своих, в избе по углам, пили тоже.

В углу всегда стояли иконки и во время праздника зажигали лампадку (свечку) у иконки. Соблюдали посты, не ели ни мясо, ни молоко, ни масло. Все это называлось говенье. Ели все постное».

А вот как толкует Божьи заповеди Анна Архиповна Новикова (1909): «Вот тебе 10 заповедей Божьих, запиши их. 1. Аз есмь Господь Бог твой (т. е. Бог единственный); 2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия (т. е. нет никого, подобного Богу); 3. Не приемле имене Господа Бога твоего всуе (не ругай Бога); 4. Помни день субботний, еже святити его: 6 дней делай и сотворивши в них все дела твоя, в день же седьмой – суббота Господу Богу твоему (в седьмой день недели нельзя работать, стирать, косить и т. д.); 5. Чти отца и мать твою, да благо те будет, и ты долготелен будешь на земле; 6. Не убий; 7. Не прелюбы сотвори; 8. Не укради; 9. Не послушествуй на друга твоего свидетельству ложна; 10. Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай дома его, ни раба его, ни рабечки его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближнего твоего. А еще большим грехом считалось, если в праздник Господен, или в обедню, или в службу переспшишь с мужиком. Вот откуда и дети были нездоровые. Бог-то наказывал! Святым делом считалось: молитва, икона, церковь, нищим подать, ближнему помочь, сиротам, обгоревшим, вдовам. Говорили: блажен тот, кто нищим помогает, кто милует сирот и вдов, гонимым кто дает покров».

Вера давала и ощущение защищенности крестьянина в мире, гарантированности привычного порядка вещей, естественного хода событий. Старики видят в вере стержень незыблемости основ прежней крестьянской жизни. «Благодаря Господу-Богу и жили тогда. А Бога забыли, все прахом пошло. В церкви послушанию учили, смирению. Девки замуж целыми выходили, парни молодые вино не пили, старших слушали. Праздники церковные какие были – загляденье. Забыли все. В молодости, конечно, тоже и из церкви бегали и “ржали” там по-лошадному. О Боге вспоминаешь со временем. Когда к концу ближе, перед смертью. А старшие тогда Бога любили и чувствовали себя спокойнее. С ним им была никакая беда не страшна» (С.А. Пыхтеев, 1922).

«Без Бога – ни до порога», – гласит старая русская поговорка. Что же в крестьянском сознании считалось грехом, отклонением от привычных норм жизни? Вот один из самых распространенных ответов: «Грехом считалось ругань, непочитание старших, воровство, пьянство» (А.Ф. Мусихина, 1910).

Грешно было и любое уклонение от данной тебе судьбой крестьянской доли – крестьянского труда. Алевтина Ивановна Дрижаполова (1911) рассказывает: «Раньше грехом очень многое считалось. Во-первых, не работать – грех. Вот меня уже в 6 лет посадили за прястицу прясть, а уж если ты не прядешь – грех. Бабушка заставляла меня молиться, грехи замаливать. Икон у нас в доме было много. Церковь у нас была в деревне – там и ходили молиться чтоб Бог урожай хороший послал, чтоб в огороде все уродилось».

В любой крестьянской избе непременно был святой угол с иконами. Были иконы будничные и праздничные. Последние выставлялись только во время больших праздников. В начале XX века широкое распространение получили цветные репродукции на религиозные сюжеты. Вера переходила детям от родителей незаметно, в ежедневном обиходе.

Она защищала семью от напастей внешнего мира, сил природы. Многие новации считались не делом рук Бога (у него все стабильно и постоянно), а дьявольским наущением. О.Е. Помелова (1909): «Если что-то случилось – мы молились, а во время грозы все садились в святой угол. Неверие считалось большим грехом, грехом было господу Бога ругать, вообще ругаться, особенно женщинам. Грешно было кулаком по стол стучать. Стол – “Божья ладонь”. Грешно было фотографироваться. Фотографии и кино считались “бесовщиной”, “бесовскими выдумками”. Мы никогда не фотографировались, и у меня от родителей даже фотографии не осталось».

В незыблемости основ жизни видели существенное достоинство. Гарантом этого, своеобразным наместником Бога в России считали во многих глухих деревнях царя – фигуру для многих крестьян мифическую. Пелагея Яковлевна Плехова (1907), бывшая батрачка, вспоминает с ностальгией о прошлом: «До революции было много бедняков, но народ был сытый, потому что народ добывал себе все сам. На царя молились как на Бога. Все люди веровали в Бога, в школах преподавали Закон Божий».

Соблюдение религиозных обрядов, праздников было важным элементом нормального хода жизни. Крестины венчание, отпевание, исповедь и причастие, посты и мясоеды – важные формообразующие основы жизни крестьянина. Человек чувствовал свою нравственную ответственность перед Богом и старался вести себя в соответствии с нравственными нормами поведения. Мы сегодня и представить себе не можем удивительной доверчивости и честности многих людей недавнего прошлого. «Надо сказать, что люди жили честно, держали свое слово. Продавал у меня отец корову, сказал, что стоит 200 рублей, пришел покупатель, дает денег больше, отец не взял: “Я сказал 200 рублей, значит, столько и возьму!” Отец еще говорил: “Если попросят меня о чем-то никому не говорить, умру, но не скажу!” А вообще люди были доверчивы, боялись Бога и людской молвы» (М.Р. Новиков, 1911).

Считалось, что воздаяние за грехи непременно настигнет человека. Жизнь есть жизнь, грехи случались очень крупные. «Всяко бывало. Сожгли у моего отца брата. Ходил слух, что жена его полюбила другого и сожгла мужа. За это ее потом Бог наказал: она раком долго мучилась и умерла рано» (М.Р. Новиков, 1911).

Как любили говорить старики, «Господь долго терпит, да больно бьет».

Представления о земной и небесной юдоли были самые простые. Считалось, что на небе есть Бог, и находится рай, а под землей – ад. Если будешь соблюдать Божьи законы, то попадешь в рай, а если будешь грешником – то попадешь в ад. Но почти в каждой деревне было по одному-два вольнодумца, чей жизненный опыт, как правило, выходил за пределы родной деревни. Крестьянский здравый смысл этих людей напрочь отвергал все, что нельзя увидеть и пощупать рукой. «Многие старики в деревне считали, что мир сотворен Богом, что все события, происходящие на Земле, зависят именно от воли Божьей. Но мой дед в это не верил. Он говорил, что прожил очень долгую жизнь, и если бы Бог действительно существовал, то он бы обязательно его увидел. Дед был участником империалистической войны видел царя Николая II» (А.П. Катаргина, 1927).

Атмосфера глухих пророчеств, темных предсказаний о будущем России и новой крестьянской жизни характерна для русских деревень

начала XX века. Какое-то томление жизни остро ощущалось многими. «Я слышал от бабушки, что ее дедушка читал Библию и вечерами рассказывал, что будут птицы железные, что земля сплетется проволокой. И все это сбылось. И самолеты летают, да и земля вся проводами обтянута. И что будут войны большие. Одна война – свергнут царя, вторая – в ней наш народ победит (“Красный петух победит”). А последняя война будет – никто не победит» (В.А. Пестова, 1921).

Бережно и трепетно относились к иконам, имевшимся в каждом доме. В праздники и воскресные дни на время службы в церкви зажигали перед ними лампаду. Иконам придавалось магическое значение – ими родители благословляли детей на брак; под ними лежал на столе покойник. Особое значение вынос икон имел при пожаре, стихийных бедствиях. «Говорили, что если при пожаре горит один дом, чтобы на другой не перекинулся огонь, вокруг горевшего дома носили икону “Неопалимая купина – божья мать”». И говорили и верили, что ветер поворачивается в другую сторону от дома, который не горел. Очень берегли венчальные иконы. С помощью их благословляли. В каждом доме было не по одной иконе. Даже если двухэтажный дом, то иконы были на каждом этаже» (В.А. Пестова, 1921).

В полной невыносимых тягот и лишений жизни старые крестьянки горько сетуют на отсутствие Бога. Свое отношение к нему, как к большому и маленькому начальству, они характеризуют одним словом – страх. Для них Бог не защитник слабых и униженных, а карающий за любую земную провинность небесный контролер их дел и чувств. Анна Ивановна Петрова (1916), оставшаяся неграмотной до сего дня, размышляет о своей жизни: «Бога все боялись. Верили. Каждое воскресенье ходили в церковь вместе с родителями. Но сейчас я в Бога не верю. Он мне ничем не помог. Осталась одна без мужа с пятью детьми маленькими. Я и так жила плохо, почему он мне не помог, если он есть. Спокойно себя не чувствовала. Всегда была в страхе. Без отца осталась рано, без мужа рано. Все была тревога как детей прокормить, воспитать».

И все же, хотя жизнь была каторжной, большинство крестьянок обиды ни на кого не держат. Они остались верующими. Особое место в жизни человека занимала исповедь – своеобразное очищение души от грехов. Дарья Николаевна Казакова (1901) рассказывает: «Чтобы легче душе было, ходили в церковь исповедоваться. Перед тем, как к попу идти, не ешь 5 дней. Все только постное. Покаешься, а другой раз поп сам вопрос задает: “Торох воровала? Кого оскорбляла?” Ну и другое всякое. Даст крест поцеловать, ризой накроет, перекрестит; потом Евангеле поцелуешь и отходишь. Когда обедня отойдет, идешь ко причастию. Чайную ложку причастия выпьешь, просфирку съешь и запьешь водичкой. Грехи сняты. Все ходили на исповедь. Самое малое раз в год. Я всегда была активисткой в церкви».

Надежда, вера в будущее была очень сильна. Представления о загробной жизни были четко определенными. «Каждый человек ждал чего-то лучшего. Думали о будущем, верили, что жить будем лучше. Хотели грехи сдать, молились Богу. Знали, что на том свете водить будут: кто грешен – в огне будет гореть, кто не грешен – в рай попадет. Бес тянет в левую сторону, ангел – в правую. Если не грешен, ангел перетянет. По мутарству там водить будут. Сначала – свидания с родными, но это не долго. Потом всяк свое будет» (она же).

Павел Николаевич Малышев (1910) рассказывает об этом же, но более образно: «Что говаривали наши старушки о загробной жизни?»

Говорили, милая, что здесь, на Земле, мы живем лишь частично, что с приходом смерти душа человека продолжает жить. От того, как прожил на грешной земле человек, будет зависеть, куда он попадет на том свете – в рай или в ад. В раю тепло, кругом сады, в них полно всяких там яблок, груш и прочего, кругом поют красивые птицы. Люди живут в красивых домах, кругом бегут речки и падают с холмов водопады. Людям приносят еду разные феи. А те, которые прожили беспутную жисть, плохо работали, не почитали господ Бога, пьянствовали, развратничали, не становили своих детей на ноги – попадут по кончине жизни земной в ад. В аду черти хвостатые поджидают беспутных, подогревают воду в больших котлах для того, чтобы потом посадить их туда. На некоторых подвозят воду и дрова, на других катаются верхом черти».

К священникам отношение было в основном вполне доброжелательное. Они были частью той жизни, непременным (и необходимым) ее атрибутом. Хорошо знали семьи священников, дети которых в XX веке очень часто пополняли сельскую и городскую интеллигенцию (учителя, врачи, инженеры). А.И. Сухогузова (1924) рассказывает про родное село: «К священникам верующие относились по-доброму. Наш священник был очень хороший человек, довольно грамотный, трудолюбивый. Имел корову, сено заготавливал сам. Была у него и пасека, земельный участок, который тоже обрабатывал сам со своими детьми. Дети все были грамотные: дочь Усольцева Нина Николаевна – учительница русского языка и литературы. Она учила меня в Великорецкой неполной средней школе. Два сына его – инженеры, которые трудились в городе Вятке, а на выходные дни приезжали домой на лодке».

Церковь была регистратором всего течения семейной жизни (рождение, брак, смерть – официально фиксировались ею). Священник знал изнанку любой семейной жизни и был силой примиряющей.

Церковно-приходские школы для многих крестьян были единственным источником грамотности. В них детям пытались дать не просто грамоту, а четкие и определенные нормы мировоззрения и поведения. Е.Я. Прокашева (1911): «При церкви была приходская школа. Школа была деревянная на четыре класса. В этой школе я училась три зимы. В революцию четвертую зиму учиться не пришлось. В школе нас учили священник и еще учителя. Изучали закон божий, арифметику, грамматику, еще нам давали занятия по ведению домашнего хозяйства. Я как думаю, что и сейчас тоже надо такие занятия, а то нынешняя молодежь ничего не умеет. В религиозные праздники нас водили в церковь, где учили правильно вести себя в Святом Храме, относиться к ближнему и нищим, которые стояли на паперти, также учили правильно пожить крест и давать поклоны.

На селе у нас священники были самые почетные и уважаемые люди».

«Особым святым местом в селе была церковь. Она стояла на пригорке беленькая, как невеста, и люди шли к ней на исповедь и в радость, и в горе. В молитвах они находили утешение от нищенской тяжелой жизни» (К.Н. И-ова, 1921).

Василий Матвеевич Кобелев (1930) вспоминает о церкви как о празднике души, своем детском чуде: «В нашем селе, которое стоит на небольшой возвышенности, в центре стоит белокаменная церковь. Так эта церковь до начала Великой Отечественной войны 1941 года была главным очагом культуры и воспитания всего населения в округе. Церковь была видна со всех сторон за несколько километров. Ее поэ-

лоченные купола и колокольни сверкали в солнечных лучах. Вокруг церкви со всех сторон росла сирень шириной 3 метра, а перед сиренью стояла металлическая ограда очень красивой работы. Между церковной стеной и сиренью были захоронения священников с надгробными плитами. Вокруг стен церкви была абсолютная чистота, и это вызывало какое-то особое волнение, когда проходишь по этому месту. У нас – мальчишек 6–10 лет это оставляло неизгладимое впечатление. В дни службы и религиозных праздников со всех сторон собирался народ на богослужение.

Это был разнаряженный народ. Некоторые шли босиком и только метров за 200 от церкви они обувались. Мужчины были, как правило, в сапогах, яловых, смазанных дегтем. Из дальних деревень ехали на лошадях с разукрашенной упряжью. В телегах с родителями было много детей. Весь этот люд стекался вокруг церкви, и все это напоминало большое шествие. Внутри церковь выглядела настоящим музеем. Все было прибрано и ухожено и блестело россыпью золота. При звуках церковного хора все это захватывало дух. Все стоящие в церкви были захвачены богослужением и неистово молились. Во время служения никто не разговаривал, и поэтому было отчетливо слышно все слова священника. В церкви были люди всех возрастов. После богослужения народ расходился не сразу. Некоторые уходили на кладбище к могилам родственников и знакомых. Кладбище находилось метрах в 400 от села. Многие заходили в лавку, в которой было много всяких товаров. Торговля всевозможными товарами проходила и на улице. Торговали и частные лица. Тут были товары домашнего промысла. Торговля шла бойко и весело. Это были настоящие праздники, к которым готовились все».

О своеобразной психологической разгрузке, снятии повседневного напряжения в церкви вспоминают многие. «Религия вообще действовала на людей успокаивающе. Выйдешь из церкви, как облегчит тебя, идешь, не чувствуешь под собой дороги, на душе легко и спокойно» (М.В. Пикова, 1914).

В село во время церковного праздника стекались жители всего прихода – со всех окрестных деревень, находившихся порой довольно далеко. Для них такое паломничество имело свой особый смысл (как выход в большой мир, общение с соседями и знакомыми из других деревень, праздничный базар). В большие праздники, конечно же, в центре внимания был религиозный обряд. Матрена Андреевна Кудрявцева (1910) хорошо помнит: «В церковный праздник с вечера уходили в церковь, которая в 17 километрах от нашей деревни была. Шли пешком, босиком, обутки берегли, несли с узелком на палочке. В узелок складывали кулич, яйца, булочную мелочь (всякие кренделя, “сороки” – булочки в форме птички). В церкви с вечера до утра шла служба (всеношная), и на клиросе пел церковный хор. Я тогда голосистая была, все время пела в церковном хоре на клиросе, знала все молитвы, обряды. Поп-батюшка заранее присылал мне записку, дескать, Матрена Андреевна, окажите большое уважение своим присутствием на всеношной. После богослужения, едва рассвет, выходили и шли с иконами вокруг церкви, а перед тем батюшка всем давал причаститься».

В народе постоянно ходили устные рассказы, предания о местных чтимых святых, чудотворных иконах, святых целителях всех недугов телесных и душевных. Нередко к уважаемому монаху-наставнику (реже – монашке) приезжали за советом и помощью издалека. Анна

Кузьминична Михайлова (1911) рассказывает: «Жила еще на свете Натальюшка Истобенская. С 9 лет слегла она и не вставала. Жила при монастыре, а когда монастырь закрывать стали, выкинули ее солдаты во двор под забор. Да слава Богу, люди добрые к себе ее взяли. Так вот, ходило поверье, что она молитвами людей исцеляла. Я к ней и в молодости ездила, и потом, когда сын умер. Она-то меня и научила, как жить дальше, обратила меня к Богу. Благодаря ей и выжила, с ума не сошла.

Вера в Бога и помогала во всем. Люди добрее были, не было хамства грубого, доверяли друг другу. И к природе по-другому относились. Бывало, зайдешь в реку, а рыбы так из-под ног и выскальзывают. Не то, что теперь. Мне кажется, что слишком много людям власти дали, давали бы не всем, а тем кому стоит».

## Судьба

Люди воистину жили как Бог на душу положит и несли свою земную долю (будь это даже доля нищего) с достоинством и терпением. На жизнь роптать было не принято – ее следовало принимать какая есть. Сам человек изменить свою жизнь был не в состоянии. Будущего, как правило, поэтому не боялись и ждали от него лучшей жизни. Афанасия Александровна Машковцева (1917) и сейчас, подобно своим дедам, считает так: «Судьба Богом дана. Каждая судьба Богом дана. Плохо или хорошо жилось – не роптали, значит то на роду написано Девушка замуж вышла, люб в дальнейшем ей будет муж иль не люб, живи, на судьбу не жалуйся и во всем повинуйся мужу своему. В основном судьбу решали в семейном кругу. Отец определял, куда тебя определить. Если родился в деревне, на земле, то и работай на ней, а уехать куда и речи быть не может. Поэтому семьи крестьянские были крепкие, сплоченные. Вот отец не отдавал на обучение, а оставил работать, говорил, что для этого много знаний не надобно».

Судьбу, человеку предназначенную, было не переломить. Н.В. Огородова (1919) хорошо помнит такой случай: «Судьба у человека разная, что написано на роду, этого нельзя изменить. Так одному парню предсказали, что когда будет у него свадьба, то утонет он в колодце. Не поверили, конечно же, люди, но колодец все же заколотили. И вот свадьба была, а он вышел на улицу, так, лежа на колодце, и умер».

Мужчины впрочем, все же меньше поддавались мистическим переживаниям, были частенько закоренелыми прагматиками и рационалистами. Н.И. Рычков: «Жили, лишь бы поесть чё. В общем, звериный образ жизни вели, полужвериный. Народ был дружный, конечно, очень помогали друг другу... Вот смысл жизни был: побольше бы лошадей у меня было, побольше бы хлеба вырастить, да чтоб хватило, да не заболели бы... Раньше високосна года боялись: ой, Високос, Касьян немилостивый, на кого посмотрит: на людей ли, на скота ли, на урожай ли...»

Жизнь, надежная, хорошо проверенная поколениями предков, шла по накатанной веками колее, поэтому больших страхов и фантастических умствований в крестьянской среде не существовало. А.А. Машковцева продолжает: «О будущем больно не задумывались, не надобно было думать об нем. Верили всегда в лучшее будущее, что легче нам будет, а если пока тяжело – ничего, потерпим. Все веровали в Бога и от того, как ты поработаешь, зависит, попадешь в рай или в ад. На земле мы временно находимся, а основная наша жизнь там.

Смерти не боялись, все равно человеку уготовано помирать, сколько Богом дано, столько и проживешь на этом свете. Только как проживешь. Прожить надо честным трудом, чтобы люди поминали тебя хорошим словом. В молодости, правда, кому хочется помирать. В сундуке лежит уже наряд для похорон, специально приготовленный».

Смысл жизни видели в стремлении к лучшей доли для себя и своих близких. Интерес к жизни не угасал часто до глубокой старости. Люди не изматывались механическим ритмом машинной цивилизации и жили в темпе и ритме посильном человеку. А.А. Лысов (1924): «Смысл жизни видели в самой жизни. Понимали люди-то, что один раз живем. И все было интересно. Ведь трудишься, а любой труд интересен. Интересно вырастить на огороде капусту, лук. Интересно, зачем мужчина и женщина на свет родились. Все знали, что если вдохнута в тебя жизнь Богом, то все должно быть интересно. Ведь и старику умирать не хочется, все ему интересно, до последней минуты. Што бы ишо бы потянуть. Вот был у нас старичок – старый выдумщик. Прохо-ром его звали. Последние часы на кровати лежал, а все: “Старушенька, поцелуй в последний раз”, “Чё там на улице-то дождь пошел? Ну, слава тебе господи, урожай буде”. Кто в Бога-то верил, дак говорил: “Умрем, к Христу за пазуху попадем”. Считалось грех запиться, или отравиться, или задавиться. Это уже все! – сатана на тебе на том свете будет ездить».

Естественность жизни, естественность смерти, спокойно-терпеливое перенесение тягот при неизменно доброжелательном отношении к миру у этих светлых душой страдалец XX века, не озлобившихся в котле горя и ненависти. «У тетки Кати тоже была трудная судьба. Осталась она от родителей 13 лет, была самая старшая, после нее еще четверо. Как она говорила: мать умерла после родов от горячки, ребенок остался жив. Через 40 дней умирает отец от воспаления легких. Сначала ходили соседи к ним ночевать, приучали ее ко всему. Потом ходить не стали. Меньшие не так боялись, а она боялась. Спали на полатах, она в середине, малые по бокам. Заболела маленькая, дело было летом, отнесли ее в чулан, зачем, она сама не знает. Изредка посылала меньших глядеть, жива ли, те придут: “Жива, жива, волосики повеивают”, – а там ветер гулял. Пришла соседка посмотрела, а та уже померла, оконечевшая: Всей деревней им дом перестроили – срубы на дом были. Продали у ребят корову, но их почему-то в приют не сдали. Много им пришлось перенести, но все выжили. Тетя Катя ушла от нас, когда моя младшая сестра ребенка родила, она у них троих ребят вынянчила, помогала по хозяйству. Все говорила: “Ой, слава Богу, хорошо живу”, – хотя жили они вшестером в комнате 16 квадратных метров, кухня одна на троих, т.е. на 3 семьи. Умерла она в 1975 г. на 100-м году жизни» (Т.П. Шихова, 1923).

Истинная ценность, смысл жизни в труде, который никто у человека отнять не в состоянии. Деньги при этом сами по себе большого значения не имели. Важнее работать, а не зарабатывать деньги, важнее иметь, а не тратить деньги. Любопытен в связи с этим следующий эпизод: «У деда был сундучок со старыми деньгами. Когда дед выпьет, то всегда доставал его и всем показывал, сколько он за свою жизнь заработал. При этом все время приговаривал: “Вот их как много, можно всю мою избу деньгами оклеить”» (О.Н. Солодянникова, 1922). Старику важно наглядно показать всем свое трудолюбие (столько денег – что можно оклеить избу, а не купить, например, два дома).

В привычном мире деревни, где все события неизменно повторялись, явление чего-то нового, ранее невиданного, считалось делом дьявольским. Вот как отреагировали жители маленькой вятской деревни на первое появление аэроплана в небе над деревней: «Большим событием для жителей нашей деревни было появление первого аэроплана. Люди в это время находились в поле, и когда увидели на небе огромный несущийся предмет, который еще и гудит, подумали, что это конец света. Они думали, что это сама нечистая сила летит к ним. Все побежали прятаться. Кто-то убежал в лес, кто-то в канавы, а некоторые ложились прямо на землю. Люди истово крестились и причитали, моля Господа о прощении грехов. Одна женщина находилась в это время дома и, увидев несущийся с неба страшный предмет, убежала в погреб и съела там крынку сметаны. Решила: раз конец света, пусть ее сметана никому не достается» (А.П. Катаргина, 1927).

Мифологичность сознания позволяла не просто доверять чуду и ждать его, но радостно удивляться любому его проявлению. Слушать, открыв рот, могли часами – и не только странников и сказочников, но и любые лекции заезжих агитаторов, понять что-либо в которых было порой просто невозможно. П.С. Добрынский (1914) вспоминает: «Когда работали учителями, ходили по деревням. Народ собирался моментально, когда приходил учитель. Готовы были слушать часами. Обратное давали тарантас, зимой – сани. Это было золотое время, богато никогда-никогда не жили, но всегда мы были довольны всем».

Деревенский коллектив был целостным, живым организмом, в котором так легко и привольно было дышать каждому отдельному человеку. «Многое сейчас лучше да красивей стало, акромья души человеческой. Раньше весь народ был доверчивее. У нас вот соседи доверяли друг другу. Вечером высыплют все на лавочки – да как весело: и нахохочемся, и нарвемся все вместе» (Л.И. Рычкова, 1912).

«Все вместе». В этом было столько спасительной силы и душевного покоя.

## Жизнь и смерть

События сами приходили и уходили в потоке жизни – их встречали и провожали, как заведено от дедов-прадедов. К ним были готовы. «В жизни жили, как придется, как жизнь поведет. О судьбе не думали – надеялись на что-то хорошее. А всяко бывало! Будущего не боялись – не думали ни о жизни, ни о смерти, а как уж судьба подведет» (Т.И. Кротова, 1916).

Переламывать линию своей жизни, спорить с судьбой было не принято. «С судьбой мирились люди. Если у кого какое-то горе – то говорили: видно такая уж у них судьба. Умирал молодой человек, тоже говорили, что судьба такая. Лечили не очень. А сейчас вон как родится ребенок, его все к врачу таскают, а раньше детей вообще маленьких не носили к врачам. Мать родит – в свою юбку завертит. Выживет – так выживет, не выживет – так судьба такая. Ребенок болеет-болеет да померет. Никогда их никуда не возили ни в какую больницу. И говорили: так на роду написано, столько Бог веку дал» (А.В. Кропанева, 1914).

Здравый крестьянский смысл не только позволял отнестись к вещам непонятым, запредельным и отвлеченным, но и рождал в крестьянской среде некоторое количество скептиков, своеобразных Вольтеров в

лаптях. Вот речь одного такого человека: «Судьба! Черт его знает, судьба это или не судьба. Судьба, говорят, как индейка. Как жилось, так и жили своей семьей сами. Кто будет указывать, залазить в чужую семью? Каждый в своей семье. А в лучшее все-таки верили. Конечно, верили. Ждали, что лучшее придет, может получше будет. Загробна жизнь! Чо загробна? Умрешь, дак кака там загробная? И сейчас так же. Умрешь, закопают и все. И вся загробна жизнь. Ну вот раньше умирали, их в церкву увозили отпевать – снять все грехи с души нашей грешной, чтоб спокойно хоронить человека. А теперь вот не стали отпевать у церкву возить. Отпевают так, заочно теперь уж. Схоронют, а потом отпевают. Умрешь, а там хоть куда, земля и земля» (Е.Т. Дорохова, 1912).

И все-таки страх смерти постоянно присутствовал в повседневной жизни людей. Он лежал в сознании людей под спудом повседневных забот, но, вырываясь изредка на поверхность, проявлялся многообразно. Люди умели горевать. Мечта о долгой жизни в сочетании с этим осознанным страхом смерти была для человека сокровенной, потаенной, самой дорогой. Анна Куприяновна Фоминых (1907) так рассуждает об этом: «Судьба для нас значила многое. Судьбу определяли родители, они более старшие, отдавали в работники, женили не похотенью. Будущего не боялись, верили в лучшее. Сегодня хорошо, завтра будет еще лучше, дети вырастут, помогать будут. А смерти никто не хотел ни своей, ни тем более родным. Смерти боялись очень. Детей малых ей стращали. У Бога просили, чтобы он дал здоровья и долгих лет жизни, на всех праздниках в первую очередь желали друг другу долгих лет жизни. Сейчас многие не боятся смерти, а тогда боялись очень».

Общедеревенские страхи, общедеревенские радости и общие для всех печали. «Самое большое горе во всей деревне было – это когда кто-нибудь из жителей умирал. Покойников оплакивали – были даже специальные ревуны. Если у одного горе – значит у всей деревни, у всей окрестности горе. Горе делили сообща» (А.В. Власов, 1927).

Смерть как важнейшее осознанное событие в жизни человека требовала и особого к себе отношения. Ее ждали, к ней готовились загодя. Смерть не просто венчала жизнь человека, она и вознаграждала его за эту жизнь. Павла Алексеевна Колотова (1909) считает так: «Смерть представлялась естественным, как рождение, но торжественным, грозным и радостным событием, которое избавляло от лишних забот, лишнего рта и от других страданий. Старики терпеливо ждали смерть и призывали ее, однако самоубийство считалось позором. Старики готовили себя к смерти, но встретить ее спокойно мог лишь только тот, кто был чист душою перед богом и людьми, кто не делал зла и не был одиноким. По-ранешнему считалось: чем больше грехов, тем тяжелее умирать. Совсем безгрешных, конечно, не было. Человек мучался своим грехом, поэтому перед смертью люди причащались и каялись в своих грехах. Это облегчало их страдания. Ранее считалось, что чем добрее человек, тем дольше он живет, а злоба порождает болезни».

Раскрытость, свежесть чувств, их непосредственность и сила, свобода излияния выгодно отличают русского крестьянина прежней эпохи от наших современников. Контролировать себя в моменты горя, стесняться и стыдиться окружающих не следовало – это были родные и соседи, помогавшие человеку горевать. Эмоциональная раскрепощенность. М.В. Сурин (1902) подметил это так: «Сейчас мало плачут открыто, раньше плакали больше. Было очень мало грамотных, а чувства-то – скорбь, горе – были такие же. Когда умирал человек, приходили соседи,

сочувствовали, а сейчас все грамотны стали и сдержаны». В.Г. Богина (1913) тоже помнит: «Спасу нет ревели – кто умрет дак!»

Сочувствие, эмоциональная поддержка распространялись и на тяжело больного человека, находившегося между жизнью и смертью. Александр Георгиевич Рокин (1908) запомнил такой деревенский обряд, практиковавшийся в его родной вятской деревне: «Особенно хорошо в моей молодой памяти сохранился эпизод, о котором люди уже, наверное, забыли. Расскажу я об так называемом “курятнике”. Когда захворает старший в доме и серьезно, то посылали за попом и сзывали всю родню, и всех односельчан, по одному с дому, на “курятник”. В это время накрывают столы скатертями, выносят больного на лавку, усаживают его в красный угол и “начинаются столы”. Это угощение, причем перед каждым стоит чашка с пивом. Сам больной не должен ничего есть. Если он сидит накрытый простыней, то над его головой читаются молитвы священником. Когда кончается его соборование и пирование, его уносят. Причем приметы требуют, чтобы никто не выходил из комнаты, прежде чем вынесут закрытого простыней больного. После чего “курятник” кончался, и весь народ расходился по домам».

Смерть как заслуга всей трудовой жизни человека – такая идея активно пропагандировалась и церковью. Но ведь и священники жили идеями, бытовавшими в крестьянской среде. Анастасия Васильевна Кропанева (1914) помнит: «В то время чтобы смерть заслужить – молились, так в проповедях священники говорили: смерть нужно заслужить, и заранее за смерть люди молились. Те, кто не своей смертью помирал, на себя руки накладывал, тех даже за упокой поминать было нельзя, да и сейчас ведь так же. Считалось, что они водятся с чертями на том свете, и если будешь их поминать со всеми, то они и других к чертям утянут, а всем хотелось попасть в рай. Помирать, конечно, никому не хочется, каждый ведь на что-то надеется, старый или молодой. Свекор умер в возрасте восьмидесяти лет. Он проболел всего три недели. Перед смертью он со всеми попрощался. Мы спали утром с Гришей. Я слышу, свекор говорит тете (это с нами жила свекрова брата жена), чтобы она нас разбудила. Мы подошли к нему, он перекрестил нас и сказал, что живите счастливо и долго. Не ссорьтесь, воспитывайте детей. А мы в ответ сказали по очереди “Прости меня”, а он ответил: “Бог простит”. Потом мы снова легли, так как рано было очень, но я больше не уснула и потом подошла посмотреть на него, а он уже умер. Вот так почувствовал свекор свою смерть. Свекор был очень верующий человек. Он еще в церкви служил, кажется старостой назывался. Пожилые к смерти относились спокойно, а молодым, конечно, умирать не хотелось».

Достойная человека кончина вызывала уважение. Помнили, что этот человек такую кончину заработал всей своей жизнью. «Всяк старый человек был в почете, его заслуженно уважали: раз старый – значит, жизнь прожил не зря, и кое-чему да научила жизнь, раз пряди волос сединой блещут. Много и молодых ребят и девчонущек уносила смерть. Как я думаю: смерть – это заслуга человека» (А.Г. Славутин, 1910).

З.К. Семиглазова вспоминает: «К смерти же готовились, ходили грехи замаливали, все посты соблюдали, все мясоеды. Считали, сколько нужно, столько и проживет человек – и не больше».

Вместе с тем в человеке жила и постоянная опаска, бережение от случайной (не своей) смерти. «А умирать, конечно, в молодые годы никто не желает, да и в старые смерти эдак же боишься. Куда бы ни по-

шел, остерегаешься, чтобы кто чего не сделал худого, не убил. Всегда боишься смерти. Страх есть: как душу отдавать. Хоть и здесь плохого много, да вдруг там того хуже будет. Грехов-то у всех много» (Д.Н. Казакова, 1901).

Плач, даже по родственникам давно усопшим, был искренним. Плакали, как правило, на могилах близких в определенные поминальные (родительские) дни. Причем, одинаково оплакивали родственников, умерших очень давно и совсем недавно. Н.И. Майшева: «Радовались, как и сейчас. Отличий нет. Причитали, горевали вместе. На могилах рев был. Два раза в году ходили на кладбище (в Троицу, в Радоницу), плакали там. Расстелют скатерть на могиле, режут».

Культура семейной, родовой памяти пестовалась и сохранялась. Беспмятство осуждалось. Надежда Васильевна Терюхова (1923) рассказывает: «Я была у бабушки старшей внучкой. Летом бывает праздник Иванов день – 7 июля. В это время горячая пора сенокоса. Бабушка же всегда отмечала именины своего мужа Ивана, нашего дедушки. Отмечала его одна. Испечет хлебушка, возьмет меня с собой, а по дороге на обочине у берез мы наберем земляники и идем на кладбище в Сезенево. Бабушка на могиле прочитает молитву, потом поминаем (едим хлеб и землянику) и идем домой. Вечером дома всей семьей поминали дедушку за ужином. Особых вечеров и обедов не устраивали».

Посещение кладбища было не просто поминанием усопших, но и общение с ними. «Поминали своих родителей: ходили на кладбище. Вставали рано утром, нарвем полевых цветов – ромашек и других – и идем все вместе, всей деревней, на кладбище. Посидим там у своих могил, нарвемся, вспомним своих родственников, поговорим как бы с ними и становится на душе полегче» (И.А. Тумбарцева, 1918).

Но плач людей был только причинным, не нервно-бездомнословным, а конкретным. «Без повода никогда не плакали. Мало ли кто руку сломает, умрет кто, хлебную карточку потеряет. А смеялись часто, часто шутили. Сегодня больше плачут, сейчас больше умирает» (А.В. Зубкова, 1918).

Не так уж и редко рассказы и об общении с душами умерших близких людей. Рассказывает Анна Васильевна Рубцова (1918): «У моей матери у подружки умерла мать, а отец этой девочки был кустарем, и, не подождя 40 дней, сразу же женился. Он имел большое хозяйство, сам был в разъездах, поэтому и взял жену. Им надо было ехать летом на ярмарку. Кустарь и попросил соседей, чтобы каждую ночь, пока его нет дома, ночевали с его дочерью три девочки, в их числе была и моя мама. Пришли они в первую ночь к этой девочке, легли спать, уснули и в 12 часов просыпаются от громкого разговора и стука посуды. Девочки с ними не было. Смотрят они в комнату, а девочка ставит самовар, посуду на стол и разговаривает с кем-то, радуется тому, что гость в доме. “Как хорошо, что ты ко мне пришла, почему ты ко мне раньше не шла, как мне плохо без тебя с мачехой”. И голос ей отвечал, хотя никого в комнате, кроме девочки, не было. Когда прошел неурочный час, поднялся ветер над крышей, и голоса затихли. Девочка пошла ложиться спать и скоро уснула. Всю ночь приглашенные девочки не спали. А наутро девочка сказала, чтобы в следующий раз к ней никто не приходил, что “ко мне маманька придет, мне не страшно”. На следующий раз девочки не согласились уже идти и рассказали родителям, в чем дело, но взрослые убедили их идти, а сами отслужили в церкви молебен, и ночь прошла спокойно. В следующие разы взрослые уже сами ходили ночевать».

Однажды, когда намечалась свадьба, невеста заболела чем-то и умерла. В гроб ее положили в свадебном платье и туфлях. Через некоторое время матери снится эта девушка и говорит: “Зачем ты меня положила в туфлях, я так устала, пошли мне тапочки”, – и назвала адрес, число (когда нужно прийти), и имя покойника. Мать этой девушки пришла в этот дом, и правда, там покойник. Она спросила, можно ли положить в гроб тапочки. Родные покойника, не удивившись этому вопросу или просьбе, согласились.

Как моя мать получила похоронку на мужа, плакала сильно о том, что осталась с тремя детьми, жизнь тяжелая. В один из летних дней в 12 часов ночи просыпается она оттого, что будто бы к дому подъехала лошадь и кучер говорит лошади: “Пр-р!”, и слышит стук в окошко. Как будто видит она мужа и слышит: “Поля, открывай!” Хотела она открыть окно, а в темноте за окошком никого не видит, и начала сразу креститься, мало этого, начала читать молитву и отошла от окна. Тут за окном поднялся сильный ветер и все исчезло. На следующий день она пошла в церковь и отслужила молебен».

Вера в существование души, загробной жизни была широко распространена. Утешительно и предостерегающе думалось многим о загробной жизни. Н.В. Огородова (1919) считает: «И в загробную жизнь люди верили. Раз копали люди землю, нефть искали, наткнулись, говорят, на душу, заревела она, а те испугались и перестали копать. Говорят, душа 40 дней летает вокруг своего дома. А подумай-ка, вот если б отделить душу от тела, сколько ж людей-то уже умерло, они бы ведь все уж заполонили, всю вселенную. Это сюда дана воля вольная, а там человек за все ответит. Один раз Наталье приснился сон, что будто бы в ад она пришла, стоит яблоня развесистая, мужик под ветками прыгает и не может достать, а оказывается это наказание за то, что он людей в жизни обдeldывал».

Жизнь и смерть жили в неразрывном единстве – слитности и во многом зависели друг от друга.

## Стихи по кругу

**Владимир КОРНИЛОВ**

*Братск*

### Рождение утра

Еще витают сны,  
И люди спят покуда,  
Рассветные часы  
Рождают миру чудо...  
Запели петухи  
Свой гимн на всю округу.  
Проснулись пастухи –  
И жизнь пошла по кругу...  
Во мгле еще заря,  
Но мрак ночной редееет.  
...И свет земной творя,  
Господь о нас радеет.  
Он шлёт свой первый луч  
Сквозь дымную завесу,  
Смахнул остатки туч,  
Рассыпал трель по лесу...  
Набрав лучей в горсти,  
Посеребрил озёра.  
Смотрю – не отвести  
Восторженного взора...  
На сердце благодать  
От музыки и света.  
...И я готов страдать,  
Чтоб вновь увидеть это.

### Степь

Сколько красок в палитре степной?!  
Как пьянит разнотравием воздух?! –  
Потому я шагаю хмельной,  
Раздвигая ковыльнюю воду.  
...И от радости громко пою:  
На семь вёрст здесь никто не услышит.  
Ничего от степи не таю –  
Под ее голубеющей крышей...  
В сердце звонкая песня звучит.  
...А вверху, высоко надо мною,  
Белым лебедем солнце степное,  
Словно перья, роняет лучи.

\* \* \*

Не встречал я осенью нигде  
 Красочней и трепетней картин:  
 Лучезарен каждый божий день  
 С серебристой дрожью паутин.  
 Золотые свечи сентября,  
 Придают торжественность лесам.  
 Всякий миг такой боготворя, –  
 Свой восторг дарил я небесам.  
 ...Храм осенний светел и велик –  
 Благодатью Вышней сотворён.  
 Как прекрасен он и огнелик,  
 Солнцем осиян со всех сторон!..  
 Чуть поодаль купола церквей  
 С ярко-желтым пламенем берез –  
 Это образ Родины моей –  
 Дорог мне и памятен до слёз.

### Грустные стихи

Душа томилась у меня,  
 Рвалась наружу:  
 Ей скучны скорбный морок дня,  
 Седые лужи.  
 Как будто кто-то на Руси  
 Вдруг умер тихо.  
 Всё утро дождик моросил –  
 Без передыха...  
 На небе сером, как зола,  
 Померкли краски...  
 Душа же с трепетом ждала  
 Осенней сказки.

### На Рождество

Воздух хрустящ и по-зимнему сладок, –  
 Как карамель.  
 Вновь закружил нас и внёс беспорядок  
 Праздничный хмель...  
 Весело, людно в такие минуты –  
 Сердце поёт.  
 Бог, разорвав наши тяжкие пути,  
 Крылья даёт...  
 Души светлеют в морозную роздымь  
 От волшебства.  
 Небо становится гулким и звёздным  
 В дни Рождества...  
 Теплются свечи на горних иконах –  
 Мир и покой.  
 Кается исповедально в поклонах  
 Грех наш людской.

**Пётр РОДИН***Воскресенское, Нижегородская область***Миг**

На дальнем забытом кордоне,  
Где лайки устали слегка,  
За лосем-бычарой в погоне  
Нам встретилась тень старика.  
Сторожка крепка, косовата.  
Костёр жив вчерашней жарой.  
Весь в саже. Видок диковатый.  
Не тень – старикашка живой.  
Уже ничего не боится,  
Пора к Богу тропку торить.  
– А выпить, дедок, не напиток?  
– Да, лей, есть об чём говорить...  
Из куц борода – лишь полслова,  
Да лишь малахая кивок.  
Он подал, взглянувши сурово,  
Медвежьего сала брусок...  
Пора нам, по свежему следу  
Дорога обратная ждёт.  
Он задал вопрос напоследок:  
– А Ельцин-то как, всё орёт?  
...За веком-сохатым ли гнаться!  
Подумалось мне в этот миг,  
Да с завистью, честно признаться:  
«Какой ты счастливый старик!»

**Никита ВЕЛЬТИЩЕВ***Нижний Новгород***Ночное**

Когда на трассе туман густой  
Ломает отбойники,  
Пытаешься разглядеть, как Кусто,  
Хоть на толику  
Акулы-молота бок –  
Точку косога удара.  
Я, если бы мог,  
Остался б дома, но странно,  
Что тянет нырнуть в молоко  
И ехать глубже, как в Китеж,  
Где не знают, кто ты такой,  
И воздух: ни вздохнёшь, ни выпьешь,  
Где люди молятся талой воде,  
Чтоб не казать купола  
И не знают, что у нас здесь

Размечен весь мир пополам:  
 Слева по трассе идёт пустота,  
 В ожидании встречной фуры,  
 А справа я, смертельно устал  
 И заметил акулу.

\* \* \*

Забавно думать, что город-призрак пуст,  
 Когда он должен быть переполнен  
 Слоями видений, под мерный хруст  
 То ли костей, то ли барабанных перепонок  
 Пассажиров, сходящих в метро  
 По бесконечной реке эскалаторов.  
 Туда, куда старый город-бетон  
 Под надзором камер, закованный в латы,  
 Влекущий только невнятную тень  
 (Как заевший момент на детской кассете)  
 Жизни, которую вести бы хотел,  
 Прячет жильцов своих, словно в сети.  
 Как понять, что уже вернулся наверх?  
 Здесь те же мрамор и толпа в агонии.  
 Может, ты спишь под шорами век,  
 Пригревшись в полном вагоне?

\* \* \*

Строить шалаш, в котором рай,  
 Имея только невкусный твёрдый февраль,  
 Чужую остывшую баню,  
 Застеленный багажник,  
 Бараньи мозги с бранью,  
 Сон про тебя (не важный),  
 Книг на развес центнер,  
 Фото с засосом в глянце,  
 Пешком пять минут до центра,  
 Два безымянных пальца,  
 Чешую  
 (видную только в свете ноутбука),  
 Если доживу,  
 То смешные байки для внуков,  
 Одно стихотворение о тебе  
 И всего ничего любви в нём...  
 Не хватает, короче, для шалаша –  
 Давай строить сразу дом.

\* \* \*

Что может быть лучше:  
 Огни в горах  
 Зажглись там внизу, смотришь –  
 Спускаться пора  
 С крепости в бухту,

Тысяча двести ступеней  
Вниз рухнуть,  
До темноты не успели,  
Сейчас пойдём мимо площадей пустых  
А сзади ещё огонёк-  
В часовне лампада. Кусты, кусты  
И вот, на пирсе прилёт,  
Так надо.

Что может быть лучше: в горы  
Ложатся мотки серпантинов,  
Дырочки звёзд, бойницы домиков строим...  
Тихо горит чья-то машина.

## Евгения ОРЕХОВА

*Нижний Новгород*

### Двор эпохи

На скрипучих качелях застыло время.  
Подзаборные псы закопались в ямки.  
С деревянным мечом и в кастрюле-шлеме  
Скачет мальчик в дырявых штанах на лямке.

Полналичника древних ушло под землю.  
Ворожит вороньё в тополеи вершинах.  
Рвётся гусеница, словно к Фудзи, по стеблю.  
Золотые шары и петунии в шинах.

Сквозь полынь и ромашки глядит окошко.  
Ветер дырками толя свистит на крыше.  
У застрехи птенца караулит кошка.  
А мохнатая гусеница всё выше.

В старом дворике ветер качает время.  
Мальчик вечен. И бабушка за вязаньем.  
В этой почве возрастает любое семя.  
Загляни сюда тихой туманной ранью.

### Давай с тобой поговорим

– Давай с тобой поговорим?  
– О чём? – спрошу тебя.  
– Не знаю.  
И только тихо повторяешь:  
– Давай с тобой поговорим...

– Давай попробуем. О чём?  
О пустяках или том, что важно?  
Марионеточном? Гаражном?  
Погоде, моде? Что почём?

– Давай... билеты купим... в цирк  
Или театр?! Иль просто выйдем  
На улицу и – спичкой чирк! –  
Сожжём мосты, и будет виден

Тот изначальный тихий свет  
Влюблённости в глазах напротив.  
Когда ни дома, ни штиблет,  
А только радость колобродит.

...Поговорить горазды, но  
Мы с тишиною заодно.

## **Лариса МАЗУР**

*Дзержинск*

### **Феодосия (посвящается М. Цветаевой)**

В Феодосии осень, Марина. Как тих городок!  
И листва на ріапо шуршит под ногами. Ей вторя,  
Омывая подножия строк (дерзких строк!),  
Плещет волнами ласково теплое Черное море.

В Феодосии осень, Марина. Неспешен наш шаг.  
Впереди – целый Крым. Рядом – тот, с кем (навечно?) едины.  
И в руке замирает рука. И душа  
Из себя вытравляет последние колкие льдины.

В Феодосии осень, Марина. Идем средь аллея,  
Как и ты в свое время гуляла здесь, сердце сжигая.  
Впереди – череда ясных дней без штормов и дождей.  
И не это ль, Марина, прообраз внезапного рая?

## **Рустам МАВЛИХАНОВ**

*Салават*

### **Лестница в никуда**

Так хочется порой смотреть во тьму –  
Пустую, без синонимов и смыслов.  
Сколь агуманен, говорят, сей вызов:  
Смотреть в ничто, быть должным никому.

Так хочется порой лететь на свет  
Без страха, без сомнений и без тлена,  
Как Феникс, когти вырвавший из плена,  
Сиянием небес творить ответ.

Так хочется порою просто быть:  
Дышать водой, огнём лаская кожу,

Как зверь, печаль твою сжигать на ложе,  
Драконом меж течений звёздных плыть.

Но пусть Бог-Свет, хранимый Богом-Тьмою  
Средь вечностей возлюбит нас покоем.

## **Александр ОРЛОВ**

*Москва*

\* \* \*

Проплыло солнце вдоль калитки,  
Но не зайдут на чай ко мне  
Ни дед, вернувшийся с отсидки,  
Ни прадед, павший на войне.

Я выпью, закурю спросонок,  
Перекрещусь на купола,  
Пойду к одной из разведёнок,  
Искать прощального тепла.

И будут пристально и колко  
Смотреть два берега реки,  
И в тихий омут втянет Волга,  
Измены, сплетни, и долги.

И прочитав юдолям строчки  
Найду в безбожный век возврат,  
Где в детских снах приходит к дочке,  
Пропавший без вести солдат.

## **Людмила ПАЛЕГЕШКО**

*Нижний Новгород*

### **Самарянка**

Студенец глубок  
А быть может – без дна.  
К перекрёстку дорог  
Ты приходишь одна.  
И не знаешь, Кто ждёт  
И попросит воды.  
Ещё шаг. Солнце жжёт.  
Ещё вздох – до судьбы.

## Владимир ЯГЛИЧИЧ

Владимир Ягличич родился в 1961 году в селе Горняя Сабанта, по соседству с Крагуевацем, Сербия. Автор 15 поэтических книг, а также четырёх романов и одного сборника рассказов. С русского, английского и французского перевёл более пятидесяти книг. Является автором и составителем «Антологии русской поэзии XVIII и XIX веков», «Антологии Серебряного века». Лауреат ряда литературных премий Сербии, а также «Золотое перо России» и «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.

Живет в Крагуеваце.

## СКИТАНЬЯ СЛАГАЮТСЯ В СТРОКИ...

*Перевод с сербского Аллы Козыревой*

### Стихотворения

Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,  
одновременно и мраморны, и невесомы,  
те, что загадкою мучат и дух наполняют  
разом – и смертною мукой, и счастья истомой,

разом – и твёрдою верой, и бунтом неверий,  
некой единою вестью из ада и рая.  
Словно из сканеров, компов продвинутых серий  
и из тамтамов, и с луга стоцветного мая,

словно из русской зимы, из ведической притчи,  
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,  
ноты напева летят, человечьи и птичьи,  
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.

Из жития возникают, из охры пещеры, –  
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи, –  
цветом различны и формой, и точностью меры,  
но бесконечны всегда, прозорливы без края.

Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,  
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры  
смысл прилетает, напев человека и птицы,  
и затихает дыханием лавра и амбры.

## Именины

Как фронтовая канонада  
пошла во время снегопада.  
Снег с крыши рухнул невпопад –  
так вся душа свалилась в ад.  
Жена ссыпала соль в солонку –  
подумал: сгрузили щебёнку.  
Я дома. Отдых. Перекур,  
а в голове – былой сумбур.  
На кухне – жарка, пар, кипенье.  
Спешим, готовим угощенье.  
Посудный звон, от печки чад –  
стрельба, орудия палят.  
На блюде – тушка поросёнка,  
в бульоне – косточки цыплёнка.  
Я ж вижу неживой оскал  
и поле с трупами в повал.  
Возникла девка полковая,  
зовёт меня под мост, за сваи:  
«Не мешкай, враг силён и лют,  
а утром, может быть, убьют».  
Исчезла грань меж сном и явью.  
Забыл, где слава, где бесславье.  
Супруга в кухонном дыму  
всё ждёт, что крепче обойму.  
Как дом заснёт, уедут гости,  
вдвоём согреем плоть и кости.

## Молитва

Не дай мне, Боже, злодеянье  
вдруг причинить кому-нибудь.  
Пусть сердце чувствует заранее,  
коль стану на неверный путь.

Пусть сердце держит за основу,  
покуда вертится земля,  
Святого Саввы отче слово,  
весть Милутина-короля\*.

Пускай же не прельстит Иуды  
серебряный победный звон;  
и сербский флаг всегда пребудет  
дороже всех других знамён.

Пусть прогремит содомский выстрел,  
лишь Слово защитит меня,  
когда вольюсь я искрой быстрой  
в Твой\*\* кубок вечного огня.

---

\* *Король Милутин Неманич* – один из великих сербских королей, царствовавший сорок лет и построивший множество храмов.

\*\* *Твой* – имеется в виду Творец.

## Караджичу

Когда ты, Радован, был в силе,  
меня шумиха не влекла.  
Теперь, когда нас разгромили,  
к тебе зовут колокола.

От сербских областей так мало  
ты спас в растерзанном мешке,  
и нужно, чтоб страна собрала  
всё вновь в своей святой руке.

Одним прохвостам нет убытка,  
и весел только негодяй,  
зато душе поэта – пытка,  
одно расстройство и раздрай.

Пускай в узилище, в опале,  
но ты лишь закалён борьбой.  
Твой голос Мойры услышали,  
и сердцем я – вдвоём с тобой.

## Бездомный

Дом сгорел, и пашни опустели,  
Род погиб, и вырезано стадо.  
У костра ищу себе постели  
И дрожу в объятьях снегопада  
На уклоне.

В мире этом призрачном и диком  
Ни души – лишь дым и тьма сырая.  
Иволга меня встречает криком,  
Светлячок мерцает, умирая  
На ладони.

Напоследок яростно завою,  
Ощущая в глотке вкус полыни,  
И уйду дорогой щебневою,  
С одинокой песней, всем отныне  
Посторонний.

## Уединенный

Вот город, где я, полусонный,  
стою в середине пути.  
Разбитых моих бастионов  
никто не сумеет найти.  
Я жил там, где небо бездонно,  
где реже и тише слова.  
Но верю и здесь, что трава  
осилит объятья бетона.

Скитанья слагаются в строки...  
Из луж, разлетясь на куски,  
взирают мои двойники.  
Нет имени. Стерты следы...  
Лишь слышу грядущей беды  
раскатистый голос далёкий.

## Албанка

Встретил я тебя, молодка,  
и застыл заворожённо,  
разглядев, как смотришь кротко:  
вот кого я взял бы в жёны!

Я б ценил тебя, как диво,  
и боясь разрушить чары,  
что упрятаны ревниво  
под накидку и шальвары.

Видно, выдана была ты  
ранним браком за соседа  
и ничуть не виновата,  
став женою муджахеда.

Как велел дурной обычай,  
очутилась ты в недоле,  
став несчастною добычей  
без любви и против воли.

Он тебя терзает бранью.  
Он вокруг чинит злодейства.  
Для тебя как наказание  
умножать его семейство.

Думал прочь податься лугом:  
ноги топчутся упрямо.  
Правда ль: ты вдвоём с супругом  
разрушала наши храмы?

Не могу поверить вздору  
и смешать тебя с напастью.  
Это, видно, наговоры,  
чтоб разрушить наше счастье.

Ты не скажешь мне ни слова.  
Я ж гадаю, как умею.  
Ты, наверное, готова  
стать любовницей моею.

– На подобную затею  
не пойду я, молодлица.  
Прежде крест надень на шею.  
Прежде ты должна креститься.

## Малевич

А художников таких, может, тыщи.  
Что ты в траурном квадрате отыщешь?

Это черные зёрна созрели.  
Это черный человек там в туннеле?

Разве не писал он другое,  
Чтоб душа была в тепле и покое?

Есть картины для веселья и ласки.  
Он другим оставил добрые краски.

Мягкий круг, каркас ли жесткий квадрата, –  
Всё черно – война и утрата.

Бог ли это? Пустота без закона?  
Современного века икона.

На художество не хватит нам злата,  
Пока мы живем внутри у квадрата.

## Могила Волошина

Там мысль летит вдогонку за стихами.  
Там, в Киммерии, нужно жизнь прожить,  
пройдя пешком холмами и горами,  
и притяженье почвы полюбить.  
И там, когда в одно большое время  
сольются все пунктиры зим и лет,  
ты в чуде смерти, в каменном Эдеме  
поймёшь – лишь имя есть, а плоти нет.  
Иди же ввысь, пока земною осью  
поблескивает посох твой в пути,  
И Максов холм могильный встретит гостя  
уже небесным воздухом в груди.

И силу даст, от почвенных щедрот,  
продолжить сна полновоздушный ход.

## Публицистика

### Владимир КУТЫРЕВ

Родился в 1943 году в деревне Высокая Чкаловского района Горьковской области. После Заволжского строительного техникума служил в Советской армии, учился на философском факультете МГУ. Профессор Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, доктор философских наук.

Автор более 400 статей и 18 книг. Основатель научной школы «Философия антропоконсерватизма». Дважды лауреат премии Нижнего Новгорода (за книгу «Естественное и искусственное: борьба миров» в 1995 году и книгу «Бытие или Ничто» в 2010-м). Трижды лауреат Всероссийского конкурса научных публикаций по гуманитарным дисциплинам. За вклад в философию награжден серебряной медалью С.Н. Булгакова. Почетный работник сферы образования Российской Федерации.

Живет в Нижнем Новгороде.

### ПРО(СТИ)ЩАЙ, ЧЕЛОВЕК!\*

*Pulchra res homo est, si homo est\*\*.*

#### Несовершенное совершенство

«Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как ловок и поразителен по складу и движениям! Поступками как близок к ангелам! Почти равный Богу – разумением! Краса Вселенной! Венец всего живущего!» (*У. Шекспир, «Гамлет», эпоха Возрождения*). Привлекает ренессансный романтизм, почти обожествлявший человека. «Человек – это звучит гордо!» (*М. Горький, «На дне», Сатин и актеры эпохи Просвещения*). Привлекает несколько надрывная, но все еще безграничная вера в человека, его творческие способности.

Это пафосное представление о человеке выражает суть идеологии гуманизма, которой вдохновлялась европейская, а по настрою, вся мировая цивилизация, ее искусство, мораль, политика, воспитание

\* Предыдущие «эффоризмы» из серии «Унесенные прогрессом» в журнале «Нижний Новгород» см: Философия всегда 2016 № 1; Прощание с природой 2017 № 1; Техника решает все(х) 2018 № 2; Традиционный человек: многая лета и вечная память. 2018 № 6; Мир и человек, которых мы теряем. 2019 № 5; Если положение безнадежно, надо сделать все, чтобы его изменить. 2020 № 4.

\*\* Человек прекрасен, если он человек (*лат.*).

и образование. Гуманизм был своего рода религией Возрождения и Просвещения, в начале XX века дело дошло до так называемого антропологического поворота, призывавшего смотреть на любое сущее сквозь призму человека.

Но вот произошла Великая технологическая революция, в результате которой, как говорил Эйнштейн, «Стало чудовищно очевидным, что наши технологии превзошли нашу человечность». Соответственно, начинается распространяться другое представление о нем: «Человек – это машина по переведению хлеба в г... Некоторые говорят, что он звучит гордо» (*Георгий Миллер, актер, игравший в фильмах «Марья-искусница», «Варвара-краса, длинная коса»*). Привлекает честный взгляд на себя постмодернистского (современного) человека.

Это не шутка, не случайный литературный выверт и эпатаж, а отражение того, что на передовых рубежах цивилизационного развития развертываются процессы противоположные гуманизму. Нарастает вал вполне серьезных научно-теоретических публикаций, в которых утверждается, что человек плох, при том изначально, «от Адама». Вместо «венца природы», например, известный на Западе некий Гари Маркус объявляет, что «дизайн» человеческого мозга и самого человека никуда не годится. Его можно назвать «ошибкой природы». Это дефектный механизм, хотя практически мы не замечаем его ущербности». Человек – это «клубок» (по-русски – халтура), «выродок эволюции». Или вот книга нашего автора, доктора биологических наук С.В. Савельева с говорящим названием «Нищета мозга». М., 2014. И т. д. и т. п. Началась борьба человека с самим собой в лице его пере(вы)рождающихся в постлюдей экземпляров, так называемых «технолюдей», а точнее, техноидов = мутантов, которые становятся все активнее.

Исполняют эти похоронные ему сочинения все больше хором. Хор зомби-техноидов-трансмутантов! Про(а)грессоров! Коллективное самооплевывание, исторический смысл которого в подготовке замены людей каким-то другим, лучшим «дизайном». (*Кто не верит или хочет подробностей см. обзор этих тенденций: Гуревич П.С. Мизантропология как метанойя // Человек. 2014, № 6*). Короче говоря, антропология перерастает в антропофобию (ненависть человека к себе). Теперь все чаще говорят, пишут, кричат, что у человека много ненужных органов, а каких-то явно не хватает, в общем, он крайне «несовершенен». И потому его надо сознательно изменить вплоть до замены чем-то другим. Крепнет, набирает авторитет и силу движение киборгизации (трансгуманизма) с подразделами «Human enhancement» (улучшение человека), «Human+» – за усовершенствование человека. Для чего развертывается, в сущности преступное, без всякого предостережения о последствиях, манипулирование геномом человека (его «редактирование»). За успехи в котором, дают Нобелевские премии.

\* \* \*

Люди, в какое время мы живем! Человек может удивляться чему угодно, по пустякам. Но поразительно, как никого не удивляет, что на переднем крае прогресса он повел прямую борьбу с собой. На передовых рубежах философии и гуманистики, не говоря уже о самой

техносфере и ее теоретиках, началось идейно-теоретическое самоотрицание. Аутофобия! И в большинстве случаев от имени науки, под лозунгом «прогресс не остановишь». Тон задают бессознательные (сознательных немного или они маскируются) враги рода человеческого, ученые дурачки, которые не понимают, что предложения об «усовершенствовании человека» высказывают не они, а ТЕХНОСфера, потребности реализации ее новейших достижений, объективно вытесняющих человека. В сравнении с мощностью и скоростями техники, особенно с внедрением частоты 5G, он действительно слаб и плох, «не годится»: не справляется, нервничает, не успевает. Сначала в физическом, а теперь, со становлением Искусственного интеллекта, и в мыслительном плане. Искусственный интеллект – это искусственный Субъект! А субъект тот, кто принимает решения, «творец». Соответственно, распространяется идеология бессубъектности человека. О(рас)чистка места. Замечательно точно еще в XX веке сказал Ст. Ежи Лец: «Техника так совершенствуется, что человек скоро сможет обойтись без самого себя». Эта задача сейчас реализуется практически, в ней суть провозглашенной в 2018 году на знаменитом Давосском форуме промышленников и интеллектуалов четвертой технологической революции.

Как предварение и следствие, в философии на первый план выходит так называемый спекулятивный (умозрительный, абстрактный) реализм = направление ООО – «объектно ориентированной онтологии», то есть модель, образ, вернее, математический конструкт *постчеловеческого мира*. Мира, в котором больше не нужны люди. Или другой способ теоретического самоуничтожения: все – и камни, и травы, естественно, любые живые существа, насекомые, черви объявляются субъектами. Все смешать, чтобы замаскировать, запутать потерю субъектности человека. В авангарде технауки распространяется и крепнет идея антропосуицида. Вот они, в основном бессознательные, «мысли о немислимом» – осуществляют!

Однако, прежде чем реальность останется без человека, его надо попытаться приспособить к ее новым требованиям, диктуемым достигнутым, а особенно будущим уровнем прогресса. Эргономика наоборот: не стул делать под человека, а человека подгонять под стул. Трансгуманизировать. Создать кентавра, киборга как гибрид человека и техники путем их конвергенции.

Но как гибридизировать, чтобы «улучшить»? Добавить зубов? – так челюсти надо менять. Поставить дополнительный орган продолжения рода, который, как уверяют генетики, кроме «между ног», можно вырастить и «между рук», в какой-то, а можно и в обеих, из подмышек. Но они «забывают», что сердце-то одно, не выдержит. Вживить в мозг чип (уже вживляют, сначала свиньям (Илон Маск объявил), потом людям, как всегда, сначала «для лечения») – так я закажу более мощный, целый мини-компьютер и т. д. Смысл этого абсурда только в том, что, оправдывая свои суицидные занятия, технократы начинают дискредитировать человеческий род как таковой, подводя к мысли, что раз мы несовершенны – надо переделывать, а в сущности, заменять. Сначала «по частям», а наиболее радикальные открыто говорят, что «вообще». Вплоть до пусть будут какие-нибудь «световые коконы» или другие носители информации про человека. В Большом, Универсальном, равном планете Земля Компьютере.

\* \* \*

Ну да, ну да. Так туда все и идет. Подобным исходом пугали во всех антиутопиях, о чем сегодня, когда они реализуются (Замятин, Брэдбери, Оруэлл, Хаксли, десятки голливудских фильмов-предвидений...), старательно предпочитают не вс(на)помянуть. Почти все их читали, смотрели, особенно кто либеральные, интеллигентные и политкорректные, истершие в критике социального тоталитаризма все свои языки, у некоторых Великие языки, но... (не)знает кошка, чье мясо съела. Как отрезало. Уже чипы (им) в головы вставляют, а они – не слышали-не видали.

Они правы в предвидении того, что будет. Только не надо называть подобную «предстоящую сущность» человеком. Не надо издеваться над здравым смыслом. Люди вы жалкие, ведь очевидно, что **не вы, а через вас** говорят и проходят стихийные тенденции дальнейшей неограниченной экспансии техноэволюции, ее *саморазвития*, если на них не влиять, ими не управлять, нажимая не только на газ, но и на тормоза. Как мы едем по дороге или как-то влияем на стихии природы. Не хотите, боитесь, тогда скажите честно: мы/вы либо предельно тупые, особенно когда современно образованные, глупцы, либо патологические трусы – работаем над самоубийством.

«Несовершенство» – это предлог. Человек, как все в мире, – это «несовершенное совершенство». В своем роде, как «разумное живое» он совершенен, выше его никого нет. И в тоже время, все что развивается, всегда = по определению, несовершенно. Крокодил в своем роде тоже совершенен или несовершенен. Его можно различать по совершенству в пределах его природы. Если изменять дальше, стремясь сделать акулой или обезьяной – это уничтожение данной формы. Так и с человеком. Да и изобретенные сейчас гибриды и даже роботы, через 5–10 лет будут тоже несовершенны. Уже на следующем технологическом витке. Люди, если кто еще люди, давайте попытаемся понять эту элементарную диалектику развития, хотя бы, для начала – философы, и не соблазняясь бессмысленно-бесконечным «улучшением», будем заботиться о сохранении собственной формы бытия. Это самая глубокая = онтологическая экология!

«Совершенное совершенство» – только антропоморфный Бог как идеал Человека. Его вечности.

## Язык о человеке

Давайте, пока не поздно, вспомним какой он, совершенно несовершенный человек «на самом деле». Послушаем, для начала, пока все не стало цифрой, **язык как «дом бытия»**, который построил и сам вырос в нем, Ты, человек, кого еще не очиповали.

**Человек:** чело-век, цело-век, тело-век; тело, тло, зола, глина, земля = адам (др.-еврейск.), антропос (греч.), гомо, гумус = почва, гуманизм (лат.), жень (китайск.), ме/а/н (англо-нем.).

**Мужчина:** мускина, мускул (лат.), мушца, мышца, мо(у)щина, мощь, могу-щество, потенция = сила, энергия, мужество; вотец, вот-(сам)ец (нашли причину ребенка), вотчина, отчина, от(е)чество.

**Женщина:** генщина, наследие, род, родина; мать, матка, основа, мать-сыра-земля, матица, материал = «из чего все» = материя; дева, Ев(б)а, р-еб(в)енок, ба-ба, ма-ма, – лепет, первые слова человека, кото-

рые должны быть самыми почетными в языке; обезумевшая цивилизация их преследует.

**Тело:** тло, зола, земля, глина, прах, вещество, вещ(ит), весит, плоть, плотный, телец, теленок, тяжесть, при-тяжение (тела к телу) в космосе и жизни. Его возможности: чуй(в)ства, нюхом, носом чую, ощу(пъ)щение руками потрогать, понятие, по(н)ял, поймел, Адам (познал – эвфемизм) по-ял Еву, о-влад-ел.

**Кожа:** кожура, кора, корки, корень, шкура, шкура, с(ш)корняки, скуратовы, кожаное пальто или сапоги.

**Лицо:** лик, рожа, рода, урод-а, морда, рыть = рыло, харя = хара(я) характеристика, табло, фейс.

**Волосы:** волесы, лес, волусы, в-усы, вис(ки), висы, плешь, опушка, макушка, вихры, бор-ода, под-бородок.

**Глаза:** г-лазы, вы-лаз (в Сербии, на входе в автобус написано «влаз», а на выходе «вылаз»), про-ходы, от-верстия, оки, очи, очки, о-коло, зен(ки)ица, зенит, центр; г-лазут-чик, соглядатай, гляделки, вз-гляд.

**Уши:** уши, с-лухи, слухачи, слу(ы)шать, олух, неслух, глух-ой.

**Рот:** рвот, рвет, ртище, рана. Орудие убийства, самый страшный орган любого живого существа, место, где находят свою смерть другие существа. Уста, устье (реки), куда все впадает, устная (ротовая) речь; пасть, где все пропадает, про-пасть, впадина, попался, падаль; няма, ням-ням, яма, Бог смерти у индусов – Няма, рисовался в виде открытого рта; хлебало, кусать, вкус-но, «кушать подано, жрите (жр, хр – звуки при еде животных), пожалуйста», кус(ш)айте, гости дорогие.

**Язык:** яз-вык, я-звук, звучать, звать, на-з(ы)вать, зычить, позычить – попросить; горлить, говорить, орить, орать, к-рик, рык, р(ы)ечать, речь.

**Плечи:** лопатки, крыльца (почеши меж крыльцами, говорили в деревне), крылья, крыло, по(д)крывать, от(за)крывать, кровля, крыша, крылатка и – п(о)лечи, полечу. Птицы мы – были.

**Сердце:** сердце(вина), середина, в середине болит, жаловался, при-дя в больницу, крестьянин; ядро, центр чего-угодно, душа, сердечный, добрый, о-серчать, сердиться, волноваться. Легкие – потому что там воздух. Почки – похожие на почки деревьев. Печень, когда болит, говорили «печет».

**Живот:** жизнь, живо(тно)е, кто появляется не из яйца или икринки, а из живота, биться не на живот, а на смерть; брюхо, обрю(х)зг, рюха, ряха, лицо как брюхо, чрево, чревоугодник, чревато (опасно для живота, жизни), чрево Парижа; старое название – сырище, сырое и вареное, сыровы, т. е. животовы, желудковы, кутыревы. Пуп – центр (Земли), пупок, выше и ниже которого вес тела примерно одинаков; поп, поставить на попа – что/кто выше, в центре, выделяется из ровной массы.

**Руки:** р-ук, указ-ывать, каз-ать, указ-ка; руководить – рукой водить, ручной, руко-пись-мо; палец, палица, палка, паленая ветка, пока не было скребков и топоров.

**Детская считалка,** тывая сверху вниз по телу человека: *Лес* (волосы) – *Поляна* (лоб) – *Бугор* (нос) – *Яма* (рот) – *Груда* (грудь) – *Живот* и (ниже) – где *Барин/Барыня* (хозяин/хозяйка тела) живет. Барин-господин, главный. Барин – сокращение от Боярин. Были бояре, стали баре. Бо Ярый, Бо – большой, богатый, бог-господин, ярый – видный, сильный, яростный, бог Ярило, Солнце, весна, яровые – весенний сев, Яры – высокие места обнаженной породы. Красноярск. Среди бояр были князья. Князи, Конязи. У кого конная сила. Конники-законники. На кону, на коне.

## Он(а), Сам(ец/ка)

**Пестики и тычинки, песта** (если дать огласовку, то все понятно); пестун – совсем младенец, потом грудничок, еще молоко-сос, потом вьюн-оша, не на своих ногах, вокруг отца-матери и – парень, парубок (пар, чистый, пустой, земля под паром, не засеянная, «отдыхает», не плодоносит), далее г(ж)ених; *Генился* и стал

**(В)отец, вот-ец**, вотчина, отчизна; потому что у него есть тыч-ка (тычинки, опыляющие пестик), отсюда тычка как короткая заостренная палка, обозначение границы земельного участка, а если в тексте, то точка, знак конца. Ты – обращение близости, интима и неформальности. Перейти на «ты» = «без галстуков». Галстук, символ застегнутости, закрытости, официоза, коррелят ширинке на брюках, но для всего тела, и вот его, тело, растягивают, открывают, выпускают на волю. Тыкалка, недотыканный, недотыкомка, «ты меня не тыкай», т(ы)варь, творить (человека), месить (т-есто, хлеб для еды), тыворчество, Творец; Бог – Отец наш небесный, Т(ы)ворец Небу и Земли.

**Уд**, образ удочки, удилище, (м)удило, Лука Мудищев, но и удалец, удалый добрый молодец, удаль молодецкая, мал, да удал, удача, «удалой долго не думает», удар(ил), одарил, ударник (винтовки, труда), (м)удак, (м-удо)звон, бл-уд-ница, блу(я)дный сын, блуждать, заблуждение, удо-вольствие, удовле-творение, у-довольно, достаточно, достал, в(у)досталь.

**Тур**, буй-тур, горный козел, созвездие козлотура (козла-самца), турнир (тетеревов за куру, рыцарей за дам). Тур – рогатый бык, рог, наставить рога, *рог*, из которого изливается плодo-род(г)ие, пить из рога, обретать мужскую силу, на рог(ж)ен прет, какого тебе рож(г)на надо, сбить рога – усмирить, турак = дурак, всякий настоящий мужчина – дурак; Дуровы, Дуракины, Дурылины, Дурново – почетные дворянские фамилии, свидетельствующие о производительной силе их родов, только в простонародье – Быковы. Тур-ки – скотоводческие народы.

**Кот**, кош(тяр)ка, котяра, с-кот-ина, кот(ч)евники, *коб*-ель, кобениться, кобелиться, коб(д)ла (стая псов, хулиганов), кобчик, кобец, ка(о)бан – самец свиньи, кобыла - лошадь, которая уже обгулялась.

**Буй**-ствуют, это когда животные, а долго и люди ищут новые возможности, дерутся друг с другом, у них гон. Отсюда буй-ный, боевой, боевой, боец, боевой) б/в/ойна; буй – рог, буй-тур, рогатый бык, козлотур (созвездие козла) и смягчение жесткого звука буй на «х». Наставить рога, чужой рог – значит действовал чужой /б/уй. Буй-вол. Буйвол – бык, а кастрированный, оставшийся без буя – вол. Рабочая скотина. Если по-русски, легченый. Пустой. Итак, б=х=в (распространенная сербская фамилия Вуйкович по-русски Рогов)=рог. (Куда ты на рожон = ... прешь? Какого тебе рожна /.../ еще надо?) Буй, высокое место, или торчит над ровной поверхностью (водой), на острове Буяне, город Буй в Костромской области. Буец, *боец*, бой, боевик, б(у)итва, бойня(а), в(б)ойна; также гребень, г(х)р-ебет.

**Дурак** – это «турак», бык (тура вместе со слоном и конем в шахматах), то есть человек в состоянии возбуждения, д/т/урной, д/т/ урится как бык. «Хочет». Драка, дурака, д(у)рачун. Многочисленные фамилии, в том числе аристократические: Дуракины, Дуровы, Дурново не признак глупости их носителей, а свидетельство производительной силы их родов. Ими гордились. Только в простонародье – Быковы. Только потом, кому-то «стало дурно». Тоже потеря сознания, но не от

страсти, а от слабости. Дурак – это оценка не для ума, а для поведения. Антипод ума – глупость. Дурак – для мужчины в определенных ситуациях – похвала. Отголосок такой гордости у женщин, когда с довольной улыбкой говорят: «мой-то дурак...» Да и от любви «теряют голову», «влюбился как дурак», в отличие от умного, который не любит, а рассуждает. Кто не дурак, тот глупец. «Поздравьте меня, сегодня я был дураком».

**Бор**, бур, бо(у)рмашина, боровок (самец свиньи), бурный, бурить, буренка (корова, которая обгулялась, про-буреная, не осталась в-яловая), бо(а)ран, дичь боровая, охота на самцов весной, когда они в состоянии любви (токуют), б(о)рат, если родился мальчик (с-есть-ра, если д-евочка), о-бор-зел, бордель, бор(ь)ба, борец, бороться, оборониться, браниться, брань, броня, оборона; об-наг(ой)-лел. *Борис* – «славянский Адам» = первый человек, если по-русски, то «Бог создал Бориса», а потом из (н)его р-еб-ра – Еб(в)у. Все это – Genus Homo.

**Семья**: се́мя, семя (раньше племя), усы(ны), которые пускает растение от корня; д(о)чь, черенки, которые отрывают от растения, пересаживая его в другое место; жена, которую сын привел в семью – с(ы)ноха, муж дочери, который ее взял за себя – (в)зять. Племянники – дети брата, сестры, они того же племени (общие дед и бабушка), но другого семени (отца). Родственники, родные – кто из того же рода-племени. Братья мужа – деверья, сестры мужа – золовки. Возможный смысл, (для новоприведенной жены), это люди из дверей общего дома, золы-очага, с которыми надо теперь уживаться, с братьями мужа легче, хотя и опасно (скорее для мужа, если он молодой), но особенно тяжело было уживаться с сестрами мужа. (Поговорка: лучше девять деверьев, чем одна золовушка). Старшие братья и даже отец могли «посягать» на молодую – снохачество. Нередкое явление. Племянники: дети брата или сестры, они уже от другого семени, но одного племени. Отношения отражаются в словах с изменением возраста. Если старший брат, то это «мой братан». Младший – брательник, маленький – братик. Когда сестра старше брата, то это сеструха, если равная, то сестрица, если младшая, то сестричка.

**Близкие** те, кто недалеко, кого можно облизать. Достать языком. Своих детей лижут животные. И люди. И друг друга, когда любят. Если вам/вас некого/му облизать, у вас нет близкого человека. Когда долго целуются, говорят: ну, лижутся. Обнять, обонять(ся), обоняние, обнюхаться, снюхались. Сошлись. У некоторых народов вместо поцелуев, любовь выражалась нюханием друг друга, терлись носами. Пока все у всех не изгадили духи и притирания. Но может быть и обойма (вокруг), об(н)имать, иметь, объ(н)ял, по(н)ял, поимел. Эвфемически переводят как познал: Адам «познал» Еву. На этом о телесности человека при-остановимся. Пока не стали заменять силиконовыми частями, думая угнаться за машиной.

## Против без(д)умного новационизма

Люди! Разве вам, кто живой или хотя бы undead (не мертвый), не ясно, что высокие новационно-цифровые (нано, био, инфо, когно) технологии, так называемые Ni-Tech и особенно гуманитарные, так называемые Ni-Nume, нас снимают? Трансформируя, делая паразитами, отменяют? Их (бы) точное название – постчеловеческие. И разве перед их

девятым валом всякий мыслящий человек не должен стремиться к традиции, быть последователем К. Леонтьева, Ю. Эволы, М. Хайдеггера, т. е. стремиться «к почве», к «Schritt zurück», быть Консерватором?

Если нет, то он либо ещё/уже не мыслит (тупой), либо уже не человек (жертва технологий). «Перезагружен». Нелюдь. Хотя по факту, больше такого: ещё люди, но не думают. А когда думают, то **не в своем уме**. Их умом «думают» обстоятельства. **И** бесчувственные, ничего не видят. Значит, никаких предупреждений не (у)слышат.

Скажут: алармизм.

Скажут: пессимизм.

Скажут: спать хотим.

Отделаются. Чтобы ничего не делать. И даже не понимать.

Для этого заболтают, зацитируют, задушат в объятиях, как Ницше, Хайдеггера и любых других мыслителей, решавшихся думать по/о сути, об основаниях, т. е. принципиально, т. е. стратегически, т. е. фундаменталистов. Ради комфорта с компетенциями (фонетическое, и не только, созвучие). Оскудение Души вслед за ленивым телом. И компьютерные игры, киберспорт – *вместо* спорта целостного человека, своего рода церебральный онанизм. Таким же образом начинают исполнять гражданский долг – на выборах посылают голосовать одно чистое сознание. Эта, вместо предметной деятельности = труда, который создал человека, мастурбация мозгов все шире распространяется, даже насаждается, но утрачивая способность смотреть дальше своего (хотя бы, или особенно научного) носа, никто как бы ничего не понимает, что это значит и, в конце концов, куда (при)ведет.

\* \* \*

С передовых позиций новацинизма слышатся крики о необходимости более ускоренного вступления в «шестой технологический уклад» и совершения «четвертой промышленной революции». Появилось философское направление – акселерационизм. Вот-вот толпы, сначала образованцев, потом полуобразованцев, потом он-лайн образованных, потом все начнут повторять эти призывы, совершенно не задумываясь об их смысле. А он в том, что в них самих, как «традиционных людях», производство уже не будет нуждаться. Не только производство, а общество в целом, когда не нужно будет ни врачей, ни учителей, ни т. д. Нас заменят машины. Полностью. Что все будет делаться автоматически, роботами. И не как отдельными устройствами, а как Системой создания новой реальности и управления всем сущим, включая людей. В этом вся уть=смысл=соль=фишка нового поворота к искусственному, суть которого в появлении искусственного субъекта (интеллекта). **Последнего поворота**, на котором живой человек будет окончательно сброшен на обочину дорожной карты прогресса и который дальше пойдет без него. Приветственно крича об этом, фактически кричат о своей социальной, а потом и биологической смерти. **Жа-ждут небытия**. Или/и о том, как превратиться в роботов. Позволим себе перефразировать одно известное высказывание, по другому поводу, но структура фразы совпадает, одного известного человека в должности президента: «Люди, вы хоть понимаете, что вы творите»? Нет, ответят они. Не знаем, не понимаем и знать не хотим.

Почему мир (вслед за авангардной цивилизацией) теряет чувство жизни? Не видит оче-видного нарастания процессов своего само-у-ни-

что-жения. И даже приветствует его, превращаясь в трансгуманистический. Это защитная реакция. На невозможность что-то изменить. А кто видит и хочет изменить, тот «спорит с веком». Без-защитный/надежный дурак. Но: *Omnia homini, dum vivit, speranda sant* = Пока человек жив, он на всё должен надеяться. Не на то, что люди «прозреют» и будут что-то делать ради своего спасения. Никогда. А на что-нибудь. На «случай», Бога, чудо. По-научному: на нелинейность и неопределенность развития. Не бывает настолько грустной собаки, которая бы не виляла хвостом, говорят итальянцы. Я – собака, которая виляет хвостом. Грустно, конечно. Читатель, давай, дружить-ся!

## Все из бита(о)

Духовная история отношений человека с миром: переживание → мудрость → сознание → мышление → исчисление. В символах: Миф – София – Логос – Рацио – Матезис. Сегодняшнее положение в символах: Миф – архаика, София – в резервации, Логос – в подполье, Рацио – исчезает, Матезис – растет. Наступает, реализуется. Искусство умерло, философию гонят в шею, наука информатизируется, технологии автоматизируются. Цифровизация: *It's from bit* (все из бита). Пора переписывать Библию: В Начале была Цифра. И цифра была у Бога. И Цифрой был Бог. Только как(ая)ой: 1 или 0? – вот что мучает философствующих мудрецов нашего времени. Как консерватор, я за 1 Един(ое)ицу. «Заединщик». Против «обнульщиков» и истерии новационизма.

Деградация общения, этапы: молчание, разговор, письмо, коммуникация, и, наконец, коммутация. Конец общения. Как обмен электрическими импульсами от мозга к мозгу. Над этим работают ученые в лабораториях всего мира. Чтобы вместо человека как деятельного, осваивающего мир субъекта в интернете осталось «тело без органов» (если руки, ноги и т. д. остаются, то по инерции, по сути они не нужны) и «шевелиющаяся протоплазма».

Чувствую, значит живу. Знаю, значит действую. Компетентен, значит функционирую. Но все это делает еще человек в предметной реальности. А вот «расширять сознание» нажимая кнопки компьютера, значит, становится вирусом, который оживает только в виртуальной реальности.

Раньше человек говорил: нет настроения. По(с)раженные небытием и побежденные медициной жалуются: депрессия. А философ скажет: опять приступ Ничто. Ничего не хочется. **На нуле.**

\* \* \*

Люди действуют либо от недостатка, либо от избытка. Чего угодно. От нарушения душевного равновесия (равно-душия), к которому обычно стремятся как синониму покоя и счастья. К такому счастью надо стремиться, но не достигать. Кто всего достиг – тот все потерял. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Не согласен. Искренно смеется первый. Хохочет. Последний – хихикает. Настоящий смех всегда дурацкий. Это телесно-духовное выражение радости бытия. Беспричинный. Он уходит. Вместо смеха – ирония и юмор, возникающие при сдвиге или сшибке разных по уровню восприятия смыслов. Это «логический смех». Интернет и газеты переполнены анекдотами,

но над ними не смеются, как когда-то было, когда их рассказывали. Только ухмыляются. Это «смех про себя», внутренний, в голове. Беззвучный, «смайлики». Невидимые миру слезы и неслышимый миром смех. Не смешно.

Интеллектуал: все его чувства отравлены мыслями. Настоящее поражено будущим. Он потерял нечто очень важное для жизни – способность к легкомыслию. Его физическое тело живет в силу инерции, ибо тяжелее мышкы он ничего не поднимал. Гляди того, не сможет и это. Всегда озабоченный, однако, не столько реальными, сколько возможными проблемами. Виртуальная проблематизация мира – таков результат развития рефлексивных способностей человека. Существование в потенции, прежде чем перестать существовать вовсе. Эпоха **Вы-рожден-и-я**.

Но тут навстречу радостно выбегает наука. Эстафета принята. Компьютерное сканирование личности, искусственный интеллект, саморазвитие информационных комплексов. Вплоть до «редактирования эмбрионов», как теперь «редактируют» лица в косметических салонах. Никого друг от друга не отличишь. Все красивые. Редактировать можно, и будут, не только тело, но и психику. Что тут будет! Вот она, чистая, каноническая, не замутненная в своем преступном характере деятельность. Технонаука – враг человека. **«И применишь ты смерть от коня своего»**.

\* \* \*

Вот еще одно диалектическое коварство жизни. Доверительность общения, которой так жаждут люди, включает в себя ядро саморазрушения. Доверительность предполагает сохранение тайны. Но доверительность с другим человеком требует не таить ничего. Нельзя иметь доверительное общение со всеми людьми. Ложь – неизбежный элемент жизни.

Все интимное – любовь, порок, преступление – скрепляется тайной, тем, что знают только причастные. Есть более широкие группы интимности – тайные общества. Тайна объединяет, снимает отчуждение между посвященными в нее. Возникает живая, жизненная связь, которой так не хватает людям. Преодолевается механистичность существования, его скука. Иногда такая потребность реализуется через «мафию», в русском варианте через «опг». Но все это только у достаточно сильных душ. Большинство раскаивается, боится, что «влип». Однако человек, у которого не было тайн – пустой.

Тайна противоположна секрету. В секреты играют, ими делятся, а от тайн сходят с ума. Тайну, если употреблять это слово строго, знает только один – сам человек! Когда *min* двое – это секрет. Преодоление невротизма: превратить тайну в секрет. Тайна здоровой жизни: никаких тайн, одни секреты.

Феномен беглеца из США программиста Э. Сноудена и после: если к журналистам попадает все, о чем говорят главы правительств, чего уж говорить о рядовых людях. Оказывается, в мире больше нет тайн. А мы и не знали. Это была последняя тайна мира. Со Сноудена началось ее разоблачение.

По мере сил я стараюсь всегда говорить правду. Сбрасывать маски с себя и других. По мере сил я стараюсь лгать. Хранить тайну. Свою и чужую. Плохо, когда нет сил ни на то, ни на другое. Это – слабодушие.

Но что значит быть сильным? По крайней мере, в наше время. Это значит – *уметь приспособить(ся)*. К человеку, к ситуации. К эпохе. Только не надо это понимать упрощенно, этически. Приспосабливаясь, чтобы остаться. С собой. В этом сила. В идентичности. В адекватности. Как их сохранить? Быть искренним. Искорени, из корня, т. е. жить исходя из/по сути дела. Трудно, фундаментализм. Правда, техника может помочь и тут: продают «тренажеры для улыбок», одновременно можно записаться в группы по овладению этим лицемерием.

Один мой студент сказал, что он не носит, даже не имеет мобильного телефона. Намеренно. Ну и чудак. Чудило. Как я его зауважал. Правда, это было 10 лет назад. Не знаю, долго ли продержался, но тогда на экзамене по философии – сразу пять.

Раздражают, ругаю, однако про себя уважаю опаздывающих на лекцию. Правда, кто не регулярно. Это уверенные и социально смелые люди. Пофигисты и разгильдяи.

Одинокий человек: если его бьют, некому пожаловаться, если победил, некому доложить о результате. Как бы он себя ни вел, ни чувствовал, по факту он – крайний индивидуалист. Ибо живет сам с собой. Социальный онанист. Мечтали об обществе коммунистическом, а возникает прямая противоположность – онанистическое. Но одно полено плохо горит. Муравей, взятый из муравейника, хотя бы имел все условия для жизни – умирает. Не может один. Люди живут, но несчастливые. Или полумертвые.

Могу ли я сказать, что у меня есть друг? Нет. Только другие. И так у большинства. Все друг другу – другие. Мы теперь даже не товарищи. Слово не зря выпало из обихода. Мы теперь жители, мы население – гражданское общество. Но я не гражданин. И все еще встречаю неделовые, «негражданские» взгляды. Взгляды общения. Реальной дружбы нет. Но сохранилась потребность в ней. Любить людей, созерцать их как собак, траву, воду и прочую природу – это греет. Значит, жизнь еще теплится.

\* \* \*

Есть вещи, о которых можно лишь думать, но не говорить. Есть вещи, о которых можно говорить, но не делать. Есть вещи, которые можно делать, но о них не следует, ни говорить, ни думать.

Самая трудная проблема для человека не в том, чтобы думать, а в том, чтобы не думать. «Уметь не думать». Я думаю, что не думаю.

Большинство людей боятся нарушить какой-то запрет. Мучаются этим. Но запреты у всех разные. Каждый имеет свой. И нарушает его по-разному. Один, вопреки приличиям, внезапно уходит не попрощавшись. Другой, задумав убийство, долго колеблется. Первый совершает решительный поступок, но ведь он дитя, второй – нерешительный, но ведь он – бестия. Недо – или сверхчеловек? Но, вообще говоря, настоящий мужчина только тот, кто способен на подвиг (совершал) или преступление. Иногда это одно и то же. Крайние полюса отношения к социуму: безвольная преступность или дерзкая невинность. Средний человек как всегда посередине. Русское слово «середина» переводится на латынь и язык науки как «норма». У нормальных людей ненормальные только сны. Грехи прошлых жизней.

Болезненное напряжение в отношении некоторых возможностей возникает от сознания невозможности их осуществления. Но когда, хотя бы раз, они осуществляются, человек становится либо их пленником,

либо его напряжение нормализуется до «интереса», до взгляда со стороны и расчета ситуации. Тогда говорят, что он перестал быть невротиком – выздоровел.

*Самое недостижимое – рядом.*

## На заметку управленцам

Высший на ступень руководитель, если он сильный, при апелляции к нему виновного либо утверждает наказание, либо смягчает его, но никогда не усиливает. Парадоксально, но это усиливает веру подчиненных в его силу. Только слабый боится быть добрым.

Научиться умалчивать, а иногда лгать – признак зрелости духа. Для многих – трудно. Еще труднее при этом – не стать лжецом.

Думая о последствиях, нельзя совершить ни подвига, ни преступления. Настоящие п(р)оступки не просчитывают. Они спонтанны, т. е. бездумны. И вообще, возможно, что самые главные вопросы жизни надо решать жребием. Как древние.

Совершить поступок – это что-то нарушить. Нарушить в этом мире. Смелый – значит преступный. Настоящие преступники талантливы, настоящие таланты преступны. Почему вторых не судят? Свои (зло) деяния они совершают в сфере духа. *Мыслепреступники*. Но иногда осуществляют на деле.

\* \* \*

«Лихие» = «святые» 90-е годы в России: закрываются заводы, распускаются НИИ, потеря накоплений, безработица, а кому начислили зарплату, «нет» реальных денег, чтобы выдать. И т. п.

Реакция людей была разной, в том числе зависела от пола. Женщины переносили эти неурядицы легче – оставались дела по дому, хозяйство, а деньги зарабатывали торговлей. Возникло целое социальное движение – челноки, 3/4 которых были женщины. Они «кормили семьи». Если мужчина, то на подхвате, таскать тяжести и охранять.

Мужчины переживали это унижение драматичнее. Традиционно мужской работы почти не осталось, а женскую – не хотят. До западной политкорректности еще не деградировали. Пили, бомжевали, сводили счеты с жизнью. Но в целом все-таки нашли себя. В преступности. Стали отнимать деньги у тех, кто заимел их обманом, украл «по-тихому» или за копейки присвоил огромную собственность заводов. Как грибы после дождя, откуда ни возьмись, появилось множество преступных группировок – мелких и крупных, люберецкие, казанские, тамбовские, собирали дань с торговцев, крышевали, грабили, рейдерское перераспределение активов. Знавшие математику не дальше таблицы умножения вдруг становились банкирами, владельцами предприятий. При этом шла непрерывная борьба всех со всеми и друг с другом: стрелки, перестрелки, заказные убийства, взрывы машин, суды и тюрьмы, на кладбищах ряды богатых могил. Но выжившие встроились в систему, начали «мирно» использовать капиталы, пошли во власть и, как традиционно, до постмодернистской деградации положено сильному полу по статусу, «кормить семьи». Очень даже успешно.

Короче говоря, честь и достоинство мужского пола спасли бандиты. Кто ими решился стать. «Есть еще порох в пороховницах», по(с)казали

они. Многие, особенно их дети, теперь – наша элита. Кто-то не самые плохие руководители, народ ими даже доволен, защищают от наказания за прежние деяния (если вспомнить события 2020 г. после снятия губернатора в Хабаровске).

\* \* \*

Хороший человек. Если и потому, что он в чем-то плохой. Не-до-ста-точный. Обязательно. Иначе – безгрешный, что свойственно не реальному человеку, а его идеалу, ангелам. Праведник.

Прав(иль)едные люди, если они не в Боге, обычно нетерпимы и злы. Доброта и прощение вырастают из оправдания собственных грехов.

Зло и нетерпимость – грех. Поэтому первые не безгрешны. Грех – это зло. Потому вторые не добры. Божественно-дьявольский принцип дополнительности.

Всегда доброго не всегда уважают. Или даже всегда не уважают. Доброй натуре надо культивировать свойство зла. Злойство.

Ведь человек как лекарство, если безвреден, то бесполезен. Пусть будет больше полезно-вредных людей.

Братъ – радость чувств, дарить – радость духа. Старше тот, кто дает, берущий всегда немного ребенок. Добродушие – признак зрелости. Кто злой, тот не дозрел или, не созрев, перезрел.

Спутник варварства – наглость. Спутник культуры – подлость. Прогресс нравственности: от наглости к подлости. Интеллигентный человек не бывает наглым, только – подлый.

Как вежлив ты в покое и в тепле.  
Но будешь ли таким во время давки  
На поврежденном бурей корабле  
Или в толпе у керосинной лавки?

С. Маршак

А что потом? Ни того, ни другого. Технологии насильственного контроля и регулирования или лгут на голубом глазу. Естественно. Это «высший пилотаж» – (без)-нравственности, по ту сторону добра и зла. По-ту-сторонние люди.

\* \* \*

Запутавшимся в обстоятельствах людям легче иногда уйти в мир иной, чем сменить эти обстоятельства: профессию, жену/мужа, работу. Они готовы сменить мир, но не его детали. Такие вот мы бываем узкими и трусливыми. А надо-то всего – перевести стрелки на другую колею, по которой тоже едут миллионы и считают себя вполне благополучными. Объяснение самоубийств «потерей смысла жизни» не глубже объяснения причин разводов «несходством характеров». Может, будет точнее, если объяснять самоубийства «потерей характера», а разводы «несходством смыслов жизни»?

По статистике, среди потонувших, тех, кто умел плавать, всегда больше, чем кто не умел. Вторые не лезут в воду. Так в любом деле. Жертв больше всего среди полупрофессионалов. Так мы плаваем по жизни вообще. Полно «утопленников». Нежить и утопленники. Много барахтающихся. И только кое-кто – пловцы.

\* \* \*

Молчание – обмен чувствами. Без слов. Из совместного переживания бытия.

Разговор – обмен мыслями. Из совместной деятельности и потребности в общении.

Два старых еврея сидят у тихой речки: Эх, говорит один. И он мне будет рассказывать – отвечает другой. (Читаю курс герменевтики магистрантам – 72 часа, потом говорю: да вот он, весь в одном анекдоте.)

Коммуникация – обмен информацией. Без смысла. Из совместного функционирования.

Чувствую, значит живу. Знаю, значит действую. Компетентен, значит функционирую.

Раньше человек говорил: нет настроения. По(с)раженные небытием и побежденные медициной жалуются: депрессия. А философ скажет: опять приступ Ничто. Ничего не хочется. *На нуле.*

\* \* \*

Личность – субъект жизни. Тот, кто подавив инстинкты, получил душу.

Интеллигент – субъект культуры. Тот, кто утратив душу, обрел духовность.

Интеллектуал – субъект науки. Тот, кто истощив дух, остался с «менталитетом».

Интеллагент – (не)субъект коммуникации. Средостение между человеческим сознанием и искусственным интеллектом.

Его носитель – «человеческий фактор». «Здравствуйте (ф)акторы, молодые, незнакомые», – говорю я своим знакомым компьютерщикам. Хорошие парни. Но головой и сердцем торчат уже в машине. В жизни только нижняя часть туловища – ноги и орган прямого продолжения этой жизни. И то используется не по назначению. Или не используется по назначению. Как руки. Да не руки, а рученьки,жимаю эти узкие ладошки со слипшимися пальчиками. Лапки. Хвост тоже не сразу превратился в копчик. Ласты. Для этого нужно 2-3 поколения. Перебирают-ся как щупальцы, а не носители мастерства и силы. «Шевелящаяся протоплазма», «тело без органов» – придумывают термины постмодернисты. Все гадают – что это. Да не что, а кто, вот они – становятся. (Постмодернизм, его категории – слепок с виртуальной реальности.) Компьютерные вирусы поражают не столько другие компьютеры, сколько компьютерщиков, делая их вялыми, безразличными к «внешнему миру», к другим живым людям. На(ви)сельники сети, превращаются в «текст» и «разговор». Жалко их. Но пожалеют ли они нас, когда будут совсем бесчувственными, «люденами», нас, кто (если) останется не очипован, с душой и похожим на человека? Нас, аборигенов, в статусе новых эскимосов и туарегов. Оставят ли нам места для резерваций? За которые пора бороться.

*Аборигены всех стран, соединяйтесь!*

\* \* \*

В молодости тянет туда, где не был. В зрелости едем куда нужно. В старости туда, где жил и что знал. Интерес смещается в область па-

мяти. В конце пути не живут, а вспоминают как жили. «Мемуарное состояние бытия».

Благополучный человек. Не ввязывался ни в какие события. Прожил долго, но мало. «Долгонезжитель».

Обладает ли человек тем, что не тратит? Вряд ли. Он только «имеет». Долше ли живет тот, кто «бережется»? Вряд ли. Он только существует. Легкость (не)добытия.

Есть время, когда человек получает радость от разнообразия, и есть время, когда он получает ее от постоянства. Когда его тянет бежать, а когда лежать. Время молодости, время старости. Сейчас живут дольше, но лежат больше.

С-рок человека: жить до 60 лет – обязательно, до 70 – нужно, до 80 – желательно, до 90 – можно, до 100 – исключительно. Все, что после, – жизнь после жизни.

Наконец-то научился жить. Но было уже поздно.

О ком это?

Счастливое беззаботное детство. Беспечная юность и удалство молодости. Ответственная зрелость и печальная, ожидающая смерти старость. Такова классическая схема жизни. Но мы живем в постклассическое время. Дети – самые загруженные, самые занятые люди. Учиться начинают с 3–5 лет. Будет «умный ребенок», соблазняют разные дошкольные группы, забыв дописать, что это будет лишенный детства и потом, скорее всего, несчастный человек. Нормальный ребенок должен быть наивным и непосредственным. Но вот юность – вуз, заботы о карьере и работе. Думают, высчитывают, готовятся. Хотя молодой должен бы быть «д(т)урак». Незаметно наступает зрелость. Потолок в основном достигнут, и про себя это понимают. Стало легче. Однако на пороге старость. Ждать больше нечего, зато есть обретения, пенсия. Пора жить беззаботно. Удалым и веселым малым. Надо же когда-то быть молодым. Но большинство не умеют, боятся. Да и окружающие почему-то вместо счастья желают здоровья. Злые языки... В отличие от бытия сущего (Sein), человеческое бытие (Dasein) = сущее +должное. Поэтому: старость не радость – с точки зрения сущего. *Старость как радость* – с точки зрения должного.

## Культуре – конец

*Да? Да. Да!* Как воплощение духовных ценностей она превращается в традицию. Что-либо новое рождается теперь только в виде техники и технологии. Проявлением этого процесса на «человеческом уровне» стал исход из культуры мужчин. В книжной литературе, классической инструментальной музыке, живописи все больше женщин. А парни с детства, заклеив уши плеерами, толкуются у игровых автоматов, сочиняют техномызыку, «рисуют» на компьютерах; став «хакерами» грабят банки; «по работе» же опутывают землю и космос все новыми и новыми программами, и наконец, изобрели другую, компьютерную реальность. Открыв какую-либо аппаратную комнату, вы всегда увидите десяток молодых затылков, в задумчивости сидящих перед своими машинами. «Программируют». Исход из жизни. Из реала в виртуал.

Потеря какой-то сферой мужского элемента верный признак того, что внутренне она надломилась. Стала симулякром. Как все общество – спектаклем. Играют в политкорректность. Но вот не так уж давно

на вокзале, в толпе облепивших игральные автоматы пацанов, я видел трех девочек. Значит, в техническое творчество пошел второй эшелон, и скоро культура совсем останется без носителей. Она превращается в наследие. Становится памятью. И существует как отдельные вкрапления в сплошь искусственной среде. Как пережиток среди High Technology, хай-тек, – высоких технологий, только технологии эти игровые, а не производственные. Универсализация культуры, происходящая сейчас в Европе, да и во всем мире, состоит в том, что она превращается в технологию. **Культура заменяется тек(с)турой, как жизнь функционированием.**

Технократы и космополиты, бывшие идеологи либерализма и певцы свободы, теперь воспевают стандарт и «квоты». Объявлены требования к фильмам на получение премии «Оскар»: среди героев должно быть 30% женщин, обязательно негры и азиаты, инвалиды и геи. И это сумасшествие продолжают называть творчеством, спонтанностью, самовыражением художника. Такие регламентации фактически начинают применять к политике и даже в науке. А скоро будет и в спорте. «Среди победителей» должны быть «такие, такие и такие». Футбольные команды должны быть тоже смешанными, включать женщин и транс-сексуалов, олимпиады по шахматам – инклюзивными, с инвалидами. Короче говоря, реальность и суть дела в паразитическом обществе спектакля больше никого не интересуют. С ними борются. У тех, кто этой самоубийственной патологии сопротивляется и хочет развить, показать природой/богом данные возможности, проявить действительные способности, а также иметь свою веру, национальность, Родину, пол, наконец – «невроз своеобразия». От него лечат – толерантной политкорректностью. Притом агрессивно. Адепты свободы ежегодно объявляют списки «врагов свободы». Чтобы знать, кого преследовать. Чтобы никакого различия. Вот как они заговорили! Мир становится сходящим с ума Западом. **Закат культуры.** На восходе, уже ближе к полдню, XXI века.

\* \* \*

Приобщился к психоделической культуре, пережив измененное состояние сознания. Открывается подлинно экзистенциальное измерение бытия, начинаешь понимать его самый глубинный смысл. До бессмыслицы, когда Все предстает как Ничто. До тошноты, без которой его трудно выразить. Я выразил два раза. Но «не приобщенный» читатель это все равно не поймет. Единственный теоретический вывод, который можно сделать из такого постижения реальности состоит в том, что «все дело в концентрации». От нее меняются миры. **Все дело в концентрации.**

А дело самого перехода в психоделическое состояние было в том, что я красил закрытую (туалетную) комнату. Это было мое первое столкновение с наркотиками как оружием массового поражения. Оно действительно массовое, так как находится на наших стенах. Мы им окружены. Теперь я бы принял участие во всемирном движении за запрещение масляных красок. Да почти всей современной химии. Но к этому никто не присоединится. Бедные мы люди – маляры, всю свою жизнь красим, чтобы стала красивее, а потом оказывается, что краски были ядовитые. И начинает тошнить.

Помогая человеку пилюлями благополучия, давая транквилизаторы, можно прийти к полной неадекватности реагирования на среду, ини-

цирующую болезненные состояния. Неадекватная реакция характерна для сумасшедших не только буйных, но и блаженных, довольных. Все скверно, а он спокоен или даже смеется (раньше без таблетки, а тут таблетку принял). «Сомы грамм, и нету драм» (О. Хаксли). Он не преобразует мир, не улучшает его, а приспосабливается к нему. До каких пор?

Духовные (по-научному, психические) болезни лечатся в основном п(р)оступком, а не таблетками. «Половина» пациентов психбольниц должны бы сидеть в тюрьме. Но побоялись, предпочли болезнь. «Не храни в себе тайну, дабы не (за)болеть» (Гиппократ).

\* \* \*

Считается, что быть аскетом и стойком в обычной жизни очень трудно. Нужна огромная воля. Может быть и трудно – но просто. Отдаваться одной стороне существования – воле, уйти от противоречия проще, нежели выдерживать напряжение борьбы его противоположных сторон, чувства и воли, ума и страсти. В аскетизме всегда есть элемент трусости, боязнь жизни. Настолько, что борющиеся с плотью монахи старались не спать: «во сне можно согрешить». Аскеты, даже святые – это культуристы духа. Сюда же относятся без конца «самосовершенствующиеся» – сидя на полу и в разных позах. Как и рекордсмены бодибилдинга, они – «надутые». Это все-таки слабость, хотя в образе силы.  
*Патологическое совершенство.*

## Прельщение бессмертием

Никто не живет вечно. Даже звезды. Чего тогда стоят разговоры о бессмертии человека. Это понятие с пустым объемом. В случае достижения непрерывности сознания путем «переписывания» его на другой субстрат индивидуальность сознания теряется во времени. Бессмертие станет возможным, когда некому будет умирать. Не будет индивидуализации жизни. Другое дело, что еще слишком мало людей доживает до смерти. Стремиться к тому, чтобы от свечи не оставалось огарка, – вот ближайшая и реальная задача человечества. А на все сетования о бессмысленности жизни надо сказать: жизнь не обязана оправдываться перед мыслью.

Наступление цивилизации на жизнь сопровождается усилением выступлений против смерти. *Распространяется идеология бессмертия:* надеются на него, призывают к нему, проектируют его. А в сущности, все это проявление абиотических тенденций развития, их превратное осознание. Ведь смерть входит в содержание жизни как самый глубокий и фундаментальный фазис ее обновления. Жизнь и смерть – две стороны одной медали. Стирать медаль можно с любой стороны. Наиболее коварное и завуалированное стирание – с тыльной. Смертный человек готовит себя к замене бессмертным разумом. Но перед тем как стать бессмертным, разум должен стать безжизненным. Что и происходит сейчас на деле. И что выражается в идеологии бессмертия.

*Человеческому роду угрожает не смерть, а бессмертие.*

\* \* \*

Церковные похороны, с крестами, свечами, отпеванием и церемонией прощания. Для разумно мыслящего человека все это представляется

искусственным и ненужным. Какой-то устаревшей театральной игрой. На этом заключении атеист и останавливается: религиозные предрассудки. А надо бы продолжить: *любые похороны – предрассудок*, условность, театр. Какой-то языческий обряд с положением в гроб и опусканием в могилу, такой же нерациональный и бесполезный, как в церкви. Только оскудевший символами. В борьбе с предрассудками культуры разумно идти до конца, чтобы сразу, как где-то было у Р. Брэдбери: через 10 мин. после смерти вертолеты уносили тело в крематорий – и все. *И все*. Вот что разумно. А может, еще эффект(ив)нее провозжать под аплодисменты, как теперь уже делают. Хлопки, аплодисменты всегда были выражением одобрения и радости от того и тому, что видят, что происходит. В театре. И вот на похоронах. Сначала их практиковали для актеров, но постепенно начинают аплодировать любому покойнику: рады, рады, уходи скорее. А когда-то, в незапамятные времена, стоял вой, плач и траур по три года, что, конечно, неразумно. Так, пожалуй, разумнее умирать и человечеству в целом, салютуя себе из всех орудий, под спецэффекты и веселую музыку. Решаю(сь) повториться: все при-знаки того, что люди не будут знать, когда их не будет. Умрут с радостью. Эвтаназия!

\* \* \*

При современном состоянии сексуальной морали муж, который не изменяет жене, подозрителен. Скорее всего, он «неполноценный». Или (не) любит (не) женщин. Короче говоря – ненормальный. Аморал.

Мой упрек жене в лучшее время наших отношений: нехорошо быть такой хорошей. Я чувствую себя «грязным типом».

Совет мужу сварливой жены: терпи днем, если нетерпелив ночью.

Совет невротика: если боишься выздороветь, то хотя бы не лечись.

Совет неопытному: остерегайся людей, ведущих хищный образ жизни.

Однажды я понял смысл выражения «стоять на ушах», но для тех, кто не стоял, пусть это останется загадкой. Ее можно включить в тест на «на-стоящего человека».

Учитель и ученик, почтенный профессор и студент – это скандал, если например, они встретятся в бане. Вместо личностей два голых тела, одно из которых, как ни крути(сь), обезображено временем. Не могу представить. Из-за этого не хожу в ближайшую к университету баню. Вдруг столкнешься с аспирантом. (Один раз все-таки столкнулся.) Скрылись в мыльной пене.

Обычно восхваляют интуицию. «Интуиция его никогда не подводила» – пишут в детективах. Меня – сплошь и рядом. Даже в лесу: явно кажется, что на выход, к свету надо идти «туда». Гул дороги «там». Все наоборот. Иду вглубь, в чащу или на дно. Так бывает и «по жизни».

Без всяких шуток. Значительным событием своей жизни считаю решение класть многочисленные мелочи нынешнего быта (телефон, кошелек, ключи, часы, банковские карточки, пропуска и т. п.) в одно место. До этого, торопясь на работу, зная, что они не пропали, а разложены по квартире и надо только их собрать, но это мучительно, в конце концов, чтобы не впасть в бешенство, я начинал громко ругаться матом. Понял с возрастом, однако, что такое решение жизненных проблем непозволительная роскошь.

Нормальный человек всегда должен быть немного навеселе. Потому что влюблен: в кого-то, что-то, как-то. Только тогда он живет, а не функционирует. И если не болен, всегда напевать. Войдет вот такой в автобус или метро, и что будет? Функ(по/ми/ли)ционеры заберут. Сдадут психиатрам. «Для нормального (человека) планета наша мало оборудована» (перефразируя В.В. Маяковского).

\* \* \*

Что лучше – иметь твердый взгляд или твердые взгляды? Я бы предпочел первое, но имею только второе. Да и то не всегда.

Люди обладают разными лицами (харями, харя(а)ктеристиками. А значит, и характерами. Одни твердым, другие жидким, а некоторые – даже газообразным. Самый счастливый – пластичный, со свойством приспосабливаться, сохраняя себя. Но не хамелеон. Протей. Устойчивое развитие: изменяться, оставаться собой. Подвижное равновесие (по закону Ле-Шателье).

Хочу быть быстрым, но не торопливым.

Удачливый человек, это когда не он что-то находит, хотя бы например грибы, а когда они его находят. *Поппадаются*. А неудачник – сам «попадается». О деятельности таких людей можно сказать: суетится как рыба в колесе и бьется как белка об лед.

Если не сплю, то с трудом удается ничего не делать. Способность к лени и созерцанию утрачена. Значит, не философ.

Делай все, что хочешь, но не все, что хочется. Не лучше было бы людям, если исполнялось все, что они пожелают, говорил Гераклит. Это относится не только к индивиду. К обществу. К человечеству.

\* \* \*

Чем отличаются техницисты от гуманистов? Первые самоубийцы и сами роют себе (правда, и другим) яму. Они – могильщики человека. Гуманисты – его терапевты и плакальщики. В отношении и смыслах между ними огромная разница – и никакой разницы в результате. Что остается человеку в современных условиях? Только сохранять свое «достоинство». (Без всякого юмора или это (не)случайное совпадение.) Не умирать в «бессознанке». «Сохранение человеческого достоинства» – последний лозунг гуманистов. Об этом, наверное, вся моя писанина.

Упорная работа над созданием цифрового Искусственного интеллекта, то есть *безжизненного* Разума, *пост(не)человеческого* Субъекта – это финишная прямая в движении Homo *vitae sapiens* по пути *Mortido* («позитивной смерти») как проявление *Last am Untergang* (нем.) – «Жажды собственной гибели».

\* \* \*

Человек – домашнее животное Бога. Создавая Адама, Он не наделил его разумом. Он вдунул в него «Душу живую», которая постепенно иссыхала, а потом умерла. Стала Разумом. Где-то с эпохи Возрождения. Потом умер и разум, став Интеллектом. Где-то в XXI веке. Далее, интеллект превратился в искусственный, который начинают выдавать за «естественный», будто бы человеческий. Все объявляют сконструированным. На сцену выходит «конструктивный (спекулятивный)

реализм» и ООО – «объектно ориентированная онтология». Мы, мол, теперь реалисты, почти консерваторы. Да, дураки вы этакие, да – это реальность, но уже *иного*. **Не в/наша**. Инобытие. Не для живого. Так животное отвязалось от Бога и умирает. Закончится этот процесс где-то к началу XXII века. Про/сти/щай, живо(тно)е! И sapiens!

Люди, смотрите, кто способен видеть хотя бы на сантиметр дальше своего носа, как рождается Иное, вос-торжествует новый, постантропоморфный (не)бог: Искусственный интеллект=субъект (тот, кто принимает решения), как реальность в виде *БУКа – Большого Универсального Компьютера*. Который замен(яе)ит на Земле сначала людей, а потом все живое. Будет мертвая планета, с закодированной в ней информацией, как остальные планеты, на которых мы «не находим жизни». Потому и не находим, что, как шутят в самой научной среде, «их ученые опередили наших». Это тот случай, когда в каждой шутке доля правды. Она бывает трагическая, как сейчас. Чтобы ее скрыть и не понимать, что делается, все по(на/за/с/у)крывается бессмысленными потоками информации, фейком. Инфодемия, онлайн-образование. И официально, как о норме объявляют, не видя в том никакой проблемы, о наступлении «эпохи постистины». А значит, и постбытия. Хаотизация сознания, прежде чем лишиться его совсем, оставляя мир Техносу. Превращая Человека в постчеловека, а Землю в мертвую планету.

***Святые праведники, молитесь Бога о нас!***

## *К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты*

### **Александр ЦИРУЛЬНИКОВ**

Родился в 1937 году в городе Николаеве УССР. После эвакуации с 1941 года живет в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.

Работал редактором общественно-политических и информационных программ Горьковской студии телевидения, собкором Гостелерадио СССР, ГТРК «Останкино», телекомпании ОРТ в Нижегородской области, представителем издательства «Воскресение», ведущим и старшим редактором Нижегородской государственной телерадиокомпании НТР.

Прозаик, поэт, публицист, автор трех десятков книг прозы и стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень», премий Нижнего Новгорода, областной премии имени А.М. Горького, кавалер ордена Дружбы, ордена Почета.

Живет в Нижнем Новгороде.

### **ПЕРВОПРОХОДЦЫ БАЙКОНУРА**

Каждый год 12 апреля в зале Нижегородского планетария собирается больше сотни людей, ничем внешне не приметных. Всем им уже немало лет – кому-то далеко за семьдесят, а кому-то уже идёт и девятый десяток. Обычные пожилые люди, не богато, а скорее даже бедно одетые. Встретишь на улице, пройдёшь мимо, не оглянешься, не подумаешь, что они делали историю...

На столе под погасшим звёздным небом несколько бутылок шампанского и водки, ломтики колбасы и сыра. Люди эти отмечают праздник, к которому имели самое непосредственное отношение. Праздник, которого без них бы не было...

Это они запускали в космос первые советские спутники Земли, Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов. Обеспечивали безопасность космических путешествий, раньше других узнавали об успехах и трагедиях в освоении просторов Вселенной.

Сейчас, верой и правдой послужив космосу, они живут в Нижнем Новгороде на пенсии. Их осталось около ста человек. А было гораздо больше. И я многих знал и прожал в последний путь. Есть среди них коренные нижегородцы, которые через много лет вернулись домой,

есть люди из других мест, которые на старости решили обосноваться в этом городе. Когда они приехали на жительство в Нижний Новгород, он еще звался Горьким и был закрытым городом. В нём принято было селить людей, причастных к государственным тайнам. Город сам был полон оборонных секретов. Иностранцам сюда въезд был закрыт, а официальные зарубежные делегации принимали тут нечасто и с большой осмотрительностью.

Помню, как после полёта в космос первого «Восхода» с Комаровым, Феоктистовым и Егоровым нам пришлось из Горького выходить с прямым включением в передачу «Эстафета новостей», которая была посвящена чествованию новых героев-космонавтов и по этому случаю с легкой руки ведущего Юрия Валериановича Фокина называлась «Звездной эстафетой новостей». Мы приготовили экипажу «Восхода» подарок – ракету из дерева, выточенную и расписанную хохломскими мастерами. И когда я из студии в Горьком показал это изделие, то Владимир Михайлович Комаров отреагировал на этот сувенир словами: «Спасибо горьковчанам, которые нам и деревянную ракету подарили!..» На следующий день цензор негодовал, как могла эта фраза космонавта прозвучать в эфире. На что я резонно возражали, что это от меня и моих коллег никак не зависело. Мы говорили только про деревянную ракету. Да и, по сути дела, Комаров никакой другой тоже не назвал...

На космос работали многие предприятия города. Да и сейчас работают. Только это уже перестало быть секретом.

Гриф секретности снят и с этих людей, которые знали и знают многое, о чём раньше нельзя было рассказывать, а теперь можно.

Роман Михайлович Суглобов имел звание заслуженного космического исследователя, он был членом президиума Федерации космонавтики России. Валерий Евгеньевич Бугаев девять лет на космодроме Байконур вёл кино- и фотосъёмки для служебного пользования. Сейчас снятые им когда-то уникальные кадры растащены без ссылки на автора по различным фильмам о покорении космоса, а фотографии безымянно публикуются в многочисленных изданиях. У всех байконурцев есть в домашних альбомах фотографии, которые были сделаны между делом для себя на память, а на них они запечатлены вместе с С.П. Королёвым, М.В. Келдышем, Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андреем Николаевым...

Есть такой фотоальбом – и не один! – и у Валерия Константиновича Андропова. Он значится среди первопроходцев Байконура. Сергей Павлович Королёв числил его среди своих ближайших военных сотрудников и звал просто по имени – Валерой! И для этого у Главного конструктора были все основания: Валерий Андронов непосредственно участвовал в запуске первого искусственного спутника Земли, а потом и в первом старте человека в космическое пространство.

Когда был подготовлен к полету первый искусственный спутник, Валерий Константинович выполнял обязанности старшего инженера. Носил лейтенантские погоны.

– Людей с высокими воинскими званиями на Байконуре тогда было мало, – вспоминал он. – В основном, лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, не так давно окончившие технические вузы. А майоры, подполковники и полковники, за плечами которых была Великая Отечественная война, руководили отделами. Между прочим, мы, тогдашние байконурцы, день запуска первого спутника отмечаем не 4 октября, а 5-го! И вот почему: запуск первого спутника Земли произошёл

в 22 часа 28 минут по московскому времени. А на космодроме было на два часа позже, то есть уже 0 часов 28 минут нового дня...

На строившийся космодром Байконур Валерий Андронов первый раз прибыл в 1954 году. К тому времени он уже окончил Горьковский политехнический институт и прошёл краткий курс обучения в Академии имени Ф.Э. Дзержинского:

– Зимой 1954 года, когда ещё только мы начали писать дипломы, в Горький приехали несколько человек из Москвы, посмотрели наши личные дела и отобрали 50 выпускников. Нам сказали, что мы никакому распределению не подлежим, а получим особое назначение. После окончания института нас направили на работу в Москву в Министерство среднего машиностроения. А там мы поступили в распоряжение Сергея Павловича Королёва. Королёв же нас сразу отправил учиться в Академию имени Дзержинского. Там мы изучали двигатели, системы управления, автономные системы управления. Туда завезли специальное оборудование, мы там и жили, в Академии.

– А с чего начался для вас космодром Байконур?

– В Казахстане была железнодорожная станция Тюратам (в переводе Священное место), говорили, что тут была какая-то священная могила. На эту станцию приходили составы с кирпичом, с оборудованием. Всё везли. А около реки Сырдарья, на берегу, был палаточный город. Первое здание, которое там построили, стало монтажно-испытательным корпусом (МИКом), а второе здание служило нам казармой. Мы его называли Казанский вокзал: мы с Казанского вокзала Москвы уезжали. И сюда на «Казанский вокзал» приезжали. На первом этаже сотни две офицеров жили и на втором – сотни две. Чтобы добраться до своей койки, надо было через две-три койки перелезть. У каждого было по тумбочке. И стол стоял один на всех. Уже в 1957 году главком наш – маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин как-то пришёл к нам, посмотрел и ужаснулся. Велел сделать деревянные перегородки. Нам их из фанеры сделали. И мы сразу: «Ой, как хорошо стало жить!» Очень плохо было с помывкой. Мылись вначале в реке. А потом два энергопоезда пригнали. Один поставили на центральной жилой площадке, и наш быт стал более цивилизованным, а второй – на площадке № 2, где строился МИК для подготовки ракет к старту.

В декабре 1956 года привезли первую ракету. И мы начали готовить её к пуску. Мы запустили её 15 мая 1957 года. Она пролетела только около 450 километров. Дальше развалилась, но это был уже большой успех. Во-первых, старт был опробован. Во-вторых, система управления сработала, автономная система управления сработала. Тут же доставили вторую ракету. Мы круглосуточно над ней корпели. Но она оказалась непригодной. Мы вынуждены были её снять со старта. И только 27 августа 1957 года запустили другую ракету. У нас был квадрат специальный, куда она должна была упасть, – на Камчатке, около города Ключи. Но головная часть не долетела. Она летела с большой скоростью – около 2000 метров секунду. Получился сильный нагрев окружающей её атмосферы, и головная часть развалилась. Обломки головной части солдаты собирали по сопкам. И каждый найденный кусочек доставляли самолётом в фирму Королева, чтоб понять, в чём дело. Когда разобрались, выяснили, что головная часть должна входить в плотные слои атмосферы с меньшей скоростью. Если в той ракете головная часть была острая – семь метров длиной, то на следующей ракете головную часть закруглили, затупили нос, из-за чего

при соприкосновении с атмосферой скорость её уменьшилась. И не стало перегрева.

У американцев программа запуска искусственного спутника была утверждена в 1955 году. Королеву надо было их опередить, и он решил для начала запустить небольшой спутник. Шар весом в 83 килограмма 600 граммов с диаметром в 58 сантиметров. Внутри его установили два передатчика. Один – на 20 МГц, а другой на 40 МГц, а работали они с периодом в 0,3 секунды. Как только один выключался, сразу включался другой. И так они чередовались, а весь мир слышал эти самые бип-бип-бип. И смотрел в небо перед утренней зарей и после заката солнца.

– Вы хотя бы понимали тогда, какое историческое дело совершаете и совершили?

– Да что вы? У нас и в мыслях ничего подобного не было! Ни о какой истории мы не помышляли и ничего такого не представляли! Просто некогда было об этом думать. Приходит вечер, и начинаешь вспоминать – ты сегодня обедал или не обедал. Столько было работы – то схема не стыкуется, то еще чего-нибудь не так. Много еще не было отработано. Делалось на ощупь. Забыл фамилию инженера, представителя промышленности, он сам был среди разработчиков спутниковых радиопередатчиков, а напутал – плюс на минус поменял. Ну, и сжег аппаратуру. Эти радиопередатчики тут же заменили другими. Там же никакой сложной системы не было. Сама простота – батарея, два передатчика и переключающее электронное реле. И антенны – четыре штыря.

– Но ведь, насколько я знаю, тогда всю велась работа над более мощным спутником – весом в полтонны. Он потом с Лайкой полетел и стал вторым...

– Да, вы правы. Он был уже почти готов – второй спутник. Но там не задавали вопросов, почему первым запустили более простое изделие. Спешили, чтобы застолбить за собой первенство в космосе. Хотя, я повторяю, мы не думали, что это вызовет такой всплеск эмоций. (Признаюсь, когда мы Гагарина запустили, то тоже и не думали, что это породит такой ажиотаж во всем мире. Помню, был очень жаркий день. Я шел домой, шинель в скатке у меня на плече. А тут по радио как начали!.. И только тогда мы поняли, что мы сделали.) Всё это была обычная работа. И лунники запускали. Так, как на полуавтомате, ни о чем другом не думая. И даже не думали, что открыли космическую эру 4 октября 1957 года. Сейчас, наверное, от подобной недалёковидности мне должно быть стыдно. Но, согласитесь, этой недогадливостью можно и погордиться, потому что работали мы не ради сенсации, не ради славы, а просто хорошо выполняли порученное нам дело...

По сути то, что сейчас принято называть историческим подвигом, совершилось на такой периферии, в такой глухомани, о которой даже наши коллеги по общей работе, служившие в центре страны, не имели представления. После запуска первого спутника Земли нам из Москвы от них пришло письмо, где были такие строки, цитирую по памяти: «Вы там в своей глуши живёте и до сих пор, наверное, ничего не знаете, а мы спутник запустили...» К подготовке к запуску всегда причастны многие самые разные предприятия и организации. И коллеги из Москвы тоже в этом деле каким-то образом были заняты и решили нас пожалеть и проинформировать...

Потом было принято говорить, что запуски проходят в обычном режиме. 4 октября 1957 года не было ещё обычного режима, тот запуск был первым. У нас была система определения дальности. На старте

были специальные фотоаппараты, которые фиксировали на плёнку все моменты. В случае неудачи, взрыва – всё фиксировалось. И на кино тоже. По всей трассе были измерительные пункты (ИПы), они следили за измерениями дальности, данными телеметрии, вся трасса отслеживалась. На 120-й секунде первая ступень отделяется. Всё фиксируется и докладывается. До отделения головной части обычно проходит 540 секунд, а при запуске первого спутника мы ловили до 522 секунды. Дальше ракета уходила за горизонт, и там уже включались другие ИПы. У нас по всей трассе была система единого времени. Все должны были секунда в секунду привязаться к какому-то времени. И от полигона до Камчатки эта СЕВ работала. И когда мы потом начали боевые спутники поднимать, то американцы стали об этом узнавать. Мы были в недоумении, как они узнают. Оказывается, когда мы СЕВ включали, они это фиксировали и готовились к тому, чтоб узнать, что запускают русские. А мы потом начали СЕВ включать за сутки, тут они стали терять ориентиры.

– Ну, а после успешного запуска для вас наступало время праздника, наверное, сразу отмечали это событие?

– Опять же не до этого было! Одним службам надо было срочно на старте навести порядок, заменить обгоревшие кабели на новые, ведь после каждого запуска приходилось прежде всего тушить пожар, там же такое пламя гуляло! Сразу же приводились в исходное положение все системы. Телеметристы спешили провести анализ плёнок. У каждого своя срочная работа. Не до праздника! А когда все дела вроде бы заканчивали, ни на что уже сил не оставалось.

Там одна бетонка была от Гагаринского старта до города Ленинска, где мы жили, а больше никаких дорог нет. Как ветер подует, то поднимается легкая пыль, и ничего не видно. Приезжаешь домой весь в этой пыли. Она и на зубах, и в волосах, за шиворотом. Только бы помыться да спать...

– А с Гагариным до его старта довелось познакомиться?

– Видеть его видел, но общаться не пришлось. Гагарин довольно быстро приехал, запустили, и уехал. Титов тоже так. А вот Николаев, Попович, Быковский, другие – с этими мы уже до старта знакомились. Николаев, например, любил покурить, а им запрещали. Как-то он у меня в туалете попросил сигарету, а я говорю: не курю. Но солдата с ними играли, а в футбол им не разрешалось, чтобы ноги не повредить. Однажды мы как-то Беляева с Леоновым втянули в футбол поиграть, так врачи в панике прибежали и велели им с поля уйти, а нас изругали.

Мы относимся к первопроходцам Байконура. Королёв каждого из нас знал по имени и отчеству. Меня он называл просто Валерий. Однажды кто-то из наших чего-то не сделал или сделал не так, а я попался ему на глаза, и он меня как следует отчитал, а Воскресенский, заместитель его, ему говорит: «Сергей Павлович, да Андронов не виноват!» Он: «Да?.. Тогда ты, Валерий, меня извини. Пусть это зачтется тебе на будущее. Считай, аванс получил...»

Вообще Королев был вспыльчивым. Помню случай: стоим в строю, и кто-то сосет конфетку, Королёв услышал причмокивание, подошел к этому товарищу и пальцем конфетку у него изо рта выковырял. А своих подчиненных за оплошность посылал, как он говорил, «в Москву по шпалам». И они шли по шпалам. Пройдут километров десять. Он остынет и за ними свою машину посылает. Бывало, ночью с Келдышем

придут, а мы все корпим над какими-то неисправностями. Хотя все мы тут и не нужны. Но без разрешения как уйдешь? Келдыш, вежливый, спокойный, интеллигентный, выяснит, чей конкретно прибор или чья система нуждается в ремонте или в доводке, вызывает автобус и всех, кто не имеет непосредственного отношения к этой технике, отправляет домой отдыхать.

Королев обычно приходил к нам почему-то по ночам. У нас был ненормированный рабочий день. Ведь задержки бывали в испытаниях, много чего бывало. Раз среди ночи пришел Сергей Павлович на техническую позицию. А дежуривший на посту младший сержант на техническую позицию Королева не пускает, потому что Сергей Павлович забыл пропуск. Главный конструктор объясняет: «Я же Королев». А младший сержант ему: «Я знаю, что вы Королев, а где ваш пропуск?» Сергей Павлович – человек эмоциональный, стал нервничать. Генералы, которые с ним пришли, засуетились в броуновском движении... Потом, когда все успокоилось, Королев сказал: «Этого младшего сержанта не трогать, никак не наказывать! Он молодец!» А когда этот молодой человек отслужил, уволился из армии, Сергей Павлович пригласил его работать к себе в ОКБ-1. Там он заочно окончил Лесотехнический институт в Подлипках (сейчас город Королев), где по инициативе Сергея Павловича готовили космических инженеров и космонавтов. Так вот этот бывший младший сержант, фамилию, которого, к сожалению, не помню, потом приезжал к нам на Байконур уже ведущим инженером-испытателем от фирмы Королева.

– Ну а с Юрием Алексеевичем Гагариным так и не приходилось быть накоротке?

– С Гагариным и общаться приходилось, и даже выпивать. Например, однажды вечером мне нужно было срочно повидать двоих моих подчиненных – дать задание на утро, на предстоящую работу. Пошел туда, где они жили. Прихожу, а там какой-то гвалт. Захожу, вижу: оба моих подопечных, а с ними Гагарин, Титов и Николаев. Титов вообще хорошо пел и играл на аккордеоне. Он поёт. А у них на столе – кастрюля давно остывших макарон, такая довольно большая, как чан, и трёхлитровый баллон спирта. И ни хлеба, ничего. Ни вилки, ни ложек, так что макароны пятернёй достают – и в рот. Тогда у них как раз отряд с новичками приехал – Волынов, Хрунов, Горбатко... Гагарин говорит Николаеву: «Сходи и проследи, чтобы они легли спать». Ну а я подсел к оставшимся, и мы этот баллон и эти холодные макароны употребили...

Я занимался анализом пленок бортовых систем. Так вот на просмотр плёнок Гагарин несколько раз среди ночи к нам приходил. Сядет и начинает травить анекдоты. Раз он с одним полковником, знатоком анекдотов, поспорил: «Если я начну рассказывать анекдот, а ты его знаешь и продолжишь, то ты мне полштанины отрежешь, а если ты расскажешь анекдот, который мне уже известен, то полштанины я тебе обрежу...» Гагарин рассказал, тот не знает. Тот стал рассказывать, а Гагарин продолжил. Уговор есть уговор. Полковник залез на стул. Принесли ножницы. Гагарин походил, походил около него, а потом говорит: «Как-то неудобно полковнику с одной штаниной по объекту ходить. Ладно уж. Всё равно ты проиграл...»

Я не видел Юрия Алексеевича в какой-то другой обстановке, в другой среде, а здесь, на Байконуре, он вёл себя и серьёзно, и просто, позволял себе шутки и весёлые шалости, потому что чувствовал себя среди нас как среди близких людей. А мы такими для него были и остались...

*P. S.*

К счастью, общение с интересным человеком, как правило, имеет продолжение. И эти новые встречи – не просто «здравствуйте» и «до свидания», а со временем рождают темы для разговоров, возникшие на взаимном и устоявшемся доверии. Тем более что минувшее вдруг высвечивается совершенно неожиданными сведениями, которые сами по себе, может быть, и не столь значительны, но, согласитесь, есть особая прелесть в том, чтобы вникать в детали события, узнавать о нем вроде бы мелочи, что когда-то были засекречены, а потом забыты...

С 12 апреля 1961 года прошло уже 60 лет. И ветер времени срывает покров с того, что было «совершенно секретным». А таковым было по сути все! И первые космонавты получали инструкции рассказать о своих полетах так, чтобы ничего не сказать. И первым, естественно, блеснул этим умением Юрий Алексеевич Гагарин. Помню, как мы, воспитанные с детства на плакате «Болтун – находка для шпиона», сидя у телевизора и слушая его первую послеполетную пресс-конференцию, понимающе кивали и радовались его умению уходить от ответов. Хотя сами жаждали узнать как можно больше о его подвиге, но приносили в жертву это свое желание, лишь бы только потенциальные враги ничего не смогли узнать. Вот фрагменты того разговора с журналистами.

*Вопрос:* Когда вам сообщили, что о том, что вы названы первым космонавтом?

*Ответ:* Об этом мне сообщили своевременно.

(Сейчас из фильма в фильм о космосе кочуют документальные кинокадры, где снято, как генерал-полковник Каманин представляет государственной комиссии во главе с Маршалом Советского Союза Москаленко основного пилота старшего лейтенанта Гагарина и запасного – старшего лейтенанта Титова.)

*Вопрос:* Когда к месту посадки прибыла встречавшая вас группа – до приземления или после приземления?

*Ответ:* Приземление и прибытие встречающей меня группы произошли почти одновременно.

(Уже вскоре, тогда же, в 1961 году, было рассказано, как приземлившего Гагарина встретили работавшие в поле крестьяне, которые ничего не знали о запуске, и он, чтобы они не приняли его за очередного американского летчика-шпиона Пауэрса, сам сообщил им, что он советский космонавт. А от случайно проезжавшего мимо по дороге на полуторке офицера с солдатами узнал про себя, что он теперь майор. И этот офицер, поставив своих солдат в караул у спускаемого аппарата, на полуторке повез первого космонавта искать ту самую группу, которая его должна была его встретить...)

*Вопрос:* Когда будет новый полет в космос?

*Ответ:* Думаю, этот полет будет совершен нашими учеными и космонавтами тогда, когда потребуется...

*Вопрос:* Вы можете сказать, кто осуществит второй полет в космос?

*Ответ:* Конечно... Это будет Космонавт-два, такой же советский гражданин, как и я...

(6 августа 1961 года стартовал космический корабль «Восток-2» с Германом Титовым. Это был первый суточный полет с ночевкой в космосе.)

Давая такие «обстоятельные» ответы, Юрий Алексеевич сам улыбался, вызывая веселый смех в зале пресс-конференции...

Долгое время всячески избегали точной информации, как была осуществлена посадка Гагарина на Землю – с помощью парашюта после катапультирования или в кабине «Востока». Старались создать мнение, что Гагарин приземлился в корабле, хотя знали, что он катапультировался и приземлился на парашюте близко от спускаемого аппарата. Помню, как в октябре 1976 года в Звездном городке у себя дома космонавт-30 Юрий Петрович Артюхин говорил мне, что посадка в корабле давала право засчитать Гагарину мировой рекорд высоты и дальности полета в летательном аппарате. А катапультирование не позволяло этот рекорд зафиксировать. Все, вплоть до зарубежных экспертов, понимали, что рекорд установлен. Больше того, он уже был официально признан, потому что ничего подобного до Гагарина никто не совершал, но все-таки Международной авиационной федерации (ФАИ) тогда пришлось «не допытываться», каким образом с космонавтом или без него приземлился «Восток». Все приняли определенные правила игры и их придерживались, а советская цензура следила за тем, чтобы в открытой печати ничего не появилось о том, как все было на самом деле...

Помню 12 апреля 2004 года. Это был вторник, а в каждый вторник и в каждую среду у меня в эфире Нижегородской государственной телерадиокомпании была авторская программа «Поверьте на слово». Это актуальный разговор с интересными собеседниками на самые разные темы. Валерий Константинович уже участвовал в моих передачах. И я снова пригласил его, когда мы накануне Дня космонавтики встретились на выставке, посвященной участию нижегородских промышленных предприятий в обеспечении различных космических программ. Признаюсь, что у меня к Андронову было несколько вопросов, связанных с первым пилотируемым полетом, которые мы с ним раньше не обсуждали. Они возникли в последнее время из информации, которая перестала быть скрываемой. Так, например, стало известно, что перед стартом Юрий Алексеевич Гагарин просидел в кабине «Востока» лишних сто пять минут из-за каких-то неполадок с люком, который не удавалось задраить. Когда на выставке я на ходу спросил об этом у Андропова, он отреагировал мгновенно, как будто то, что меня интересует, произошло только вчера, а не полжизни тому назад:

– Так это же я обнаружил нештатную ситуацию. Это из-за меня, а точнее, благодаря мне, пуск задержался на один час сорок пять минут. Иначе не миновать бы нам беды, какая потом случилась с Добровольским, Волковым и Пацаевым, – разгерметизации кабины...

– Это не тот случай, про который, как вы мне как-то сказали, Сергей Павлович Королев просил вас никому не рассказывать до 2005 года, пока вам не исполнилось семьдесят лет?

Андронов мягко ушел от прямого ответа:

– И тот, да не тот, много всякого было... Там ведь никогда гладко не было и не могло быть, ведь все внове, все впервые...

Во время телевизионного эфира я спросил у Валерия Константиновича, что за нештатная ситуация задержала Гагарина на стартовом столе на один час сорок пять минут.

– Посадка космонавта в корабль происходит за два часа до старта. Объявляется двухчасовая готовность. И производится запись исходных

данных. В последний раз перед полетом проверяются состояние космического корабля и здоровье пилота. И корабль, и человек обклеены датчиками. Это с их помощью у космонавта снимается кардиограмма сердца, измеряется давление крови в сосудах. А от разных точек корабля поступают сигналы, как себя чувствуют себя те или иные узлы и детали. Когда люк стали закрывать, обнаружилось, что какой-то один датчик не контактирует, значит, люк задраен не полностью. А там шестьдесят четыре болта. Пришлось каждый раскрутить, проверить, а потом снова закрутить. На это ушли сто пять минут. Из-за этого Гагарин взлетел не в семь часов утра, как планировалось, а в девять часов ноль семь минут...

– А Гагарин знал о том, что происходит?

– Да, он все время вел переговоры с Сергеем Павловичем Королевым. У нас там действовала система «Заря», которая обеспечивала взаимосвязь пилота и руководителя полета. Позывной Королева был «Я – Заря-один», а у Гагарина – «Я – Кедр».

– И как вел себя Гагарин в эти непредвиденные минуты?

– Улыбался и шутил... Пульс у него больше семидесяти ударов в минуту не поднимался. Вот и судите, какое у него было хладнокровие. Подчеркиваю: не самообладание, когда человек может скрыть чувства, которые его переполняют, но датчики все равно его разоблачат, а хладнокровие, зафиксированное датчиками! Гагарин был спокоен, а все волновались. И Королев волновался. Хотя, беседуя с Юрием, искусно демонстрировал то самое хитрое самообладание, которое датчики непременно опровергли бы, если бы Главный был к ним подключен...

– Сейчас стало известно, что местом посадки для Гагарина был определен вовсе не волжский берег в Саратовской области, а «заданный район» в Казахстане, недалеко от Байконура. Какой же, если так можно выразиться, ветер отнес «Восток» далеко в сторону?

– Дело в том, что из-за задержки на стартовом столе все расчеты несколько сдвинулись, к тому же «Восток» запустили почти на три десятка километров выше штатной орбиты, значит, спускаться пришлось с большей высоты, и путь оттуда к Земле стал длиннее... Тут вообще были серьезные опасения, насколько точно сработает тормозная двигательная установка. И на всякий случай, если она вообще не сработает, на корабле был десятисуточный запас пищи и воды. За десять суток корабль из-за торможения о верхние слои атмосферы должен был приблизиться к Земле и где-то сесть. Но тормозная двигательная установка сработала нормально и вовремя... А до этого возникла другая опасность: в расчетный момент не произошло отделение спускаемого аппарата от основного блока корабля. Гагарина мотало в разных плоскостях, а он не хотел тревожить Королева и не докладывал об этом «Заре», пытаясь сам найти выход. Болтанка продолжалась примерно десять минут. А космонавт хладнокровно прикидывал, хватит ли территории Советского Союза на случай неуправляемого снижения и аварийной посадки. Он отгонял от себя мысль, что из-за неотделения капсулы от основного отсека могла не сработать катапульта (а посадка в корабле без катапультирования штатно не предусматривалась) и удар о Землю тяжелой металлической конструкции с пилотом внутри шара мог стать для пилота гибельным. Но уже за пределом расчетного времени произошло долгожданное разделение, и катапульта выстрелила, как положено. И Юрий Левитан на всю страну торжественно прочитал Сообщение ТАСС: «Все системы корабля работали нормально...»

Была еще одна закавыка, о которой не сообщалось. Еще не достигнув после старта космоса, Гагарин на подъеме во время перегрузок чуть не погиб от удушья. Высокая застежка-молния на взлетном костюме, под скафандром, повела себя странно, стала сжимать горло и никак не слушалась рук космонавта, когда тот пытался ее расстегнуть. Это ему все-таки удалось, когда положение стало уже отчаянным... И с тех пор застежки-молнии на космических одеждах больше не применялись...

В первых строчках этого очерка я назвал Романа Михайловича Суглобова. С ним я познакомился раньше, чем с другими ветеранами Байконура. Собственно, со всеми другими меня как раз Роман Михайлович и знакомил. Как руководитель совета ветеранов Байконура в Нижнем Новгороде. Вообще-то его зовут Ромуальд, так по паспорту, а в жизни, в общении он представляется как Роман. Он первым из байконурцев в 2001 году был гостем моей телепередачи, а потом я приглашал его еще несколько раз в дни различных космических дат. У Романа Михайловича в 80 лет была прекрасная память на события, детали, имена. Бывают проблемы со здоровьем – подводят глаза. Есть неистребимая привычка к курению, которую никак не может одолеть. А скорее всего и не пытается. Если зимой видели на ступеньках планетария седого высокого человека в костюме, без пальто, с дымящейся сигаретой в левой руке, так это Суглобов.

Я не раз нарушал это его одиночество своим присутствием и как-то спросил, почему он держит сигарету в левой руке. Он пояснил:

– Военная привычка: правая рука должна быть свободной, чтобы вовремя отдать честь...

Во время нашей первой встречи в эфире он рассказал, что учился в Киеве, в Высшем авиационном училище, но не окончил его, потому что его курс перевели в Ростов в Высшее ракетное училище, по окончании которого получил направление на космодром Байконур. Там занимался челомеевской ракетой «Протон», которая предназначалась для вывода на орбиту тяжелых спутников и космических станций «Салют» весом до трех десятков тонн. Ее головная часть поднимала в качестве груза ядерное оружие и маневрировала с ним в космосе, чтобы ее не могли перехватить.

Суглобов рассказывал о своем участии в лунных программах, когда наши аппараты «прилунялись», набирали в свои отсеки лунный грунт и с ним возвращались на Землю, домой...

Роману Михайловичу пришлось быть членом специальных комиссий, которые расследовали неудачные старты и аварии, бывать на местах космических ЧП. В день нашего эфирного знакомства он принес на передачу пленку, снятую на месте гибели «Союза-1», который пилотировал В.М. Комаров...

Тогда же Роман Михайлович рассказал, что для полета к Луне готовились КБ С.П. Королева и КБ В.Н. Челомея. В одном случае экипаж на Луну должна была доставить ракета С.П. Королева Н-1, а экипажу на корабле Л-1 В.Н. Челомея предназначалось облететь нашу ближайшую космическую спутницу и вернуться на Землю. По словам Суглобова, в одном из челомеевских лунных экипажей числился и наш земляк Вячеслав Зудов. Когда я спросил Вячеслава об этом, он ответил, что подобные наметки имели место, но до конкретики дело не дошло...

Между прочим, беспилотный зонд, в подготовке которого к полету вокруг Луны участвовал Суглобов, успешно осуществил облет, безава-

рийно приводился в Индийском океане и хранится сейчас в музее ракетно-космической корпорации «Энергия».

С Гагариным в последний раз Роман Михайлович виделся и разговаривал за несколько дней до гибели Юрия Алексеевича. Тогда шли разборки по поводу неудачного старта трехступенчатого «Протона» по лунной программе. Собственно, Гагарин и несколько высоких военных чинов по этому поводу и приехали в Ленинск.

– Мой начальник управления генерал Меньшиков вызвал меня к нулевой отметке фермы. Я стал ему докладывать обстановку, а он мне глазами показывает на стоящего рядом с ним человека. Я присмотрелся, а это Гагарин. Мы вместе проехали на транспортере вверх по ферме, а потом, когда стали спускаться, то при переходе с транспортера на ступеньки лестницы я нечаянно наступил на погон генералу Меньшикову, который шел вниз передо мной.. Настроение у меня сразу испортилось. Когда спустились, Гагарин это заметил и спросил:

– Что ты грустный такой стал?

– Да, кажется, не так рассказал...

– Да брось ты, все так, они все правильно поняли.

Он имел в виду военных начальников, которые были с нами...

Прошло много лет, Роман Михайлович не порывал связи с Ленинском. Там на космодроме жила и живет семья дочери. Для планетария Суглобов привез капсулу с землей с Гагаринской площадки и камни, обожженные пламенем на стартовом столе. Эти сувениры выставлены в главном фойе планетария возле памятника первому космонавту Земли.

## Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, философ, писатель. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор более десяти книг, в том числе «Русские святые» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа, «Записки о русском» (Н. Новгород, 2020). Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## УХОД ОТ ГЛАВНОГО В ХРИСТИАНСТВЕ...

### Патриарх Сергей о католицизме и протестантстве

Когда мы говорим о религиозных мыслителях, то нетрудно обнаружить, что отнюдь не все религиозные деятели являются мыслителями. Вспомните апостолов. Среди них только Иоанн и Павел явно начитанные люди, а другие? Они могут быть деятелями, воинами, мучениками, святыми, но мыслителями? Различия между ними могут быть предметом отдельного обсуждения, а сегодня уже хорошо, что поставленный вопрос позволяет обдумать это. Сегодня видится своевременным и необходимым обратить особое внимание на размышления нашего великого земляка патриарха Сергея о Западе. Эта сторона его мысли была обычно притушена его жизнью и деятельностью патриарха и заместителя местоблюстителя патриарха. Обстоятельства жизни, политическая и организационная деятельность нужна и важна, однако ситуационно может превращать серьезное во второстепенное. Стоит всё же оценить по достоинству высказанные им серьезные мысли.

Патриарх Сергей, или в миру Иван Николаевич Страгородский, как известно, родился в Арзамасе в семье священника в 1867 году. Окончил Нижегородскую семинарию, затем Санкт-Петербургскую духовную академию. Поехал миссионером в Японию, затем был судебным священником, преподавателем Духовной академии, работал в духовной миссии в Греции, был ректором академии, епископом, митрополитом, заместителем местоблюстителя патриаршего престола, патриархом. Умер в 1944 году. Его патриаршество и руководство Русской православной церковью приходится на трудный период атеистического советского государства. Ему пришлось находить способы сосуществования со светской властью, принимать неоднозначные решения, и именно этот период более всего на виду и затмевает другие стороны его деятельности. А ведь он всё время писал политические, религи-

озные, исторические и мемуарные работы. Интересно, что в четырехтомном издании «Христианство» он в первую очередь обозначен как «духовный писатель». В трудные времена Сергей выглядит очень благородно. Это заметно и в период его деятельности в Японии, куда он поехал добровольно, удивительно быстро освоил японский язык, работал с митрополитом Николаем Японским (Касаткиным), личностью фантастической, исторической, гениальной. Конкурентные отношения православных миссионеров с католическими и протестантскими проповедниками, влияние мощной фигуры руководителя миссии Николая Японского явно повлияли на мировоззрение будущего патриарха. Иеромонах Сергей был вынужден вернуться в Русский мир.

В послереволюционный период Православная церковь переживала трудные времена, к причастию стала ходить лишь десятая часть прихожан, а это значит, что верующих оставалось мало, хорошо если двадцатая часть (ведь по крайней мере половина верующих ходит к причастию по привычке и «на всякий случай»). Начались жестокие гонения на Церковь. Митрополит Сергей издает свою знаменитую Декларацию 1927 года, которую и сегодня не все принимают. В 1941 году заместитель местоблюстителя патриаршего престола моментально и однозначно оценивает гитлеровское нашествие, обращается к верующим с призывом бороться с германским фашизмом. В 1943 году на приеме у Сталина он говорит государственным языком о восстановлении Церкви и добивается результата. Избирается патриархом, но силы уже на исходе, и в 1944 году он заканчивает свой жизненный путь. В нем интересно многое: и его научные труды, и взаимоотношения с Николаем Японским, и его политическая деятельность. В данном случае обратим внимание на его диссертацию и мысли, высказанные в ней.

Работа Страгородского была сразу высоко оценена, сзади остались 43 соискателя в конкурсе на занятие вакантной должности в столице империи, он был сразу приглашен работать преподавателем в Санкт-Петербургскую духовную академию. Диссертация написана чистым русским языком, понятным для любого читателя. В ней рассматривается суть различий вероисповедания в христианских Церквях – православной, католической и протестантской. При этом очень отчетливо показывается, что на самом деле принципиальным является отличие православной и западной Церквей, а протестантская на самом деле является своего рода продолжением с некоторыми отклонениями католической Церкви. Мысль эта не кажется сразу очевидной, ведь страсти при появлении протестантских толков кипели многие сотни лет. А значит, и различия католиков и протестантов нередко казались сверхъсерьезными. Автор не отрицает их значения, но рассматривает вопрос так, что становится ясным главное: католики и протестанты уходят от самого главного в христианстве, и на этом пути протестанты просто сделали чуть больше шагов. И сегодня эта мысль представляется фундаментальной.

Как это выглядит в католицизме? Саму веру невозможно напрямую измерить, можно лишь оценивать ее по внешним признакам. Как тогда понимать Божьи дары человеку? Достаточно показательный пример дается в проповедях францисканского проповедника Бертольда Регенсбургского. В 60-х–70-х годах XIII века в одной из своих проповедей он перечисляет Божьи дары, данные человеку, причем наибольший интерес представляет сам порядок их перечисления по степени их значимости: 1) собственная персона, 2) служба (дело), 3) твое время, 4) твое имущество, 5) твой ближний. Отсюда само учение о любви к ближнему

объяснялось как требование пожелать ближнему того же, что имеешь сам. Сказано в Писании: «имеешь две рубашки и видишь голого человека», то пожелай ему тоже рубашку. Если же кто-то скажет «отдай ему одну рубашку», то это ересь. Индивидуализм не позволяет перенести ближнего на собственный уровень «персоны», он должен оставаться на своем месте. Рациональные объяснения иррационального учения Христа приводили европейцев-католиков к мысли о том, что крестьянин «звероподобен», что бедность и богатство установлены Божьим повелением, а уж про красоту даже Фома Аквинский в ликах Божьих не упоминал. Легко заметить, что социально и рационально католик-европеец продолжал выражать свой весьма прагматический и утилитарный мирок.

Как отличается представление о ценностях в протестантизме от католических идей? Напомним, что самый первый вариант ухода из подчинения Римско-католической церкви относится к XIV веку. Джон Уиклиф в Великобритании начал свои проповеди, и его идеи оказались удивительно востребованы сотни лет. А ведь самое начало, своего рода первотолчок к ним состоял в том, что английская монархия не хотела платить церковную пошлину Римскому папе. И под это глубинное соображение приводились невероятные «турысы на колесах» – «религиозные» соображения самого неожиданного свойства. И, как мы знаем, английская Церковь вышла из подчинения Риму, само же учение Уиклифа было заклеено как еретическое. Однако идеи Уиклифа стали широко распространяться. В следующем веке в Чехии появился Ян Гус, про которого в отмеченном справочнике по христианству говорится, что идеи Гуса не были оригинальны, он просто начитался Уиклифа и пропагандировал его. Однако Гуса сожгли на костре как еретика, произошло мощное движение таборитов во главе с Яном Жижкой. А далее в следующем веке появился Лютер с его критикой католичества, затем Кальвин, Цвингли и т. п.

Появился вроде бы мощный новый вариант христианства, а вначале было всё же спрятано то самое личное и персональное: на первом месте – мое дело, мое время, мое имущество, а потом уже ближний, а уж тем более дальний (Римский папа). Иными словами, как справедливо и показывал в логике развития ценностей Запада будущий патриарх Сергей, протестантизм есть лишь дальнейшее развитие, усложнение и упрощение, некоторое искажение католицизма. И те и другие – что католики, что протестанты – замкнуты в парадигме расчетливого эгоизма, чего православный дух русских совершенно явно не принимает за норму и осуждает. Православие, по мнению Сергия, является не вариантом христианства, а единственным возможным воплощением в жизни учения Христа с его проповедью «любви к ближнему». Конечно, и оно не идеально, ведь это учение на земле и у реальных людей в конкретных исторических условиях, однако здесь нет искажения корней, основ учения. В этом и состоит реальное различие западных людей и русских, у которых слово сохраняет свое первоначальное значение и смысл. Поэтому естественным кажется словосочетание «святая Русь», но никогда не слышно словосочетаний не только «святая Италия», но и «святая Румыния», «святая Болгария» и т. п. В этом, по мнению Сергия, не только наше прошлое, но и надежда на будущую жизнь и спасение.

**Протоиерей Владимир ГОФМАН**

**КУПОЛА, СМОТЯЩИЕ В НЕБО**

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

*Продолжение. Начало в № 5, 2019 – № 6, 2020*

## ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ В СЕРДЦЕ ГОРОДА

**Уничтоженные храмы стыдливо называют утраченными. Утрата – это нечто невозможное. По большому счету это так. И все же... Мы принимаем покаяние и пытаемся по мере сил и возможностей что-то исправить, как требует христианская совесть.**

### Никольский храм в кремле

К 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода восстановлена одна из кремлевских святынь – Никольская церковь. 31 декабря прошлого года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Великое освящение этого храма. «Пока мы все храмы не восстановим, – сказал владыка в проповеди, – до конца не будет примирения неба с землей. Мы должны покаяться за своих отцов и дедов, которые разрушали эти храмы. И делом нашего покаяния станет возрождение порушенных святынь».

До революции на территории кремля имелось пять церквей: Спасо-Преображенский кафедральный собор, Успенский военный собор, церковь в честь преподобного Симеона Столпника, Михаило-Архангельский собор и церковь в честь Николая Чудотворца при манеже.

Здание манежа было построено в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. В 1860-е годы здание было передано Нижегородской военной гимназии, затем переименованной в Аракчеевский кадетский корпус. В 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена каменная Никольская церковь с двумя колокольнями на средства купца Шмелева. Проект был выполнен архитектором Шапошниковым. Эта церковь стала домовою при кадетском корпусе.

Кстати, воспитанником корпуса был Петр Николаевич Нестеров. Он стал военным летчиком, погиб в Первую мировую войну в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран. Памятник основоположнику высшего пилотажа украшает Верхневолжскую

набережную Нижнего Новгорода. А будучи кадетом, он молился в Никольском храме.

После революции Никольскую церковь постигла трагическая участь многих других святынь. В 1929 году здание было переоборудовано под трамвайное депо. Звонница была разобрана, со стороны алтарной части храма пристроен двухэтажный корпус. В 1969 году здесь разместили гараж и склады.

В 2018 году здание Никольской церкви было передано Нижегородской епархии, и 2 июня впервые за 100 лет в нем был совершен первый молебен. Ровно через год, 2 июня 2019 года, там состоялась первая за прошедшее столетие Божественная литургия. 16 января 2020 года митрополитом Георгием были освящены купола и кресты для Никольского храма. И наконец, в преддверии юбилейного года – Великое освящение поруганной некогда и теперь возрожденной святыни.

Как сообщает сайт Нижегородской епархии, сегодня в Никольской церкви полностью завершена реставрация: закончена роспись стен и сводов, установлены иконостас и киоты с иконами. Роспись выполнена в стиле русского модерна XIX века, иконостас создан в русском стиле XVII–XVIII веков. Работы по внутреннему убранству храма, которые проводила епархиальная иконописная мастерская «Ковчег», также полностью завершены.

Фасады храма украшают мозаичные иконы. Мозаичная икона святителя Николая Чудотворца смонтирована на алтарной апсиде церкви. Еще четыре мозаики нижегородских мастеров украсили северный и южный фасады. Это изображения архангелов Михаила и Гавриила, святого великомученика Георгия Победоносца и святого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода.

И самое главное – в восставшем из небытия храме совершается богослужение, приносится Бескровная Жертва. Все, по слову Священного Писания, «возвращается на круги свои» (Еккл. 1:6).

## Церковь Симеона Столпника

Возрождения кремлевских храмов – событие поистине историческое. Ведь когда-то Нижегородский кремль был украшен многими церковными главами. Вернуть былую красоту, а с ней и историческую справедливость – задача нижегородцев, не числящих себя среди Иванов, не помнящих родства.

Сегодня в кремле открыты для богослужения Михаило-Архангельский собор и Никольская церковь. На очереди храм во имя преподобного Симеона Столпника. История его такова.

Когда-то этот храм стоял в северной части Нижегородского кремля, у Ивановского съезда. Отстроен в камне в 1743 году, при епископе Димитрии (Сеченове), на месте сгоревшего в пожаре 1715 года древнего Симеоновского монастыря, который находился в подгорной части кремлевской территории под Ивановским съездом.

Точное время основания этого монастыря неизвестно. В некоторых источниках возникновение обители относили к концу XIV или началу XV веков. Она упоминается в отводной грамоте 1538/1539 г. (в таких грамотах описывались границы участка, переходящего от одного лица к другому по договору). Вероятно, это первое сообщение о Симеоновском монастыре в исторических документах.

В Писцовой книге 1621/1622 годов, монастырь описывался следующим образом: «Под горою, подле большого мосту, монастырь Семионовской, а в нём церковь святого Семеона Столпника да предел Введения пречистыя Богородицы, да внизу под церковью служба святыя мученицы Парасковгеи, древяна с папертью на подклетех, верх шатром... ..и на колоколнице колокола и всякое церковное строение... А на монастыре келья игуменская, да три кельи братцких, да на монастыре ж у Святых ворот богаделня...»

Обедневший монастырь с деревянной Симеоновской церковью был уничтожен, как уже говорилось, в большом пожаре 25 июня 1715 года. После происшествия обитель была упразднена, но на месте сгоревшей церкви возвели новый храм. Дата его сооружения известна из инвентарной книги церковного имущества, составленной в 1846–1861 годах: «Оная Симеоновская церковь построена сборными деньгами в 1743 году в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы с приделом преподобного Семеона Столпника». Деньги на восстановление собирали при участии самого губернатора, князя Даниила Андреевича Друцкого.

В течение восьмидесяти с лишним лет Симеоновская церковь была приходским храмом. При ней с 1778 года находился Нижегородский гарнизонный батальон. По указу Святейшего Правительствующего Синода от 30 мая 1827 года, церковь из епархиального управления перешла в военное ведомство.

В конце 1837 года новым указом Синода прежняя единоверческая церковь Сошествия Святого Духа (тоже находилось в кремле) перешла в ведение военного губернатора. Взамен единоверческой общине была передана Симеоновская церковь.

Согласно описи церковного имущества 1828–1840 годов, глава церкви к тому времени была обита белым железом, из него же выполнен крест, а кровля покрыта листовым железом. Колокольня была покрыта черепицей и увенчана железным «решетчатым» позолоченным крестом, на ней было установлено шесть колоколов, самый большой весил «семьдесят шесть пуд и шестнадцать фунтов» (около полутора тонн).

В 1848 году был составлен проект на постройку новой каменной колокольни. В октябре того же года проект был утверждён высочайшим указом императора Николая I. Строительные работы завершились в 1850 году. Новая колокольня в целом повторяла очертания старой, но была выше. Предположительно в это же время было заменено прежнее шатровое покрытие церкви на новое – купольное.

Престолов в Симеоновской церкви было три: главный – в честь Страстной иконы Божией Матери, а придельные в память о древней монастырской церкви были посвящены Введению во храм Пресвятой Богородицы и преподобному Симеону Столпнику. Главной святыней церкви была точная копия древней иконы Божией Матери «Страстная», проявившей себя чудотворениями в селе Палец Нижегородского уезда. Копия Палецкой иконы тоже почиталась чудотворной. Она пребывала по очереди (по два-три месяца) в кремлевских храмах: Преображенском кафедральном соборе, Успенской и Симеоновской церквях.

В конце XIX века здесь проводились крупные ремонтные работы. Храм с колокольней оштукатурили, поправили крышу и кровлю, под основное здание подвели фундамент из нового кирпича, укрепили купол, отремонтировали сторожку и церковную ограду. В 1899 году главы и кресты были вновь позолочены, сделаны новые дубовые двери в паперть и трапезу.

В первые годы советской власти храм был взят на госохрану как памятник церковного зодчества. Богослужения в церкви продолжались до конца 1923 года. Позже церковная община была ликвидирована, часть церковного имущества была изъята и подлежала передаче в губернскую комиссию госфонда. Сам храм рекомендовалось снять с учёта, так как «с архитектурной стороны он не представлял интереса».

Вопрос о сносе здания был поднят губернским коммунальным отделом в начале 1928 года и одобрен президиумом губисполкома. Камень предполагалось использовать на строительные нужды. В июле губернским музеем и стройконторой НГСНХ был заключён договор на разборку здания. Вскоре церковь была разобрана.

В 1960-х годах площадка, где располагалась церковь, была включена в прогулочную зону реконструированного парка (бывшего Губернаторского сада) на территории кремля. Вблизи от места расположения бывшей церкви были выстроены два сооружения: памятный знак первым нижегородцам и архитектурно оформленная площадка родника.

Нижегородская епархия давно уже заявляла о необходимости воссоздать Симеоновский храм в историческом виде. Наконец, было принято такое решение. Закладка первого камня в основание новой Симеоновской церкви состоялась 3 июня 2020 года. Газета «Ведомости Нижегородской митрополии» в те дни сообщала: «Чин закладки совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры” по Приволжскому федеральному округу Валерий Губанов, директор ООО “Региональный инженерный центр” (организации, занимавшийся разработкой проекта храма) Юрий Коваль, представители подрядных организаций».

“Если мы считаем себя наследниками Святой Руси и великой России, то для нас должна быть, несомненно, важна связь времен, историческая память, – отметил владыка Георгий, – Восстановление храмов нижегородского кремля – это одно из звеньев возрождения духовной жизни на нашей земле. Я очень рад, что совместными усилиями правительства Нижегородской области и лично губернатора, попечителей эти святыни встают из небытия в преддверии 800-летия нашего города. Это имеет огромное значение для всех жителей Нижегородчины и особенно для подрастающего поколения... пусть труды по восстановлению этого храма послужат еще одним символом примирения нашего народа с Господом, будут знаком покаяния, которое мы приносим перед Ним за наших отцов и дедов, подвергавших церкви Божии поруганию и разрушению”».

Как сообщает сайт Нижегородской митрополии, Симеоновская церковь будет представлять собой одноглавый храм с трапезной и шатровой колокольней, бесстолпный, одноапсидный. Таким он и был во время оно.

Высота здания до креста храма – около 30 метров, площадь молельного зала – 224,9 квадратного метра.

Храм в честь преподобного Симеона Столпника планируется освятить к 800-летию Нижнего Новгорода.

## Вехи памяти

### Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского. Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

### «МИР, ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ...»

К 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова.

Очерк творчества

Небывалый талант Николая Семёновича Лескова (1831–1895) – одного из крупнейших русских классиков, – созданный им ярко оригинальный, самобытный художественный мир ни при жизни писателя, ни долгое время после его смерти не могли оценить по достоинству. *«Достоевскому равный, он – прозёванный гений»*, – стихотворная строчка Игоря Северянина о Лескове до недавнего времени звучала горькой истиной. Его пытались представить то бытописателем, то рассказчиком анекдотов, то словесным «фокусником», в лучшем случае – непревзойдённым «волшебником слова» – и только.

Своеобразие Лескова связано прежде всего с его духовно-нравственными воззрениями, во многом определившими идейно-тематическое содержание творчества, его уникальную художественно-образную систему, а также независимую позицию в различных общественных вопросах. Писатель был убеждён в том, что книги должны «не только

занять внимание читателя, но дать какое-нибудь доброе направление его мыслям».

Это «доброе направление» Лесков связывал с христианством, отмечая: «я имел в виду <...> важность Евангелия, в котором, по моему убеждению, сокрыт глубочайший *смысл жизни*». О «важности Евангелия», в котором «есть всё, – даже то, чего нет»\*, замечательный художник слова размышлял, говорил и писал постоянно – до последних дней своих. Он подготовил «Изборник отеческих мнений о важности Священного Писания. Собрал и издал Н. Лесков» (1881). В последний период творчества Лесков создал уникальное произведение – «Зеркало жизни истинного ученика Христова» (1890), предпослав ему многозначительный эпиграф из Нового Завета: «*Кто не берёт креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня*» (Мф. 10: 38). Важнейшая задача жизни истинного ученика Христова – в соответствии с христианским учением о «*самособиращии*» человека – помочь читателю «собрать себя» «*в мыслях, словах и делах*»\*\*, сообразуясь со словами Христа: «*Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что и Я делал*» (Ин. 13:15). Таким образом, «зеркалом жизни» для каждого христианина, считает Лесков, должен быть Сам Иисус Христос. Его светоносным образом человек обязан поверять свою жизнь. Писатель задаёт своим читателям высочайший идеал, показывает путь и конечную цель развития человечества: «Старайся вообще, чтобы во всех твоих делах, словах и мыслях, во всех твоих желаниях и намерениях развивалось непременно чистое и согласное настроение к высшей цели жизни, то есть к преобразованию себя по образу или по примеру Иисуса Христа, и будешь тогда *Его ученик*».

Уже на склоне лет, в 1891 году, писатель признавался в том, что именно «*хорошо прочитанное Евангелие*» указало ему истинный путь и собственное человеческое призвание.

«Истина, добро и красота» – в этой триединой формуле Лесков выразил идеал, к которому необходимо стремиться.

Обладая редкостным художественным диапазоном, незаурядным по широте охвата явлений действительности, писатель сумел эстетически воплотить многокрасочную полноту мира. Как былинного богатыря русского героического эпоса, Лескова, по его словам, ««тяготила тяга» знания родной земли», которая получила завершённое художественное выражение в создании объёмно-стереоскопической, порой мозаично пёстрой картины жизни России. Писатель «насквозь русский», знавший русского человека «в самую его глубь», воплотил в своих героях – с их речью, мироощущением, душевными порывами – все существенные особенности национального характера. В прозе Лескова, «как ни у одного другого писателя нашей земли», открывается «целый мир невиданной красоты, неповторимых образов, сверкающей фантазии, расписной, причудливый мир, где Русью пахнет – и сладко, и горько, и нежно, и дымно»\*\*\*.

В то же время писатель имел, говоря его словами, «сознание человеческого родства со всем миром». Лесковская художественная вселенная выросла из тесного сплава с крупнейшими достижениями

\* Лесков Н.С. Новозаветные евреи (рассказы кстати) // Новь. – 1884.

\*\* Лесков Н.С. Зеркало жизни истинного ученика Христова. – М., 1890.

\*\*\* Нагибин Ю. О Лескове // Нагибин Ю. Литературные раздумья. – М.: Сов. Россия, 1977.

мировой литературы, русской и зарубежной социально-философской мысли. Проповеднически утверждая свои духовные идеалы, писатель опирался на «поистине всечеловеческую культурно-нравственную традицию»\*. Томас Манн справедливо отмечал, что Лесков писал «чудеснейшим русским языком и провозвестил душу своего народа так, как это, кроме него, сделал только один – Достоевский».

Лесков вступил на литературное поприще в 1860-е годы, будучи уже зрелым, сформировавшимся человеком с большим жизненным опытом и огромным запасом житейских наблюдений.

Образования в Орловской губернской мужской гимназии, которая в то время «велась из рук вон дурно», он не завершил. Впоследствии в «Заметке о зданиях» (1860) писатель вспоминал: «в о<рловск>ой гимназии, где я учился, классные комнаты были до того тесны, что учителя затруднялись найти ученику, отвечающему урок, такое место, до которого бы не доходил подсказывающий шёпот товарищей, духота всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом».

Мертвенная схоластика в преподавании, бездушие и даже жестокость по отношению к воспитанникам не могли не отталкивать юного гимназиста. В «Автобиографической заметке» (<1882–1885?>) Лесков писал: «Кто нас учил и как нас учили – об этом смешно и вспомнить. В числе наших учителей был один, Вас<илий> Ал<ександрович> Функендорф, который часто приходил в пьяном бешенстве и то засыпал, склоня голову на стол, то вскакивал с линейкой в руках и бегал по классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту. Одному ученику, кажется Яковлеву, он ребром линейки отсёк ухо, как рабу некоему Малуху, и это никого не удивляло и не возмущало».

В то же время в гимназии у Лескова был любимый духовный наставник – талантливый преподаватель Закона Божия отец Евфимий Андреевич Остромысленский (1804–1887). О нём писатель отзывался с особенной теплотой: «первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромысленский – хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие». Неудивительно, что изучение Священного Писания стало для Лескова любимым предметом – единственным, в котором он проявил «отличные успехи».

Личность Е. А. Остромысленского и его «добрые уроки» писатель впоследствии не раз с благодарностью вспоминал и литературно сберёг в образах православных священников: например, в святочных рассказах «Привидение в Инженерном замке» (1882), «Зверь» (1883), «Пугало» (1885), «Грабёж» (1887), в хронике «Чающие движения воды» (1867), в «были из недавних воспоминаний» «Владычный суд» (1877) и других произведениях.

Так, спустя три десятилетия после выхода из гимназии Лесков посылает литературный поклон своему «превосходному законоучителю»: «научился я религии у лучшего и в своё время известнейшего из законоучителей о. Евфимия Андреевича Остромысленского <...> я был таким, каким я был, обучаясь православно мыслить от моего родного отца и от моего превосходного законоучителя – который до сих пор, слава Богу, жив и здоров. (Да примет он издали отсюда мною посылаемый ему низкий поклон)».

\* *Афонин Л.Н.* Слово о Лескове // Творчество Н.С. Лескова: Научные труды. – Т. 76 (169). – Курск, 1977.

«Свои университеты» будущий писатель постигал «самоучкой». По выходе из гимназии в возрасте 15 лет он поступил на казённую службу, трудился в мелкой должности писца и уже здесь почерпнул немало живого и интересного материала для творчества. Орловские впечатления легли в основу множества лесковских произведений, и неслучайно писатель подчёркивал: «в литературе меня считают орловцем».

Неистощимым источником литературных материалов стала также работа Лескова в коммерческой фирме «Шкотт и Вилькенс». Впоследствии в «Заметке о себе самом» (1890) писатель вспоминал, что «изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений».

В начале творческого пути Лесков выступил как публицист. Он сотрудничал в различных периодических изданиях Москвы и Петербурга, и уже первые публикации «нового орловца» привлекли внимание читателей актуальной проблематикой, живой достоверностью и объёмностью знаний, честной авторской позицией, искренней интонацией.

Знаменательно, что самое начало литературного труда Лескова отмечено постановкой духовной христианской темы. Его первым печатным произведением явилась заметка «О продаже в Киеве Евангелия» (1860). Автор, радуя за распространение в русском обществе христианского духа, высказал озабоченность по поводу того, что Новый Завет, тогда только появившийся на русском языке, доступен не каждому из-за высокой стоимости издания. С тех пор о «важности Евангелия» Лесков размышлял, говорил и писал постоянно – до последних дней своих.

В своей дебютной публикации Лесков верно полагал, что ситуация коммерческих спекуляций с Евангелием препятствует широкому распространению слова Божия в понятной и всякому доступной форме. Реализация этого задания – распространять слово Божие в понятной и всякому доступной форме – явилась впоследствии главной созидательной установкой всего лесковского творчества, которое современный писателю литературный критик М.О. Меньшиков справедливо назвал «художественной проповедью».

Стремясь, по его словам, «пролить в массы свет разумения», Лесков – публицист-просветитель – поднимал множество тем: «О рабочем классе», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России», «Полицейские врачи в России», «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Торговая кабала», «Очерки винокуренной промышленности», «Русские женщины и эмансипация», «Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному просвещению», «Русские люди, состоящие “не у дел”», «О переселённых крестьянах», «О литераторах белой кости» и др.

В своих заметках, статьях, очерках, многие из которых и сегодня воспринимаются как остро актуальные, автор не просто высказывал собственное мнение по животрепещущим социально-экономическим, политическим, культурным вопросам, но и обращался к самой сути жизни России, ни на минуту не забывая об ответственной позиции «глашатая истины», призванного к активной борьбе со злом, произволом, деспотизмом, невежеством, косностью и другими пороками.

30 мая 1862 г. в газете «Северная пчела» появилась ставшая злополучной для Лескова его статья о петербургских пожарах «Настоя-

щие бедствия столицы». Автор публикации справедливо призывал бездействующую власть опровергнуть слухи о поджигателях или – если толки небеспочвенны – найти и наказать злодеев. Однако в раскалённой политической атмосфере тех лет эти призывы были истолкованы превратно. Лесков оказался в положении «между двух огней». «Пожарная статья» вызвала суровые нападки «справа» и «слева»: со стороны правящего лагеря своё неодобрение выразил Александр II, радикальная критика фактически объявила Лескову бойкот. Писатель, по его словам, был «распят заживо», стал мишенью для насмешек и издевательств.

С тех пор он прокладывал себе «третий» путь – «против течений», искал «противоположную всем дорогу». «Не подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям», Лесков отказывался «с притворным благоговением нести мишурные шнуры чьего бы то ни было направленного штандарта». «Своё уединённое положение» писатель подчёркивал в показательной самохарактеристике: «Дело просто: я не нигилист и не аутократ, не абсолютист и не ищущий славы моя, но славы пославшего мя Отца».

Истоки писательства, заявленные в публицистике Лескова, вылились в его раннюю художественную прозу: весной 1862 года в периодической печати были опубликованы рассказы «Погасшее дело», «Разбойник», «В тарантасе».

Знаменательно, что первым героем лесковской беллетристики стал сельский священник – отец Илиодор. В подзаголовке дебютного своего художественного произведения «Погасшее дело» (впоследствии: «Засуха») (1862) автор указал: «Из записок моего деда». Дед Николая Лескова умер ещё до рождения внука, но будущий писатель знал о нём от родных: «всегда упоминалось о бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова». В характере героя «Засухи» многое предвещает центральную фигуру романа-хроники «Соборяне» (1872) – Савелия Туберозова, на прототип которого прямо указал писатель в «Автобиографической заметке»: «Из рассказов тётки я почерпнул первые идеи для написанного мною романа «Соборяне», где в лице протоиерея Савелия Туберозова старался изобразить моего деда». Важно заметить, что дневник Савелия – «Демикотоновая книга» – открывается датой 4 февраля 1831 года – это день рождения Лескова (по старому стилю). Так писатель биографически «включает» себя самого в заветный текст дневника своего героя – бесстрашного проповедника слова Божия, являет свою родственную и духовную сопричастность «мятежному протопопу».

Отец Илиодор в «Засухе» – столь же привлекательный и мощный художественный образ. Это настоящий *батюшка* для крестьян, живущий их нуждами; бескорыстный, готовый без всякой мзды отпевать молебны о дожде, дабы предотвратить неурожай и голод; доброжелательный, участливый, отечески заботливый. Но он может быть и настойчивым, и гневным, когда отговаривает крестьян от их варварского языческого плана – сделать свечу из умершего от пьянства пономаря с целью прекратить засуху.

Рассказ позднее был объединён автором с рассказом из народной жизни «Язвительный» (1863) под общим заголовком «За что у нас хаживали в каторгу». «Засуха» – также *прелюдия* к поздней «*рапсодии*» Лескова «Юдоль» (1892), в которой писатель ровно тридцать лет спустя показал то же дикое невежество «малосмысленной» крестьянской

массы – при сходных обстоятельствах (место действия – Орловская губерния, время – голод 1840-х годов и 1891 года).

О пастырском служении – «учить, вразумлять, отклонять от всякого <...> вздора и суеверий» – размышляет герой дебютного рассказа Лескова. Эти раздумья продолжаются в его первой большой повести «Овцебык» (1862). Главный герой носит знаменательную фамилию – Богословский – «носитель слова Божьего». Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде, выучившись в семинарии, отказался от поприща священника, однако не сделался атеистом и нигилистом. Искренне желая просветить народ, Василий Богословский в конце жизни сожалеет, что не стал священнослужителем, к авторитетному слову которого люди привыкли прислушиваться: *«Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель – народу шут, себе поношение, идее – пагубник».*

«Овцебык»-Богословский – «странный зверь в пределах нашей чернозёмной полосы» – списан с натуры. Прототипом эксцентричного героя послужил Павел Иванович Якушкин – известный фольклорист и этнограф, образ которого вошёл в поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» под именем «Павлуша Веретенников». Впоследствии Лесков посвятил своему земляку очерк «Товарищеские воспоминания о П.И. Якушкине» (1884).

Наивная попытка героев и повести, и очерка вести пропаганду в народе осталась нереализованной. Сама «идея», с которой они идут в народ, неясна: «В готовности <...> его жертвовать за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться, но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего Овцебыка». Богословского не раз именуют «шутом», «чудаком», даже «отставным комедиантом». Якушкин для мужиков – «кто-то *ряженный*». У героев нет уверенности в правильности избранного пути: «О, когда б я знал, что с этим можно сделать!.. Я на ощупь иду».

«Новые люди» – революционные демократы в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) – по замыслу автора, знали, куда идти. Писательская интуиция Лескова, не разделявшего позицию революционных «нетерпеливцев», подсказывала ему, что это трагический путь. Судьбы его героев обрываются тупиком, многозначительно поименованным в повести «Овцебык» словом-символом *«некуда»*. Убедившись, что жизнью правят «мужи кармана», подобные коммерсанту Александру Свиридову, Василий Богословский приходит к безнадежному выводу: «некуда идти. Везде всё одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь». Герой кончает жизнь самоубийством.

Выход из тупика и подстерегающей человека трагедии был намечен в лирическом отступлении автора – одним из самых поэтичных фрагментов художественного мира Лескова – в описании впечатлений от его детских поездок по монастырям, собственных первых опытов православного благочестия, чистой, не замутнённой разъедающим скепсисом веры, общения с монастырским людом, который знает, что разгадки смысла жизни не существует вне Бога.

Исследование вопроса о социальных преобразованиях русской действительности, проблем освободительного движения писатель продолжил в «полемическом» романе «Некуда» (1864). Здесь трагическое слово-образ, ранее прозвучавшее в «Овцебыке», демонстративно вынесено в заглавие.

Вслед за романом Тургенева «Отцы и дети» (1862) Лесков исследует общественно-исторические противоречия переломной эпохи, проблему нигилизма, столкновение «отцов» и «детей», консервативной и радикальной среды, «старой» России и «новых людей», горящих стремлением переустроить общий уклад жизни. Задача автора – «отделить настоящих нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами».

Ранее – в статье «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе “Что делать?”» (1863) – Лесков сочувственно отзывался о «настоящих нигилистах», которые «терпеливо идут к своей предположенной цели, заботясь прежде всего о водворении в общине самой широкой честности». В то же время писатель беспощадно заклеил «грубую, ошалелую и грязную в душе толпу пустых и ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма».

«Чистые нигилисты» представлены в «Некуда» в образах Вильгельма Райнера (его прототипом явился Артур Бенни, которому Лесков посвятил очерк «Загадочный человек» – 1870), Лизы Бахарева, Юстина Помады. Это великодушные, самоотверженные, героические натуры, готовые жертвовать собственной жизнью ради идеала «неугасимой жажды света и правды». Райнер погиб как мученик. Лиза отправилась в путь, чтобы в день казни своего возлюбленного быть рядом с ним. Пережив сильнейшее нравственное потрясение, на обратном пути она простудилась и умерла от воспаления лёгких.

Самозванные нигилисты с их вульгарной профанацией чистых идеалов, призывами «залить кровью Россию» способны только «засорить путь». С такими попутчиками героям – романтикам высокой нравственной идеи «возможно большего блага для возможно большего числа людей» – идти некуда. Полное фиаско терпит пошлый позёр и прохвост Белоярцев, организовавший Дом Согласия как псевдообразчик социалистического общежития. В реальности такую же неудачу потерпела Знаменская коммуна В. Слепцова, узнавшего себя в образе Белоярцева.

Памфлетность романа, сходство действующих лиц с реальными прототипами вызвали гневную отповедь радикальной критики. Особенно резко высказался идейный вождь русских нигилистов Д.И. Писарев (также земляк писателя – орловец). В статье «Прогулка по садам российской словесности» (1865) он вынес Лескову обвинительный приговор, которому суждено было пристать к имени писателя надолго: «Двадцать лет кряду... гнусное оклеветание нёс я, и оно мне испортило немного – *только одну жизнь...*» Двери демократических печатных изданий для Лескова были закрыты: «Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал “Некуда”». Некоторое время он сотрудничал в консервативном журнале «Русский вестник», редактор которого М.Н. Катков впоследствии заявил о Лескове: «этот человек не наш!» Писатель не без оснований поименовал Каткова «убийцей родной литературы».

Лесковское творчество проникнуто подлинным, не книжным знанием народной жизни. В цикле статей «Русское общество в Париже» (1863) автор с гордостью заявлял: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я *вырос в народе* на гостомельском выгоне <...>, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек». Детство будущего писателя прошло у речушки Гостомли на Панином хуторе

Кромского уезда Орловской губернии. Не случайно его первые беллетристические произведения о народной жизни, овеянные фольклорно-песенной стихией, отличаются точностью топонимики и этнографии и носят подзаголовок «Из гостомельских воспоминаний»: рассказ «Ум своё, а чёрт своё» (1863), «крестьянский роман» «Житие одной бабы» (1863) – о красоте, талантливости, человеческом достоинстве и трагической судьбе женщин из простонародья. Словом «житие» автор подчеркнул высоту и святость страдальческой жизни своей героини – гостомельской крестьянки-песельницы Насти Прокудиной.

Острый интерес Лескова к незаурядным, непостижимым женским характерам сказан также в очерках «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) и «Воительница» (1866).

В российской глубинке – в уездном городке Мценск Орловской губернии – писатель отыскал характер шекспировского масштаба. Натура «леди Макбет» – купеческой жены Катерины Измайловой, пылко влюблённой в приказчика Сергея и совершившей во имя этой страсти череду кровавых злодеяний и грех самоубийства, вызывает изумление и ужас: «Ни в какую типологию характеров не уложишь лесковскую четырёхкратную убийцу ради любви»\*. Объяснения с просветительских позиций – губительным влиянием косной среды, страстей, вышедших из-под контроля разума, – будут явно недостаточными.

Подобно Достоевскому, в чьём журнале «Эпоха» впервые была опубликована повесть, Лесков погружается в изучение бездн добра и зла, которые ведут непрерывную битву в душе человеческой. Борьба ангелов с демонами особенно очевидна в сцене убийства ребёнка-наследника. Незадолго до гибели Федя предлагает «тётеньке» почитать житие его Ангела – святого Феодора Стратилата: «Вот угождал Богу-то». «Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались». Демоническое начало одерживает верх в душе расчётливой и бестрепетной преступницы, одурманенной своей страстью, лишённой религиозного чувства: «уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится».

С точки зрения христианских представлений, зло неуклонно ведёт своих носителей к самоуничтожению. Подобно тому как в евангельской притче бесы, вошедшие в свиней, бросились в бездну, так Катерина Львовна гибнет в водной пучине, увлекая за собой соперницу и заставляя окаменеть от страха зрителей этой жуткой драмы.

Драматическое в переплетении с комическим представил Лесков в «Воительнице». Героиня очерка Домна Платоновна – также в прошлом мценская купчиха, обосновавшаяся в столице. Эта бойкая «деловая женщина» посвящает себя «отяготительным трудам» и ведёт, по её словам, «самую прекратительную жизнь». Она участвует в массе мелких торговых и посреднических сделок: сватает женихов и невест, отыскивает деньги под заклад, ищет работу гувернанткам и лакеям, разносит тайные любовные записочки в будуары светских дам. В то же время эти вечные хлопоты – потребность активной, энергичной натуры: «Завистна уж я очень на дело; сердце моё даже выигрывает, как вижу дело какое есть». Здесь обнаруживается своего рода артистизм даровитого характера: она «любила своё дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих». «Петербургские обстоятельства», где «ещё больше всякий человек ухитряет-

\* Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье. – М.: Книга, 1982.

ся» и много «пошло обманов да выдумок», вызывают негативное отношение героини: «отврат да и только». В то же время сама она, простая и добросердечная, причастна этому хищному, циничному миру, выступая в низкой роли сводни в истории с попавшей в беду молодой дворянкой Леканидой, чьи душевные терзания Домне Платоновне непонятны.

В конце жизни ей послано своего рода «возмездие» – безоглядная любовь к непутёвому парню Валерке вдвое моложе неё, которому она отдала всё, что имела.

В «Воительнице» впервые в творчестве Лескова в полной мере проявилось его неподражаемое мастерство сказа, в котором писатель не имел себе равных. Повествовательная форма свободного говорения, устного рассказывания героя – его голосом, в его собственной манере и с характерными интонациями – представляет собой многогранную языковую призму. «Постановка голоса у писателя, – пояснял Лесков, – заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя <...> мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики – по-мужицки, выскочки из них и скоморохи – с выкрутасами и т. д.»\*. В то же время умение «говорить» устами своих героев становится важнейшим художественным способом постижения самой сути характера, сознания, психологии человека, а также глубинных основ национальной жизни\*\*.

В середине 1860-х годов Лесков создал два романа на темы из петербургской жизни – «Обойдённые» (1865) и «Островитяне» (1866).

Извечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических установлений, представлен в единственном лесковском драматическом произведении «Расточитель» (1867). Вслед за А.Н. Островским, чьи пьесы Лесков высоко ценил, он выступает обличителем «тёмного царства». 60-летний купец Фирс Князев – «вор, убийца, развратитель». Его антипод – добрый и мягкий Иван Молчанов – предстаёт в роли мученика, жертвы деспотического произвола. Пользуясь своим положением «первого человека в городе» и продажностью суда, старый купец добивается, чтобы Молчанова признали «злостным расточителем» и устранили «от права распоряжения своим имуществом», которое передаётся в опеку Князеву. Молодой человек, обрастая к своим истязателям, обличает беззаконие: «*Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные – потомство, Бог, история осудят...*»

В лесковский юбилейный год хорошо было бы увидеть его незаслуженно забытую пьесу в репертуарах театров.

Критическое отношение Лескова к росту капиталистических тенденций, влекущих за собой падение идеалов, «меркантилизм совести», распад человеческих – в том числе родственных – связей, когда все друг с другом «на ножах», с особой художественной силой выразилось в его творчестве начала 1870-х годов. Романа «На ножах» (1871) в нынешнем году также отмечен «круглой датой» – 140 лет со дня создания. Однако при перечитывании не оставляет ощущение, что читаешь о происходящем в России сегодня.

\* Фаресов А.И. Против течений: Н.С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нём. – СПб., 1904.

\*\* См. об этом: Дыханова Б.С. В зеркалах устного слова (Народное самосознание и его стиливое воплощение в поэтике Н.С. Лескова). – Воронеж, 1994.

У романа тоже сложная судьба. Долгое время он не переиздавался, фактически был под запретом. Воспринимаемый одними как «антинигилистический», другими – как «антибуржуазный», в своей религиозно-философской основе он воплощает прежде всего христианскую концепцию человека и мира.

Невнимание к духовной природе человека, отказ от Бога, отрыв от почвы приводят к тому, что бывшие «нигилисты» окончательно перевоплотились в буржуазных дельцов, ловких авантюристов, мошенников, живущих по звериным законам борьбы за существование. Таковы в лесковском романе соучастники преступлений Глафира Бодростина и Павел Горданов; «подлый жид» и ростовщик Тишка Кишенский; его любовница Алинка Фигурина, обокравшая собственного отца; безнатурный «межеумок» Иосаф Висленёв; его сестра Лариса, одержимая гордыней и себялюбием.

Архитектоника «На ножах» сродни роману Достоевского «Бесы», созданному в том же 1871 году, с его хаотичным «бесовским» кружением переродившихся людей, утративших духовно-нравственную опору. Как кошмар, нарастают в лесковском романе преступные происки, шантаж, вымогательство, внезапные исчезновения, маскировки и мистификации, супружеские измены, дуэль, двоемужество, самоубийство, убийства.

«Бесовскому» самоистреблению тёмных сил противостоит светлое созидательное начало духовно-нравственного мира христианской жизни. Её идеалы исповедуют праведница Александра Синтянина, человек чести и долга – «испанский дворянин» Андрей Подозёрлов, священник отец Евангел, «истинный нигилист» майор Форов и его многозаботливая жена Катерина Астафьевна, «умная дурочка» Паинька, «великомученица» Флора. По мысли Лескова, самоотверженная любовь, деятельное добро, милосердие должны стать не только ориентиром, но и нормой человеческих отношений, социально-нравственным регулятором общественной жизни. Следование этим спасительным заповедям поможет уберечься от нравственной порчи, удержаться на краю бездны.

Роман «На ножах» создавался почти в одно время с хроникой «Соборяне» (1872) (варианты – «Чающие движения воды», «Божедомы»). М. Горький отмечал, что после романа «На ножах» творчество Лескова «становится яркой живописью или, вернее, иконописью, – он начинает создавать для России иконостас её святых и праведников»\*. Согласно народной легенде, «без трёх праведных несть граду стояния». Духовно-нравственной опорой жизни Старгорода (место действия «Соборян») являются три священнослужителя – «мятежный протопоп» Савелий Туберозов, кроткий и смиренный священник Захария Бенефактов и «казак в рясе» дьякон Ахилла Десницын (как бы новый Ахиллес – воин Христа). Они воплощают идеальные образы православного духовенства.

Протоиерей Савелий обладает обострённым нравственным чувством, гражданским самосознанием, могучей деятельной натурой: «не философ я, а гражданин <...> скорблю и страдаю без деятельности». Непрестанно ощущая в себе горение проповеднического дара – живой речи, направляемой от души к душе, Туберозов отвергает официально-мертвенное и услужливо-опасливое требование церковных властей,

\* Горький М. Н.С. Лесков // Собр. соч.: В 30 т. – М.: ГИХЛ, 1953. – Т. 24.

«дабы в проповедях прямого отношения к жизни делать опасался, особливо же насчёт чиновников». Савелий, по его словам, «из-под неволи не проповедник». Он стремится «насаждать в души семена добра», воспитывает прихожан не в букве, а в духе христианских идеалов, указывая на живые примеры самоотверженной любви к ближнему (полунищий Константин Пизонский призрел брошенного младенца, стал «питателем сирых»). Болея душой за судьбу Родины, Савелий Туберозов убеждён, что нельзя жить «без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих... это сгубит Россию».

Для церкви, задавленной государственностью, прошло «время слов», нужны подвиги. Бесстрашный проповедник собирает в храме всех власть имущих и обличает их «бесстрастное равнодушие к добру и злу», «кривосудство», «великую утрату заботы о благе Родины», «небрежение о молитве», «сведённой на единую формальность». Отец Савелий порицает «наёмничью молитву» и «торговлю совестью». На смену умиротворённому любованию «старой сказкой» патриархальной жизни приходят внутренний накал и драматическая напряжённость.

Проникнутая освободительной правдой проповедь Туберозова была воспринята чиновно-бюрократическим аппаратом как «революция» и «бунт». С этого момента жизнь опального протопопа переходит в «житие». К концу хроники умирают все три героя «старгородской поповки». Несмотря на их треволения, страдания, муки под тяжестью возложенного на себя креста, «Соборяне» оставляют благоговейное впечатление. По словам критика, «на глазах читателя совершается художественное таинство, граничащее с таинством религиозным»<sup>\*</sup>.

Добиваясь «эпического равновесия» в обрисовке соотносённости прошлого и настоящего русской жизни, Лесков всё чаще обращался к жанру хроники: «Старые годы в селе Плодомасове» (1869), «Захудалый род» (1874). Свободная форма не требовала, как в романе, «закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает». Напротив – «жизнь человека идёт как развивающаяся со скалки хартия, и я её так просто и буду развивать лентою в предлагаемых мною записках», – так размышлял писатель о теории жанра в хронике «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» (1874).

В хронике «Смех и горе» (1871), первую публикацию которой сопровождало посвящение: «*Всем находящимся не на своих местах и не при своём деле*», – Лесков представил свою концепцию русской жизни с её мозаичной пестротой, калейдоскопической сменой непредсказуемых ситуаций, анекдотических «сюрпризов и внезапностей», которые поджидают человека на каждом шагу: «что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный».

В жизни России нет никакой стабильности, постоянства, кроме «притеснений». Герой-рассказчик дворянин Орест Маркович Ватажков обескуражен общественным лицемерием, цинизмом, ложью, насилием над личностью. Вездесущий «голубой купидон» Постельников воплощает господствующий порядок полицейского государства с его системой предательства и провокаций. Болезненная правда заключается в том, что в жизни всё хрупко, алогично, абсурдно, так что становится

<sup>\*</sup> *Волынский А.Л.* Литературные заметки. Н.С. Лесков // Северный вестник. – СПб., 1897. – № 1.

«за человека страшно». Герой, выпоротый «невзначай» по ошибке, погибает у «здания новой судебной палаты».

Социально-политический, национально-исторический, религиозно-нравственный, философский аспекты «встроены» в систему разнополярных координат «смеха и горя». Сатира хроники подобна гоголевской – «сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слёзы». Лесков в «открытом письме» П.К. Щебальскому подчеркнул: «смех мой – не смех злорадства, а смех скорби». Писатель показал трагикомическое несоответствие реальности идеалу. Благородной натуре сложно вырваться из водоворота социологических парадоксов и метаморфоз. Человек не в состоянии управлять своей судьбой, его стремления бессильны перед запутанным клубком разнонаправленных желаний и целей других людей.

Это одно из этапных произведений Лескова. Позднее он признавался: «Я стал думать ответственно, когда написал “Смех и горе”, и с тех пор остался в этом настроении – критическом и, по силам моим, незлобивом и снисходительном».

Стихия трагикомического – «драмокомедия» как выражение «трагических усмешек судьбы» – нашла воплощение в шедевре Лескова «Очарованный странник» (1873). Писатель проследил историю жизни Ивана Северьяновича Флягина – настоящего русского богатыря по физической силе и духовной мощи. «Одиссея» жизненного пути с его разнообразными «очарованиями» разворачивается перед «чернозёмным Телемаком» (таков был один из вариантов заглавия) подобно вечному странствованию человека по дорогам жизни – «от одной стражбы к другой». Внешне напоминая былинного Илью Муромца «очарованный странник» столь же эпичен: герой олицетворяет национальный опыт и сам дух нации, эволюцию характера русского человека, его духовное восхождение. В финале он становится монахом. Но это ещё не конец его пути-дороги. Он жаждет эпического подвига. Последнее «очарование» «богатыря-черноризца» – «помереть за народ».

«Сага» Ивана Северьяновича – затейливая сказовая речь во всей её многокрасочности – звучит на борту судна, плывущего по Ладоге. За год до создания «Очарованного странника» Лесков написал цикл «путевых заметок» «Монашеские острова на Ладожском озере» (1872) – итог своего путешествия по русскому Северу – средоточию православных монастырей. В воображении автор пытался восстановить истории жизни своих спутников-монахов. Почему они бежали от мирской суеты? Какие беды оставили позади? Чьи грехи искупали? Что привело их к тому, чтобы отказать от мира и сосредоточиться на мыслях о Боге? Ответы на эти вопросы даны в повести «Очарованный странник», герой которой исповедал свою жизнь «со всею откровенностью своей простой души».

Глубинные религиозно-нравственные устои народной жизни, эмоциональную и эстетическую отзывчивость русского человека воплотил Лесков в общепризнанном шедевре «Запечатленный ангел» (1873), который «нравился и царю, и пономарю». Это уникальное литературное творение, в котором главным «действующим лицом» становится икона. В тот же год Лесков написал статью «О русской иконописи», в которой указал на огромное значение иконы в жизни народа, ратовал за возрождение русского иконописного искусства. Сам писатель в «Запечатленном ангеле» выступил как искусный «изограф»-иконописец, передавая

в слове «неописуемую» предивную красоту русских икон, «тип лица небожительный».

Своё творение автор снабдил подзаголовком «рождественский рассказ». Однако по объёму это скорее повесть, в развёрнутом сюжете которой соблюдены все правила и каноны святочного жанра. Писательское мастерство столь велико, что жанровые условности не ограничивают, а наоборот – стимулируют фантазию и изобретательность художника. Именно такой творческий подход Лесков сохранил и тогда, когда святочный рассказ стал постоянным жанром его писательского репертуара 1880-х – начала 1890-х годов. Автор гордился тем, что именно после его «Запечатленного ангела» святочные рассказы «опять вошли в моду», то есть стала возрождаться и развиваться традиция целого уникального пласта русской культуры.

Кроме того, первый опыт рождественского рассказа воздействовал не только на литературный процесс (пасхальный шедевр А.П. Чехова «Святою ночью» (1886) – этюд в лесковской манере), но и на дальнейшие творческие искания самого Лескова. Именно «святочная модель» – та жанровая канва, которая зарождалась в «Запечатленном ангеле», – была спроецирована затем на многие лесковские произведения из циклов «Святочные рассказы» (1886) и «Рассказы кстати» (1886).

Непременное в святочном повествовании «чудо» в «Запечатленном ангеле» – ключевое слово и образ. Весь комплекс «чудес», «дивес», «преудивительных штук» на глазах «дивозрителей» неуклонно подводит к главному чуду – осуществлению желания «воедино одушевиться со всею Русью». Прорыв старообрядческой замкнутости в большой мир, отказ от религиозного догматизма, соединение людей разных национальностей, конфессий, общественного положения – все эти важнейшие итоги общечеловеческой солидарности базируются на сокровенной вере Лескова в то, что все – «уды единого тела Христова! Он всех соберёт!». Писатель выводит традиционную в святочном рассказе идею сплочения из тесных рамок семейно-бытового круга на уровень вневременной, межнациональный, общечеловеческий. Это тем более важно, что Лесков с болью наблюдал распад человеческих связей: «с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновлённее, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивою вывела».

Однако даже в атмосфере «суетного и суетливого времени» писатель одушевлён верой в духовность человека. Иконописный лик ангела остался неповреждённым под чиновничьей сургучной печатью. Праведный старец Памва иносказательно предсказывает грядущее «распечатление» ангела: «Он в душе человеческой живёт, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать». Не дать порваться связи времён и поколений, восстановить «тип высокого вдохновения», «чистоту разума», который пока «суете повинуется», поддержать «своё природное художество» – таковы главные цели автора.

Воплощением религиозно-нравственных представлений русского народа об идеальном человеке – заданного в Евангелии христианскому идеалу совершенства: «поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3: 21) – является тип праведника. Тема праведничества – магистральная в творчестве Лескова. Идея цикла «Праведники» (1879–1889) кристаллизовалась с самого начала творческого пути художника. Почти в каждом его произведении, начиная с ранних, оживают типы людей «высокой пробы»

всех сословий и званий, которые представляют собой «отрадные явления русской жизни»\*. В этом отношении Лесков – уникальная фигура в истории русской словесности. Писатель, «как очарованный, сподобился всю жизнь стоять перед чудом человеческого подвига и подвижничества, и до конца понял и схватил эту героическую стихию»\*\*. Праведники, написанные по внутреннему заданию «оправдать Русь», своеобразные, колоритные, иногда причудливые, воспроизводят светлые явления русской жизни.

В предисловии к рассказу «Однодум» (1879) с целью опровержения крайне пессимистического заявления А.Ф. Писемского, объявившего, что он видит во всех своих соотечественниках одни только «мерзости», Лесков возвестил: «Мне это было и ужасно и несносно, и пошёл я искать праведных, пошёл с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трёх праведных, без которых “несть граду стояния”». «У нас не переводились, да и не переведутся праведные, – утверждал писатель в рассказе “Кадетский монастырь” (1880). – Их только не замечают, а если стать присматриваться – они есть».

Лесковские праведники воплощают идеал активного, деятельного добра. Самоотверженная любовь к ближнему в соединении с настойчивым практическим деланием – основной признак и качество праведности. «Это своего рода маяки», – утверждал писатель в очерке «Вычегодская Диана (Попадья-охотница)» (1883), развивая концепцию «героев и праведников».

Лесков не устает восхищаться характерами, хранящими в себе особенные, оригинальные и высоконравственные черты, «живой дух веры». Персонажи, принадлежащие к праведническому типу, как характеры живые, полнокровные наделены индивидуальной неповторимостью: каждый из героев воплощает собственное духовно-субстанциональное начало, отражённое в различных явлениях социально-этического порядка. Таковы, например, неподкупность «неберущего квартального» Рыжова («Однодум»), бессребреничество Николая Фермора, стремление к святости Брянчанинова и Чихачёва («Инженеры-бессребреники»), совесть, благородство, участливость Перского, Боброва, Зеленского и отца-архимандрита («Кадетский монастырь»), духовный свет «русских богоносцев»-священнослужителей («Некрещённый поп», «Владычный суд», «На краю света»), патриотизм и талантливость левши («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе», где Лесков достигает таких вершин мастерства узорчатой сказовой речи, в которой «русский дух» и «Русью пахнет», что перевод этого художественного шедевра на иностранные языки становится неразрешимой проблемой\*\*\*). Готовы на подвиг самоотвержения во имя высокого человеколюбия герои рассказов «Павлин», «Пигмей», «Русский демократ в Польше», «Несмертельный Голован», «Тупейный художник», «Человек на часах», «Пугало», «Дурачок», «Томление духа», «Фигура» и других.

Лесков поднимает вопрос о праведническом подвижничестве на религиозно-философский уровень, связывая основополагающие принципы религии с насущными задачами социальной жизни. Его «малень-

\* Цит. по: Фаресов А.И. Против течений: Н.С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нём. – СПб., 1904.

\*\* Сувчинский П.П. Знамение былого. О Лескове // Московский журнал. – 1995.

\*\*\* Эджертон У. Почти неразрешимая проблема: перевод прозы Лескова // Leskoviana. Bologna Editrice Clueb, 1982.

кие люди с просторными сердцами» не канонические святые, но их «тёплыми личностями» согревается жизнь. Праведность возвышается «над чертой простой нравственности», и потому сродни святости, – размышлял писатель в «Русских антиках» (1879). В статье «Два слова о редстокистах» (1876) он говорил «об оправдании живою, действительною верою, т. е. верою и делами»: «Нужны подвиги, подвиги благочестия, правды и добра, без которых не может жить в людях дух Христов, а без него суетны и тщетны и слова, и поклонения»\*.

Проникая в существо лесковского художественного феномена праведничества, Б. К. Зайцев – христианнейший писатель XX века – подчеркнул, что это «рука, протянутая человеком к человеку во имя Бога»\*\*.

Параллельно с рассказами о праведниках Лескова создавал цикл «проложных» повестей (1886–1891) – «византийских легенд», «сказаний», «апокрифов», основанных на житийных сюжетах древнепечатного «Пролога». Произведения из раннехристианской жизни Египта, Сирии, Палестины «Лучший богомolec», «Прекрасная Аза», «Легенда о совестном Даниле», «Лев старца Герасима», «Скоморох Памфалон», «Зенон-златокузнец» (впоследствии – «Гора») и другие под своеобразной декоративно-художественной тканью древних красок и образов выводили проблему праведничества на уровень межнациональный, вселенский, утверждали вневременные религиозно-нравственные идеалы.

Многие из «византийских легенд» создавались под влиянием этико-философских воззрений Л.Н. Толстого, с которым «совпал» Лесков. Толстой в свою очередь писал о Лескове: «Какой умный и оригинальный человек». В то же время Лесков не принимал «крайностей» «яснополянского мудреца» и его восторженных подражателей. Полемизируя с ними в статьях «О рожне (Увет сынам противления)» (1886), «Загробный свидетель за женщин» (1886) Лесков продемонстрировал «разномыслие» с Толстым, самостоятельность религиозно-философской позиции. Православное по сути лесковское мироощущение во многом определяло своеобразие поэтики его поздних произведений. Так, аллегорический образ героини, истинное имя которой Любовь, в сказке-притче «Маланья – голова баранья» (1888), как и образы многих женщин-праведниц в творчестве Лескова, напоминает сострадательно-духотворённые женские лики русских икон.

В рассказе «По поводу “Крейцеровой сонаты”» (вариант заглавия – «Дама с похорон Достоевского») – (1890) Лесков вступил в творческий диалог и мировоззренческую полемику с Достоевским и Л. Толстым, противопоставляя их суровому этическому максимализму милосердный, божеский взгляд на морально-нравственные проблемы: «Бог вам судья в этом деле, а не я <...> победите самую себя, а не убивайте других, делая их несчастными»\*\*\*. В своём «художественном поучении» Лесков выступил и как проповедник христианских истин, и как духовный наставник своих читателей.

\* Лесков Н.С. Два слова о редстокистах (Письмо в редакцию Ц<ерковно>О<бщественного> вестника // Церковно-общественный вестник. – 1876. – 24 ноября. – № 129.

\*\* Зайцев Б. Н.С. Лесков (к 100-летию рождения, заметки 1931 г.) // Аврора. – 2002. – № 1.

\*\*\* Фаресов А.И. Н.С. Лесков в последние годы // Живописное обозрение. – 1895. – 5 марта. – № 10.

В циклах рассказов из жизни церковного быта «Мелочи архиерейской жизни» (1878–1880), «Заметки неизвестного» (1884), поверхностно воспринятых как антиклерикальные, писатель «расчищал подходы к храму», в котором, по его убеждению, должны служить только чистые сердцем, наделённые высочайшей духовностью слуги Божии. Лесков критиковал не идею Церкви, а людей, считающих себя ей причастными, однако далеко отстоящих от её идеалов. «Выметая мусор» из храма, автор «Мелочей архиерейской жизни» создал в то же время «уповательные» образы русского православного духовенства, которые явились «болеутолителем» для Лескова, глубоко страдавшего при виде внутренних церковных «нестроений».

В 1889 году был запрещён и приговорён к сожжению отпечатанный VI том Собрания сочинений Лескова, куда вошли «Мелочи архиерейской жизни». Ранее за очерк «Поповская чехарада и приходская прихоть» (1883) писатель был уволен со службы в Министерстве народного просвещения. Цензура продолжала преследовать Лескова. «У меня целый портфель запрещённых вещей», – говорил писатель.

В последние годы жизни и творчества – с 1891 по 1894 год – Лесков создаёт произведения, открыто направленные против правящей «элиты», сурово обличающие российскую «социабельность»: «Полунощники», «Юдоль», «Импровизаторы», «Загон», «Продукт природы», «Зимний день», «Дама и фёфёла», «Административная грация», «Заячий ремиз». Усиление социально-критического пафоса поздних лесковских рассказов и повестей связано прежде всего с созидательным «стремлением к высшему идеалу». Вслед за Тертуллианом Лесков был уверен, что «душа по природе христианка». Поэтому неудивительно, что произведения, полные горечи и сарказма, освещаются изнутри светом Божественной истины. Знаменательны слова тёти Полли в «рапсодии» «Юдоль» (1892): «Надо подниматься!»

Герой «прощальной» повести Лескова «Заячий ремиз» (1894) Оноприй Перегуд видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении «игры с болванами», социальными ролями, масками. Всеобщее лицемерие, бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана и насилия над личностью отразился в Перегудовой «грамматике», которая только внешне кажется бредом сумасшедшего и заканчивается молитвой «за всех»: «Пожалей всех, Господи, пожалей!»

Лесков на новом духовном и эстетическом уровне подвёл итоги темам и проблемам, которые он разрабатывал на протяжении всего писательского пути. Духовное прозрение героя в финале «Заячьего ремиза» знаменует обостренную духовную зоркость и самого автора.

В то же время повесть требует основательной дешифровки, поскольку сам писатель предупреждал о том, что в ней есть «деликатная материя», что всё «тщательно маскировано и умышленно запутанно».

В «загоне» жизни Лесков ощущал настоятельную необходимость позитивных начал. Он выстраивал свою художественную модель мира: путь от злобы, богоотступничества, предательства, духовно-нравственного разложения, распада человеческих связей – к искуплению вины через покаяние и деятельное добро, следование идеалам Евангелия и завету Христа: «Иди и впредь не греши» (Ин. 8:11), к единению «во имя всех создавшего Бога».

От добровольно возложенной на себя обязанности «выметальщика сора из храма» Лесков в последние годы переходит к реализации своего высокого творческого призвания к художественной проповеди. Так,

в рассказе «Под Рождество обидели» (1890) он убеждает читателя вместе с автором приобщиться к поискам истины: «Читатель! будь ласков: вмешайся и ты в нашу историю <...> обдумай – с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного закона или с Тем, который дал тебе “глаголы вечной жизни”...»

Лесков – писатель «непостыдной совести», которая требовала особого рода духовного призвания и творческого созидания. «Литература – тяжёлое, требующее великого духа поприще», – говорил он. Несмотря на критический пафос, вызванный горячим желанием видеть свою Родину «ближе к добру, к свету познания и к правде», каждой лесковской строке свойственна «скрытая теплота» (так называлась одна из поздних статей Лескова с эпиграфом: «Скрытая теплота не поддаётся измерению»<sup>\*</sup>).

Особенность творчества Лескова такова, что за конкретно-историческими фактами русской реальности у него всегда проступают вневременные дали, открываются духовные перспективы, «мимотекущий лик земной» соотносится с вековечным, непреходящим. «Думаю и верю, что “весь я не умру”, – писал Лесков за год до смерти – 2 марта 1894 года, – но какая-то духовная постать уйдёт из тела и будет продолжать вечную “жизнь”».

---

<sup>\*</sup> Лесков Н.С. Скрытая теплота // Новое время. – 1889. – 2 (14) января. – № 4614.

## Валерий РУМЯНЦЕВ

Родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. По окончании Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности.

Автор более десяти книг поэзии и прозы, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

Живет в Сочи.

### «Я САМ ПОЙДУ ПО ТОНЕНЬКОМУ ЛЬДУ...»

По страницам поэзии Михаила Анищенко

Минувшей осенью литературная общественность отметила 70-летие со дня рождения выдающегося русского поэта Михаила Всеволодовича Анищенко (1950–2012), творчество которого наконец-то начинает получать достойную оценку.

Эпитет «выдающийся» в данном случае уместен, ибо так талантливо отобразить российскую действительность конца XX – начала XXI века никто из его современников-поэтов не смог. Литературным критикам и литературоведам ещё предстоит открыть тайну творческого метода Михаила Анищенко. А в этой небольшой статье я остановлюсь лишь на некоторых страницах его поэтического наследия, которые кажутся мне особенно яркими.

Больше всего душа поэта болела за судьбу России. В своей статье «Ускорение как будущее русской поэзии» Михаил Анищенко пишет: «За последние двадцать лет нынешней олигархической властью России нанесён ущерб, превышающий все батыевские, польско-шведские, наполеоновские и гитлеровские погромы вместе взятые. Таких темпов истребления коренного населения не ведали даже американцы, уничтожая индейцев... Нацистским преступникам и не снились такие темпы решения “славянского вопроса”».

А поэтическим языком об этом же поэт говорит так:

Наследство делят. Всюду давка..  
Там – нефть и газ, и антрацит...  
Русь умерла. И только травка  
Растёт среди могильных плит.

В крови последнего заката,  
Где вечность стынет на краю,  
Куда теперь идти солдату,  
Кому нести печаль свою?

Как было просто – или-или!  
Иди, стреляй без лишних слов...  
А здесь свои своих купили  
И превратили их в рабов.

Всё это с помпой, с фейерверком,  
Во тьме, ликующей, как чёрт...  
Русь умерла. Осталась церковь,  
Но и она теперь умрёт.

В другом стихотворении читаем такие строки:

Всё обгадили, всё обогали,  
Добрались до святынь и могил.  
Штопать наши надежды и дали  
Мне не хватит, наверное, сил.

Вот он мир – безнадёжный и узкий,  
Вот на выбор – тюрьма и сума...  
С беспросветной тоскою: «Я русский...» –  
Умирают и сходят с ума.

Когда Михаил Анищенко пишет о России после реставрации капитализма, то нередко вспоминает своих предков. В стихотворении «Стоять, стоять на утреннем морозе...» есть строфа:

Стоять, когда бессмертия не надо,  
Когда сожжён последний мой редут,  
Когда мой дед в окопах Сталинграда  
Ещё не знает, как нас предадут.

Будущее России видится поэтом по-разному, но чаще взгляд отягощён пеленой пессимизма:

Мельчают даты и години,  
Дурманом полнится экран.  
И Русь, как девочка на льдине,  
Согреть не может океан.

Порой покажется – светает  
Над полем, речкой и цветком...  
Но всё быстрее льдина тает  
Под каждым русским городком.

Страна берёзового ситца  
Ещё как будто бы жива...  
Но на престол уже садится  
Иван, не помнящий родства.

Все мы, кто родился после Великой Отечественной войны, в той или иной степени своими глазами увидели её страшные последствия.

Только на фронтах погибло 7,5 миллиона человек, получили ранения 46 миллионов, вернулись инвалидами 11,5 миллиона солдат и офицеров. Хорошо помню, как в 1957–1958 годах родители иногда возили нас, своих детей, на поезде (ещё были деревянные вагоны) в Куйбышев и как по вагонам вереницей проходили инвалиды и просили милостыню, при этом кто-то играл на каком-либо музыкальном инструменте и пел, а кто-то декламировал стихи... Безусловно, всю жизнь помнил об этом и о многом другом, что касалось войны, и Михаил Анищенко. Ужасы войны просматривались у него на протяжении всего творчества.

С особой пронзительностью эта тема звучит, когда героем повествования выступает женщина. И не важно, воюет она на фронте или переносит испытания в тылу. У Михаила Анищенко есть стихотворение «Тётя Поля». Казалось бы, почтальон в тылу, но... как написано!

Наша встреча долго длится.  
Тётя Поля говорит:  
– Ничему уж не забытья...  
Видно, память не велит...

И пронзают вновь до боли  
Дни израненной страны.  
Ты не тётя,  
Просто – Поля,  
Почтальон большой войны.

Поля. Школьница. Девчонка.  
Как могла ты столько дней  
В сумку прятать похоронки  
И смотреть в глаза людей?

Как, скажи, в свои семнадцать  
Ты могла идти селом,  
Зная, что тебя боятся  
И что крестятся кругом?

Не вина ли это, Поля,  
Что оттягивала ты  
Завещанья вечной боли –  
Похоронные листы?

К сёлам с почтой доберёшься –  
Изведёшься от тоски:  
В мелколесье наревёшься,  
Наревёшься у реки.

В двадцать лет ты поседела.  
Почтальон на три села,  
Как ты вынести сумела  
Всё, что в сумке той несла?

Ничего не поделаешь: вкус победы в войне имеет привкус крови.  
Как-то я стал специально интересоваться, кто отцы моих друзей, приятелей и хороших знакомых, которые по возрасту могли быть на

фронте, и был поражён. Почти все, кто имел дело непосредственно с линией фронта, были или инвалидами, или имели ранения. Мой отец – инвалид, у которого один из осколков удалили из лёгких лишь в 1959 году. У супруги отец – инвалид, который умер в 1952 году за месяц до её рождения. Предполагаю, что и у Михаила Анищенко было не лучше. Не зря в одном из стихотворений он написал:

Войною дед подкошен,  
Пылает дом родной...  
Как будто бы всё в прошлом,  
Но это всё со мной.

В лирике поэта нашли отражение все этапы его жизни. В вышеупомянутой статье, давая советы молодым поэтам, Михаил Анищенко отмечал: «Хорошо бы научиться говорить правду, будучи безразличным к ней. Ведь любая эмоциональная окраска делает правду по меньшей мере подозрительной. Тогда она выглядит словно президент с накрашенными губами».

У реки жизни два берега: правда и ложь. Сам поэт не только призывал держаться берега правды, но и всегда оставался на нём.

За последние пятьдесят лет ни у одного из поэтов я не читал таких стихотворений о службе в армии, как у Михаила Анищенко.

#### В АРМИЮ

В тот день под сводами вокзала  
Приказ майора резок был.  
Что мне любимая сказала,  
Не помню я.  
Всё позабыл.

Но я запомнил в то прощанье  
Одно мгновенье тишины  
И материнское дыханье:  
– Не дай вам, господи, войны...

И шёл состав легко и просто,  
Стоял в вагонах лёгкий гам.  
А за окном тянулись вёрсты  
Земли,  
Доверившейся нам.

Сменялись зори и закаты,  
Мелькали рощи и луга...  
Нас.  
Словно сталь,  
Везли сержанты –  
Не закалённую пока.

И мы тогда ещё не знали  
Цены той самой тишины,  
В которой мамы выдыхали:  
– Не дай вам, господи, войны...

## ПЕРВОГОДКИ

Там, на плацу, где утро тает,  
Их строй сбивается с ноги.  
И с перекладины,  
Бывает,  
К земле их тянут сапоги.

И часто пули мимо цели  
У них уходят «в молоко»...  
Но в эти первые недели  
Ещё никто не жил легко.

И этот груз –  
Большой,  
Лавинный –  
Мальчишкам нужен позарез:  
В них просыпаются мужчины –  
И сапоги теряют вес.

## СТАРШИНА

Когда казарма засыпает  
И в окнах плавится луна,  
Я часто слышу, как шагает  
В проходах хмурый старшина.

Гремят последние трамваи,  
А он,  
Усталый и седой,  
Нам одеяла поправляет  
И не торопится домой.

В его квартире неуютной  
Есть тусклый снимок на стене.  
Мы знаем все,  
Что это Люда.  
Она погибла на войне.

Она погибла и не знает,  
Как старшина в тиши ночной  
Нам одеяла поправляет  
И не торопится домой.

Михаил Анищенко испытывает чувство ответственности не только за страну, в которой живёт, но и за родных и близких:

И здесь, у речной переправы,  
под свист деревенской шпаны  
пройдёт искушение славы,  
останется чувство вины:

за то, что река обмелела,  
что дом покосился родной,  
что мать без меня поседела  
и не молодеет со мной.

Качнутся плакучие ивы,  
плеснётся вода в камыше...  
Мать взглянет мне вслед сиротливо,  
как будто я умер уже.

И тут – посреди увяданья  
родимых людей и лесов –  
я вряд ли найду оправданье  
у тоненькой книжки стихов.

Религиозные мотивы нашли существенное отражение в его творчестве. Стихотворение «Предтеча» с большим интересом прочитает даже атеист:

В небе облако качалось.  
Пёс обиженный скулил.  
Снег кружился.  
Власть кончалась.

Ирод голову клонил.  
Он шептал: «Ещё не вечер...» –  
И понять не мог никак,  
Что вся жизнь теперь – предтеча.  
Деньги – мусор. Власть – пустяк.

Ирод мёрз, не мог согреться,  
Меч хватал. Шептал: «Пора!»  
В Вифлееме все младенцы  
Поседели до утра.

Кровь детей. Резня и сеча.  
Тихий ропот, пересуд...  
Так закончилась предтеча,  
Начинался Страшный Суд.

Сегодня трудящиеся, сравнивая деятельность И.В. Сталина с «успехами» лидеров России периода реставрации капитализма, начинают понимать величие его личности. Из секретных архивов медленно, но всё-таки просачивается правда о так называемых «сталинских репрессиях» 1937 года; теперь понятно, что эти репрессии осуществили враги советской власти. Поэтому всё чаще можно увидеть портреты Иосифа Виссарионовича, а кое-где ему уже начали ставить бюсты и памятники.

А как же относился к личности Сталина поэт Михаил Анищенко?

В стихотворении «Совсем догорают мои старики...» есть строфа, дающая ответ на этот вопрос:

Но с бабушкой, с бабушкой я помолось  
И с дедушкой выпью в чулане  
За веру, за Сталина, словом – за Русь,  
Пропавшую в божьем тумане.

Есть у поэта и стихотворение «Сталин», в котором Михаил Анищенко более подробно характеризует вождя:

Он первый соблазны отринул  
И, тьму сокрушая мечом,  
Христа от себя отодвинул:  
«Постой, дорогой, за плечом!»

Забыли об этом живые,  
А мёртвое наше – мертво.  
Но зло и грехи роковые  
Он взял на себя одного.

Сегодня попы проклинаят  
Былое сиянье меча...  
А что они помнят и знают,  
Что видели кроме плеча?

Теперь, когда гибнет столица,  
В клубок завивается даль.  
Я буду неслышно молиться  
За эту державную сталь.

Он первый соблазны отринул,  
Ломая века и уста,  
Он церковь плечом отодвинул,  
И церковь осталась чиста.

Сегодня он там, где и надо,  
Но, с богом припомнив родство,  
Он все преступления ада  
Возьмёт на себя одного.

Завершающую часть своего пребывания на этом свете Михаил Анищенко провёл в деревне. Рискну предположить, что именно эта страница биографии позволила ему по-новому посмотреть на российскую действительность и создать яркие образы, обогатив свой поэтический язык оригинальными художественно-изобразительными средствами и народной лексикой. Анищенко пишет только о том, что стало для него болью, страданием, счастьем. Именно поэтому у него так много пронзительных строк, читать которые без волнения просто невозможно. Всё чаще его лирический герой находится в окружении природы и в гуще сельской жизни:

И снег, и дождь... Растерзанный причал  
Уводит вдаль потешный ледаколычок...  
А в темноте скитается печаль,  
Звенит, звенит коровий колоколычок.

Я жду тебя. Я жду тебя и жду  
Из всех твоих немислимых америк.  
Лишь ты одна по тоненькому льду  
Ходить умела с берега на берег.

Лишь ты одна – летящая душа! –  
Бежала мне навстречу и кричала...  
А в этот год ты так и не дошла  
До нашего последнего причала.

Я жду тебя. Я жду тебя и жду,  
Тревожа заживающую рану...  
Я сам пойду по тоненькому льду,  
Как только ждать и верить перестану.

Ну а пока – растерзанный причал  
Уводит вдаль потешный ледаколычок...  
А в темноте скитается печаль,  
Звенит, звенит коровий колокольчик.

Вадим Карасёв, характеризуя лирику Михаила Анищенко, очень точно подметил: «Во многих его стихах – трогательная, почти безнадежная попытка достучаться до сердца человека, оказавшегося в кабале цивилизации, чтобы освободился он от шелухи буден и оказался один на один с огромным, бесприютным, но свободным миром природы». Не секрет, что потребительство сегодня зашкаливает. По сути оно превратилось в одну из модных форм саморазрушения личности.

В лирике Михаила Анищенко постоянно с разной степенью накала звучит вопрос о поиске смысла жизни:

То ли ночь, то ли жизнь на исходе...  
Для чего же мне рваться туда?  
Я ведь знаю, что тот, кто уходит,  
Всё равно не придёт никуда.

Надо жить, как цветы и деревья,  
Надо падать в свою борозду...

Или:

И снова его вдоль обочин  
вёл ветер бездомья, как бес.  
Но не было речек молочных,  
не падала манна с небес.

Он мчался. Судьба моросила.  
Скользили года у виска.  
Везде была та же Россия,  
любовь её, боль и тоска.

И, думая думу устало,  
не мог он никак осознать,  
что всё у него отмелькало,  
хотя продолжает мелькать.

Эти стихи способен воспринять лишь тот читатель, кто понимает, что отправляясь на поиски смысла жизни, попадаешь в лабиринт.

Нельзя не отметить чрезвычайно яркий художественный язык поэзии Михаила Анищенко, который позволяет получать нам громадное эстетическое удовольствие. Ну как можно не восторгаться такими строками:

«Под берёзой родник волновался, как сердце, журавли пролетали, глотая печаль», «Хорошо на земле – до того, что мурашки гуляют по коже!», «Замолчит телефон, загрустит, как собака на холоде», «Я вас любил, как любят жизнь, когда уже стоят на плахе» и т. д.

С помощью всё новых и новых метафор и других художественно-образительных средств поэт создаёт удивительные образы: в его лирике мечутся жизнь и смерть, библейские персонажи соседствуют с современниками, мистика переплетается с реальностью и в каждой строфе чувствуется, что автор – русский поэт. Мне представляется, что Анищенко поставил перед собой цель создать произведения на уровне классиков и настойчиво шёл к этой цели. Да, на этом пути у него было много трудностей: вместе с целью мы выбираем и препятствия. И у Михаила Всеволодовича хватило терпения преодолеть их. И тут мы лишний раз убеждаемся, что терпение – оружие умных.

Нередко, рассуждая о творчестве современных поэтов средненького уровня, литературные критики увлекаются хвалебными эпитетами. Дескать, у поэта Х. и сильные символические образы, и художественная условность, и сюрреалистичность происходящего в смешении с обытовыми подробностями, и композиционные повторы, и динамика действия, и острота конфликта, и индивидуальность стиля, и ещё много чего.

Однако это, увы, крайне редко соответствует действительности. А вот в лирике Михаила Анищенко всё это действительно присутствует в полной мере. Любой поэт – человек впечатлительный и страстный. Таким был и Анищенко. У него немало стихотворений о ярких душевных порывах, которые он пережил в молодости и о которых написал в зрелом возрасте. Когда догорит костёр страстей, ещё долго тлеют угли воспоминаний.

Немало тех, кто утверждает, что поэзия Михаила Анищенко пессимистична. Оптимизм и пессимизм – это образ мышления. Оптимизм порождает энтузиазм, пессимизм губит его. Безусловно, были и такие моменты, когда поэт проваливался в яму пессимизма. Однако, судя по всему, Анищенко занимался творчеством с энтузиазмом. Значит, по натуре он всё-таки был оптимистом.

Есть и те, кто резко осуждает поэта за его периодическую дружбу с Бахусом. Пусть эти «мудрецы» вспомнят строки Сергея Есенина: «Ну кто из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался. Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался...». А какая «качка» в нашей стране в последние тридцать лет – всем известно.

После того как Михаил Анищенко ушёл в вечность, его поэзия начала уверенно шагать по России. В литературных изданиях чаще стали появляться стихи Анищенко. В интернете оживлённо обсуждается его стихи. Некоторые литературные критики обратили свой взор на творчество талантливого поэта. На родине Михаила Анищенко, в Самаре, проводится ежегодный фестиваль его имени. Там же недавно вышло собрание его сочинений в двух томах.

Будем надеяться, что это только начало...

## Литпроцесс

### Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

### НЕ УМРИ

*Александр Орлов. «Кимера». М.: Азбуковник, 2020*

Высший пилотаж для художника – приблизиться к границе, где внутри произведения начинается работа не только с пространством видимого мира, но и с временем, – и вдруг свободно, вольно дыша, перейти эту границу.

Время измеряется памятью. Мера памяти – горькая мера. («Чудь на-чудила, да Мера намерила...» – помним Блока, и пытаемся понять, откуда это – Кимры, Ки-мера, ме-ря... Мрт – древний санскритский корень, обозначающий и смрити – память, и мритья – смерть; впрочем, видно, как в русском языке эта безумная, невысказанная древность сохранилась...) А художник изначально безмерен. Безмерность его – не в анархии. Поэт, опираясь на древнейшие жанры – песня и молитва – влагают, вмещают весь окоем, весь Мирь, всю ойкумену в отточенность любимой веками (и даже тысячелетиями) формы.

За плечами поэта – предки. Память предков, мощный, то мрачный, то кристально-светлый симфонизм, многофигурная фреска. В случае Орлова она не умозрительна. Память рода – это хор, то ясно слышимый, то едва, прозрачно чуемый через плотные слои тысячелетий, – похлеще Девятой симфонии Бетховена. Языческие боги, что радуются сторожевым бдениям на свежих и давних могилах, и Христос, тот русский Христос, что протягивает руки идущим к нему по снегу крестьянам в лаптях, монахиням в черных клобуках, детям в бараньих тулупчиках, мастеровым и солдатам, – идут рука об руку, вместе. Почему так?

Только ли в России так? Наша страна явила миру невероятное соединение жизнотворного, яркого язычества и христианской любви великой силы. Тот Христос, с которым мы ходили на Куликово поле, на Бородинское поле, на Курскую дугу, навеки вышит нами золотом на знаменах. И знамена эти не сжечь, не разорвать, и не истлеют они.

История слишком хорошо знает, что такое трагедия тления. Вселенского забвения. Инферно, Дантов Ад, даже не в ужасных телесных мученьях: он в зловещем торжестве тленья, от которого спасение – лишь память, лишь она одна. Правда, тяжёло иногда памяти груз. Тяжелы эти крыла, с виду Ангельские. Изрядно, за все века, изранены они. Всяк из нас, кто ПОМНИТ, – такой вот Ангел или Ангелица, но с этими родными живыми крыльями не расстанется ни за что. Ибо только они, крылья памяти, – и жизнь, и истина, и путь, и оправдание. Ибо они – Бог.

И человек работающий, творящий по мере сил (опять по мере!..) этого Бога, нашу великую память, запечатлевает. В этом – миссия.

Таков Александр Орлов.

Он соединяет в своих работах мир дольний и Мирь Горний.

Такова его новая поэтическая книга – «Кимера» .

Вещность мира – наша мера его узнавания. Мы свято храним вещи, артефакты ушедших годов и веков, овеществленную память рода.

В обнимку там с ухватом кочерга,  
С лопатой хлебной рядом сковородник,  
Под сундуком – пропавшая серьга,  
А на портрете – мой погибший сродник.

В ряд с кружками встал глиняный горшок,  
Во тьме сеней скучают бочки, кадки.  
Там жизнь идёт в незыблемом порядке,  
И русским отовсюду виден Бог.

Мы глядим на «иконы, благовестки, ордена» – и благоговение, и печаль и тоска охватывает нас: нет уже людей, а приметы их жизней остались, и они твои... навек или до поры? До той сужденной поры, когда ты сам уйдешь в ночь, и не знаешь, в какую – зимнюю или летнюю... Смерть есть память. А значит, как ни парадоксально, она есть жизнь.

Орлов – соединительная вертикаль, станова жила меж землей нынешних и небесами предков. Потому для него так явственно горька война. Это было с ним самим, здесь и сейчас. Это чудо возвращенной силы сопереживания и нравственное (не только эстетическое) потрясение для читателя, привыкшего к отстраненности и остраненности сегодняшних текстов:

В ночь на Волге-матушке затвердел весь лёд,  
По нему на саночках дочку мать везёт.

Вслух под вьюгу молится, читает тропари,  
Слёзно просит доченьку: только не умри,

Не умри, любимая, будет проклят фриц,  
Нам ещё немножечко в одну из двух больниц.

Там у того берега встретят нас врачи,  
Потерпи, кровиночка, слышишь, не молчи.

Вытащат осколочки из твоей груди,  
Только, моя девочка, глаза не заводи.

Видишь, моя милая, как Волга широка.  
Льдом покрылась девочки правая щека.

Это не картина, которую мастер спокойно пишет, отходя от мольберта и любуясь свежими мазками. Поэт живо и горестно пребывает там и тогда. Он тяжело и медленно идет вместе с несчастной матерью по льду Волги, волоча санки со смертельно раненным ребенком; он иной раз впрягается в эти утлые санки и помогает изможденной матери, хотя у Орлова об этом ни полслова. Но это видно и слышно. Он здесь не наблюдатель. Он здесь – само горе, персонифицированное, воплощенное: так художники Возрождения писали себя на фресках, где изображали много чего современного им – от пиршества до пожара. Но фигура поэта на зимней военной картине не видна. Он здесь – Ангел невидимый. Незримый.

Перевоплощение у Орлова – отнюдь не внешний, не актерский прием, не мегаметафора; когда он говорит в военном своем стихотворении от первого лица, это «я» – как из торопливых военных писем в тыл – жене, невесте, матери, отцу, семье, в которую надо обязательно вернуться, минуя смерть, но ее не миновать, а чем от нее можно спастись?.. только молитвой. Не секрет, что многие вчерашние пионеры и комсомольцы, воспитанные в Советской стране в духе воинствующего атеизма, на фронте, в особенности – перед боями, уверовали.

Расскажи, как умереть без страха,  
Ты не думай, я совсем не трус,  
Когда время есть, то я молюсь.

Война для поэта находится так близко, что не ведаешь: он ли в войне (на войне!) или война – вечным железным осколком – в нем. Война – мужское дело, убивать – тяжело. Но как еще ты защитишь от смерти родню? Родня – вот еще один архетип в стихах Орлова. Хлебник, что пал на Ладоге... вдовец, что шепчет другу: «Нам немного еще до Ростова»... дочка полкового комиссара, что приходит во сне к смертельно раненному в Сталинградской битве... – все это изображение абсолютного родства, и все эти люди Орлову – не просто чужие памятники, а близкие, кровники. Одним, двумя штрихами поэт и подчеркивает эту родственную связь, и очерчивает портрет, чтобы мы увидели предка, за нас погибшего, уже во глубине прошедшего столетия:

Первая красавица филфака,  
Был в неё влюблён весь батальон.  
Буду жив – и на стене рейхстага  
Среди тысяч фронтовых имён

Напишу размашисто – Марина,  
Чтобы видно было за версту.  
Вон пришла почтовая машина,  
До неё я сам давай дойду.

Снова – от первого лица. Поэт подхватывает песню, оборванную когда-то. Он слышит эту музыку. Он поет ее. Во временах в унисон сливаются голоса.

Но вот она перед нами и настоящая родня – бабушка (мы слышим ее голос, ее исповедь – в триптихе о бабушке поэта вместились вся ее жизнь...), прадед – поэт разговаривает с ним, вспоминая, как он погиб...

На порог похоронка  
С горькой вестью легла,  
И завывла девчонка,  
И в глазах её мгла.

И жена своё горе  
Скрыла в чёрный платок.  
Знаю: в ангельском хоре  
Ты их жизни сберёг.

Вот он опять звучит, незабвенный Ангельский хор. Все Ангелы там, в запределье, в эмпиреях – это, оказывается, вся наша родня. Землю пахали, танки на заводах собирали, рыбу ловили, дома возводили, а когда воевали, себе пощады не знали. Так и жили. Так и умирали. И Ангелами стали. И вот теперь Ангелы эти поют в небесах, и у нашей жизни на страже стоят, на часах. Об этом говорит нам Орлов; об этом его несмолкаемая военная песня. У костра, перед боем.

И каким-то странным, неведомым образом все эти люди, герои войны, ее незаметные работники, переселяются, перетекают в других людей, в народ наконец-то явившегося мира – и вчерашних эков, отпущенных из-за колючки на волю, и в волжских рыбаков... в широкоплечего здоровяка-соседа, что приходит к матери поэта занимать трешницу на опохмел... Всех этих новых людей поэт знает, видел; говорил не только с ушедшим на грузеной трехтонке под лед прадедом, но и с ними – живыми соседями, мимохожими, возвращенцами, друзьями, богатеями и нищими родной страны.

Человек среди людей – вот он. Он плывет в людском море. Проживает свою единственную жизнь. Как он ее проживет? Не оплошает ли перед лицом испытаний? Будет ли созидать? А главное, помнить?

Душа живая взыскует святости. Это в русском человеке неистребимо.

И совершенно ни при чем здесь выбранная автором стилистика или тематика. Время, его суд – вот и высшая награда, и высшая мера, если ты обманешь и предашь. Живет долго, и даже вечно, только святое слово.

Дышал вокруг на всё густой отвар,  
Но захотелось молока парного,  
Как хочется порой святого слова  
Вдали от дома посреди хибар.

Вы думаете, это фигура речи? Или, может, думаете, что священное – это такой анахронизм, вроде архаизма, или тривиальность, вроде «кровь-любовь»? «Святое слово» у Орлова обращает нас к извечному Логосу, к Евангелию от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А помните классическую крылатую Иоаннову фразу – дальше по тексту? «И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. БОГ – СВЕТ – СВЯТ – СВЯТОЕ – семантика более чем понятна. И это есть духовный и образный ориентир поэтики Александра Орлова.

\* \* \*

Мы всегда оглядываемся, бродя по открытому Мiру поэта: а где тут любовь, где она? И прежде всех страниц лирики, напрямую связанных с изображением любви, сакральных для всякого художника (по этому лакмусу проверяется и сила духа, и сила образа!), мы вдруг сталкиваемся с любовью, что изначально, быть может, всех любовей-страстей – с разлитостью человека в природе, с единением человека и земли, на которой он живет и дышит. Улетающие журавли, тростник, листопад, осеннее небо, в нем – среди серых мчащихся туч – тоска предзимья, обещание, слезы, упование, великая печаль... Поэт – этот улетающий журавль. Поэт – само это небо, чреватое дождями и снегами, но и богатое солнцем, – изнанка Божьего священного убруса...

Прокурлыкают птицы  
Тростнику и осоке,  
Одиноким влюбиться  
Уготовлено в сроки.

Эти сроки настали,  
Но выходят, однако,  
В листопадном запале  
По следам полумрака.

Посбиваются клином  
Журавли над землёю,  
Я небесным тишинам  
Своё сердце открою.

Как прекрасно, что именно здесь обрывается стихотворение, от которого втайне ждут интимных, любовных признаний! Да, они есть. Они тут, в глазах, на ладонях поэта. Но они прямиком переливаются в небеса. Здесь небо – священный сосуд, принимающий драгоценное вино страдающей и любящей души. И этой нотой, еле слышной, а по сути – неслышимой нотой потаенного молчания (у Скрябина в музыке существовала «звучащая пауза»!), поэт убедительнее всего говорит нам о любви: он здесь – Анакреонт плачущих перламутровых русских небес и рыжих осенних русских равнин.

А вот она и зима. И вьюги голосят в ночи, как девки на гулянье.

А поэт идет в Мiре страдальными дантовыми кругами – кругами своей жизни. Не избыть судьбу. Не избыть ее скорбь. Так же, как не избыть и не забыть истинную любовь.

Для надрывных и горестных спевок  
В ледяной заколдованный круг  
Зимний вечер собрал, будто девок,  
Голосистых метелей и вьюг...

(...)

Показалось мне: в горе столетий  
Этот вечер виновен да я.  
И в сугробах сомкнулся круг третий,  
И небес разошлась полынья.

От любви, где «разойтись не позволено мирно – / Расстаемся вразнос», где трагедии и боли больше, чем умиротворенья и блаженства, один шаг до русской святости – до того истинного бытия, до той Истины, что несомна в Мирь была русскими подвижниками, русскими иереями, русскими столпниками, русскими юродивыми.

Выли меж круч ветра,  
 Прошлого слышу зов,  
 Это в золе костра  
 Сень родовых крестов.

Константин Новоторжский Чудотворец, Федор Власяничник, старец Трифон Вятский, святой мученик Христофор Чудотворец, пастух Велес, «святой мужик, пасущий вечно скот», – это все герои Орлова. Не просто герои, действующие лица стихов, а сказать точнее – горящие буквы-символы, лейтмотивы его поэзии, освещающие – и освящающие ее изнутри. Ее демественные распевы, ее ирмосы и кондаки. Недаром святые творили чудеса.

Чудо – синоним настоящей поэзии. Непорочное Зачатие – чудо, но и обычное зачатие тоже чудо. Чудо – вой метели; чудо – рыбаки с уловом; чудо – рождение весны. Все очень близко. Все слишком рядом. Ушедшие святые становятся духом и кровью нынешнего времени. И есть у Александра Орлова одно стихотворение – оно словно перстень-печатка, им можно запечатывать горячий сургуч древней духовной (культурной) почты и обозначать письма, где сохранена память рода; это алый, киноварью или суриком, слепящий мазок на потускневшей фреске канувших во тьму столетий; из этой клубящейся мглы на нас надвигаются люди – и это опять родня, и не просто родня, но воплощенный путь, пройденный родной землей: это безымянный наш, гордый иконостас, и поднимем очи горе, чтобы в полном объеме увидеть его, высокий и чистый – золото из мрака. Нельзя не узреть и не принять сердцем – здесь и сейчас – это стихотворение полностью, – только так можно восчувствовать объемы времен.

Четыре прадеда моих  
 Живей живых.  
 Четыре прадеда моих  
 В снах дождевых.  
 Четыре прадеда моих  
 В лучах дневных.  
 Четыре прадеда моих  
 В словах мирских.  
 Четыре прадеда моих  
 В цветах степных.  
 Четыре прадеда моих  
 В лесах глухих.  
 Четыре прадеда моих  
 В делах земных.  
 Четыре прадеда моих  
 В крестах резных.  
 Четыре прадеда моих  
 В мирах иных.  
 Четыре прадеда моих  
 Среди былых.

Четыре прадеда моих –  
Я возле них.  
Четыре прадеда моих  
Живей живых.

Убедительно найден мощный ритм. Упругость стиха, его музыкальные акценты, подобные солнечным и прозрачным гармониям церковного хора, репризный контрапункт одной рифмы подчеркивают незыблемость рода и неуничтожимость жизни. Самой жизни на земле людей, жизни как таковой. Именно они, предки наши, те, кто у нас за плечами, дают нам силы жить. Не выжить, а жить в полную силу, глубоко вдыхая воздух полей и рек, любя ближнего, сражаясь с врагами, исповедуясь батюшке и исповедуя силу, красоту, правду и Бога.

Над всем этим в определенных современных культурных пространствах принято смеяться, принято отворачивать от этого лицо, именуя «идеологией, неприемлемой внутри свободного искусства».

Но это все не что иное, как АРХЕТИПЫ. Это библейские максимы, и именно они держат нас – еще держат! еще лелеют! – на крепких и вечных руках.

Ощущение, что вся жизнь поэта проходит не в замкнутом пространстве, а под открытым небом. Под ветрами времени, овевающими вечность. Вечность в системе духовных координат Александра Орлова вполне реальна, к ней можно и нужно стремиться, идти хоть целую жизнь, изнашивая в ее поисках, в традициях русской сказки, семь железных башмаков. Закованная в четкие катрены поэтика то и дело радостно распахивается, впуская в стих ветер и небо – и выпуская на волю любовь и веру. Ощущение, что внутри канона жесткой рифмы, четкого четверостишия свободно пишется тот образ, который художнику нужнее всего: и чаще всего – святой.

Путь к русской святости – это и путь поэта Орлова. Он слишком мужской поэт, чтобы не быть воином духа. Он слишком русский, чтобы стихом не молиться у русских икон.

Застынет месяц в половодье;  
Скорее вплавь,  
Порвав сердечные поводья,  
Слова отправь.

Утешит образ Параклита  
В моей руке.  
Чернильным паводком размыта  
Зима в строке.

## Иван РОДИОНОВ

Поэт, критик. Родился в 1986 году в г. Котове Волгоградской области. Преподаёт русский язык и литературу.

Автор книги «сЧётчик. Путеводитель по литературе для продолжающих». Участник форума молодых деятелей культуры и искусств «Тавриды-2020» и «Мастерской Захара Прилепина-2020». Публиковался на портале «Год литературы», в журналах «Новый мир» и «Юность». Финалист премии «Литблог» (2019, 2020). Лонглистер премии «Лицей» (2020).

Живёт в Камышине Волгоградской области.

## КОЧЕВНИКИ СВИДРИГАЙЛОВА

*Владимир Коваленко. «Из-под ногтей». Н. Новгород:*

*Пламя, 2020*

«Мы никому не нужны. Наши идеи не поняты, у нас нет идеалов. Мы можем работать менеджерами вместо покорения космоса или войны за мировое господство. Мы – крик так и не родившегося ребёнка».

Постмодернизм, как нам давно говорят, умер; речь сегодня, впрочем, пойдёт об одном его ответвлении и изводе, который, собственно, тоже вроде как «прекратил течение своё». О так называемой «контркультурной», «альтернативной» прозе.

Расцвет её пришёлся на нулевые – время, которое нам ещё предстоит осмыслить. «Ультра. Культура» Кормильцева распахнула врата контркультуре и задала высокую планку, АСТ в формате знаменитой оранжевой серии всё это дело популяризировало и сделало доступным для всех. Наконец, тот ещё, старый «Ad Marginem» сделал ставку на альтернативное русское и не прогадал.

Конечно, подобная литература была очень разной, но кое-какие общие черты всё же можно выделить. Помимо, собственно, «контркультурности».

Это почти всегда были «Одиссеи». По экзотическим странам, странным локациям, подворотням и сектам, собственным трипам. Калейдоскоп и движение. Обращенное в большинстве случаев во вне: выходила эдакая художественная гонзо-журналистика.

Всё, как известно, проходит – Ильи Кормильцева, к сожалению, давно нет с нами, оранжевую серию закрыли, «Ad Marginem» выпускает книги по искусству.

Изменились и путешествия, всё больше уходя от движения внешнего (туризма, пусть и экстремального) к движению внутреннему.

В книге питерского автора Владимира Коваленко много говорится о кочевничестве как о форме жизни современного человека. Это кочевничество стоит понимать не только буквально, в географическом смысле: оно становится ещё и синонимом одиночества.

Старый спор Леса и Степи: ещё недавно казалось, что Лес (и коллективизм, и соборничество) безоговорочно победил. Но совершенно неожиданным образом в наше время стала вырываться вперёд Степь с её бесконечными развилками и возможностями дорог, которые нас выбирают.

В книге «Из-под ногтей» имеется Герой, создавший некий экстремистский, по мнению Майора, телеграм-канал. Есть Майор, есть убитая девушка, десятки флешбэков и графических перебивок, иллюстраций и игры со шрифтами.

Конечно, есть там и набивший оскомину бунт против Обычного. «Системы» Против связки «дом-семья-работа-Икеа». Обычное дело. Ценнее то, что там есть и бунт против анархического индивидуально-го бунта из оранжевых книг, против агрессивного утверждения самого себя на развалинах бытия.

Путь найдёт тебя сам, говорит автор.

Блаженны заблудившиеся и запутавшиеся, добавим мы.

«Огромная плантация намёков, которые собирают рабы с бронзовой кожей», о которой говорит Герой порой порождает удивительное. Вот появляются два брата-мальчика в какой-то сербской деревушке – жизнерадостный Лука и грустный, плачущий Марк-змееуст. Его успокаивает бабушка.

Путь найдёт тебя сам, и мы помним, что толпа язычников изобьет и будет волочить неприкаянного евангелиста Марка, ученика Петра, в судилище, и он умрёт по дороге – ещё до готовящейся расправы. Знаток права Лука, тоже евангелист, первый иконописец и покровитель врачей, тоже не избегнет насильственной смерти – в 84 года его повесили на дереве.

И Отец тоже будет. Воспоминания о нём связаны с рыбалкой – не то звягинцевская, не то тоже классическая евангельская мизансцена, предшествующая Призванию.

Не обойдётся и без, скажем так, питерских реалий. «Из-под ногтей» – очень питерская книга. И те Шаблоны, о которых много говорится в ней, – это же ещё с времён гоголевских «Петербургских повестей» так. И майор питерский уже был один – Ковалёв его фамилия.

«Нас выбросило на обочину бытия силой взрыва сотен умерших звёзд. Мы бросились кочевать из родных мест по осколками Империи, чтобы найти пристанище в новом бескрайнем. Мы прошли долгий путь, чтобы...»

Садись в свидригайловский вагон с паучихой-проводницей и поезжай. Хоть куда-нибудь.

## Сергей ЗЕНКЕВИЧ

Родился в 1972 году в Москве. Окончил Московский государственный лингвистический университет, по специальности – переводчик (английский, французский языки).

Литературовед, член Союза писателей Москвы. В 1994–1997 годах работал учёным секретарём московского Дома-музея М.И. Цветаевой. С 1991 года выступает как публикатор и автор материалов в связи с жизнью и творчеством своего деда, писателя М.А. Зенкевича (1886–1973) в журналах «Арион», «Волга», «Новая Юность», «Новый мир», «Октябрь», «Южное сияние», альманахах «Дом Остроухова в Трубниках», «Альманахе библиофила», «Альманахе переводчика», других периодических изданиях, антологиях и сборниках.

Подготовил к печати несколько книг М.А. Зенкевича. Активный участник и организатор литературных вечеров, фестивалей, научных конференций, посвящённых творчеству поэтов Серебряного века (А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.А. Зенкевича и других).

## ПУТЬ ВНЕ ПУТИ

*Изумрудов Ю.А. Нижегородский поэт Иван Ермолаев: портрет на фоне эпохи. Новое имя из литературного окружения Сергея Есенина. – Н. Новгород: ООО «Бегемот НН», 2017*

Размеренно провожая глазами эти плотносодержательные страницы, исподволь убеждаешься в том, что книга, не только написанная – организованная (как встреча, как путешествие) филологом-нижегородцем Ю.А. Изумрудовым, знакомит с двумя носителями одинакового имени, с двумя *Иванами Ермолаевыми*.

Из них первый – чистейший, цельный русак крепкого покроя, достойный невероятной, размахистой судьбы. И – не так чтобы к ней точь-в-точь в пару – иванушкиной везучести. Пули не цапнули этого юного военмора в кронштадтской бойне весной двадцать первого, где он занял сторону битых. Эмиграция его – в свеженезависимую Суоми – выдалась какой-то потешной: с годик покантовался по тамошним хуторам и – вспать, навстречу теперь уже одному городскому тюремному году и полуторалетке на Соловах. Человек-бумеранг возвратился и оттуда. Чтобы стать избранником и рабом очередной из своих жизней. День изо дня, точнее – десятки тысяч дней он не сетуя нёс в себе печали и тайны недосбывшегося *второго* Ермолаева.

Вот и он – стихослагатель, чьё живое дыханье перекрыто и перебито наскоро поспевшей мировой встряской. Брезжит сопоставление, нет,

не с другими малыми принадлежцами братству поэзии, а с его – и нашей – современницей, её воли супротив наславленной, – Агафьей Лыковой. Щепка на дикой порубке цивилизации, – она гибенько сдюжила, повыше самой цивилизации встав. Никому ввек не перейдя дороги. Содеяв подвиг самостояния.

Рискуя снискать прохладное полувнимание компетентного сообщества, заявлю: Ермолаев-поэт – тот, кого противопоказано оценивать навязнувшим гамбургским мерилom. Прищур в объективистский микроскоп расплющит то, что едва существует, однако тёплое, без привередства вглядывание уразумеет в обаятельном робинзонстве зарок спаянности с теми идеалами, которые, не в чью-либо обиду будь сказано, многие ермолаевские неробкоталантливые ровесники походя разменяли на мелкую монету. А он не *повёлся* – *повёл себя*: у почти приконченного в нашей литературе благочестия стал послom за её пределами. Не приподнявшись, как ни крути, над плоскостью зародышевых вздохов. Провалиться мне в тартарары, если эта удалённая от заметности удаль – масти не творческой. Лично при моих первых литературных шажках на восходе девяностых годов невесомый факт нахождения Ермолаева (мною ни разу не виданного) на земле кое-что да значил.

Юрий Изумрудов сумел отстраниться от жеста – доплеснуть в тихий огонь этого необольщённого самодовления масла заёмных страстей («...как сорный куст с чужой межи»). Так высвежился тон всей книги. Императив её – нарочитая расстановка всего на должные места.

В пути не будет плакать вьюга,  
Снега растают. Взыгравший свет  
Соединит врага и друга,  
Сберёт в одно плоды побед.

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

## ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

## УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:  
603057, Нижний Новгород,  
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»  
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции  
или по электронной почте:  
[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен  
по заказу  
правительства  
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий

и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 02.02.2021.

Выпущено в свет 25.02.2021.

Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 21.

Тираж 800 экз. Заказ

Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,  
428019, Чувашская Республика,  
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13